

Юлия Яковлева

**В ДРУГ  
ОХОТНИК  
ВЫБЕГАЕТ**



## Annotation

Ленинград, 1930 год. Уже на полную силу работает машина террора, уже заключенные инженеры спроектировали Большой дом, куда совсем скоро переедет питерское ОГПУ-НКВД. Уже вовсю идут чистки – в Смольном и в Публичке, на Путиловском заводе и в Эрмитаже.

Но рядом с большим государственным злом по-прежнему существуют маленькие преступления: советские граждане не перестают воровать, ревновать и убивать даже в тени строящегося Большого дома. Связать рациональное с иррациональным, перевести липкий ужас на язык старого доброго милицейского протокола – по силам ли такая задача самому обычному следователю угрозыска?

---

- [Юлия Яковлева](#)
  - 
  - [Глава 1](#)
    - [1](#)
    - [2](#)
    - [3](#)
    - [4](#)
    - [5](#)
    - [6](#)
  - [Глава 2](#)
    - [1](#)
    - [2](#)
    - [3](#)
    - [4](#)
    - [5](#)
  - [Глава 3](#)
    - [1](#)
    - [2](#)
  - [Глава 4](#)
    - [1](#)

- 2
- 3
- 4
- Глава 5
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
- Глава 6
  - 1
  - 2
  - 3
- Глава 7
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
- Глава 8
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
- Глава 9
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
- Глава 10
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4

- [Глава 11](#)
  - [1](#)
  - [2](#)
  - [3](#)
- [Глава 12](#)
  - [1](#)
  - [2](#)
  - [3](#)
  - [4](#)
  - [5](#)
- [Глава 13](#)
  - [1](#)
  - [2](#)
  - [3](#)
- [Глава 14](#)
  - [1](#)
  - [2](#)
  - [3](#)
  - [4](#)
  - [5](#)
  - [6](#)
  - [7](#)
- [Глава 15](#)
  - [1](#)
  - [2](#)
  - [3](#)
  - [4](#)
  - [5](#)
  - [6](#)
  - [7](#)
- [Глава 16](#)
  - [1](#)
  - [2](#)
  - [3](#)
  - [4](#)
  - [5](#)
- [Глава 17](#)

- [1](#)
  - [2](#)
  - [3](#)
  - [4](#)
  - [5](#)
  - [6](#)
  - [7](#)
  - [8](#)
-

**Юлия Яковлева**

**Вдруг охотник выбегает**

© Яковлева Ю., 2017

© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2017

© Мяконькина В. В., дизайн, иллюстрация, 2017

# Глава 1



Зайцев перевел взгляд на начало страницы. Снова почувствовал, будто по глазам провели наждачной бумагой, а взгляд при этом съехал вниз, ничего из протокола не зацепив.

Убитая: Фаина Баранова, 34 года, беспартийная. Счетовод промкооператива. Не замужем.

Очень жаль, обычно супруг становится первым подозреваемым.

А так – подозреваемых нет. Ни малейшей зацепки.

Зайцев зажег лампу под зеленым колпаком. Света особо не прибавилось. В окна смотрело нежно-голубое небо. Обычный июньский обман: белая ленинградская ночь уже давно закрыла двери магазинов, смела с мостовых телеги, трамваи и автомобили, задернула плотные шторы в комнатах ленинградцев, пытающихся наладить зыбкий сон между двумя светлыми кубами, в которые на месяц превратились день и ночь. А спящие улицы были ясны и светлы.

Зайцев разложил под лампой фотографии.

Фаина Баранова была убита в своей комнате. На черно-белых снимках розоватые обои стали светло-серыми. Убитая сидела в кресле у окна. Тяжелая портьера сдвинута в сторону. В окно видно здание Публичной библиотеки.

Зайцев перелистнул страницу, проверил адрес: проспект 25 Октября. Угол Невского и Садовой, попросту говоря.

Буквы снова превратились в бессмысленные значки. Зайцев подавил зевок. Захлопнуть внутренний слух никак не получалось, шум со стороны проникал, мешал. На этажах ленинградского уголовного розыска кипело обычное ночное оживление. Кого-то вели, кого-то опрашивали, кто-то рыдал, кто-то яростно матерился, и во всех коридорах и кабинетах горели ненужные желтые лампы. Пахло табачным дымом.

Фаина, значит, Баранова. Зайцев взял фотографию в руки. Заставил черно-белое изображение в мозгу стать цветным. Края снимка превратились в раму дверного проема – через него Зайцев впервые увидел эту самую женщину. Вернее, ее тело.



– Что, Вася, будем вскрывать? – Мартынов сдвинул кепку с потного лба на затылок. Глаза у него были красноватые. Ночь Мартынов просидел в засаде в одном из больших доходных домов на Лиговке. Потом все утро писал рапорт. Домой уйти не успел: начался новый день. А потом бригаду вызвали на проспект 25 Октября. «Погоди немного, отдохнешь и ты», – фальшивым дискантом напел Крачкин, втаскивая чемоданчик со всем, что требовалось для анализа места преступления; в другой руке у него была сложенная тренога для фотоаппарата.

– Пошел ты, – угрюмо отозвался Мартынов, моргая. В коридоре коммуналки стоял кухонный чад от доброй дюжины кухонных плиток. Повернуться негде было от хлама, выставленного соседями вон из комнат. Когда-то это была просторная барская квартира. Теперь в ней жили по семье в комнате. Обычная ленинградская коммуналка. В коридоре сразу стало тесно от прибывших оперативников. Соседи высовывались из дверей. У самой спины Зайцева терся какой-то старичок-лесовичок.

– Товарищ, я вам не мешаю? – рассердился, обернувшись, Зайцев.

– Товарищи, глазеть здесь не на что! – объявил им Крачкин.

Тотчас высунулись и те, кто поначалу думал пересидеть приезд милиции в своей комнате.

Зайцев посмотрел на хлипкий замок. Позади маячили понятия – местный дворник и управдом. «Со вчерашнего не отпирала», – снова вякнул старичок-лесовичок. Это он вызвал милицию. Из чада вынырнул Самойлов.

– Позвонил в кооператив. Не появлялась Баранова на работе.

Зайцев кивнул. Мартынов прислонился к стене и стоял, закрыв глаза. «Надо было его отправить домой», – подумал Зайцев. Толку от Мартынова сегодня не было.

– Может, вышла куда? – предположил Серафимов.

– Идись, – задрезжал какой-то мужичок в толстовке. – А то мы не знаем.

– Докладывает она вам, что ли? – Зайцев быстро посмотрел ему в глаза. «Фу, вытарацил zenки свои», – негромко сказала какая-то пожилая баба. Зайцев сделал вид, что не расслышал.

– Зачем докладывает? – обиделся мужичок. – А то нам, соседям, не знать. Мы тут дружно живем, чего. Вон люди подтвердят. И к Фаине

Борисовне отношение самое уважительное, несмотря на ейное иудейское происхождение. Женщина серьезная, аккуратная.

«Собака, ой, смотри, собака», – пронеслось по коридору. Соседи зашуршали, зашептались, заахали, пропуская черную со спины овчарку. Это был потомок знаменитого в ленинградском сыске десять лет назад Туза Треф, и носил он то же родовое имя.

Вожатый пса тихо отдал команду.

Пес на секунду замер – как будто нюх стал слухом и требовал абсолютной тишины – и заскреб когтями.

– Ломай, Мартынов, – коротко распорядился Зайцев.

Вожатый взял пса за ошейник.

Мартынов вставил короткий ломик, нажал. Ломик сперва соскочил, вырвав из двери лишь длинную щепу. Мартынов словно проснулся, бросил на Зайцева смущенный взгляд. Приладил ломик половчее.

Дверь в комнату Фаины Барановой хрустнула на прощание и распахнулась. Сзади забормотали, завозились зеваки.

– Соседей попрошу назад! – рывкнул Зайцев. – Товарищи понятые. Это гражданка Баранова?

– Она, – дворник старательно вытягивал шею поверх зайцевского плеча.

– Спасибо, товарищ. Граждане соседи, пялиться здесь нечего! – громко объявил Зайцев в сторону двери. – Все будут опрошены по очереди.

– Назад, товарищи, – Серафимов ловко и твердо оттеснил любопытствующих в глубь коридора.

– Иди, Серафимов, работай по соседям, – коротко шепнул ему Зайцев. Серафимов кивнул, вышел, прикрыв за собой дверь.

Зайцев почувствовал, что они с Фаиной Барановой остались в комнате одни. И прежде чем Крачкин начнет пудрить предметы черной пылью на предмет пальчиков, а Мартынов и Самойлов задвигают ящиками, заскрипят дверцами, производя обыск, он постарался вобрать место преступления единым взглядом. Первое впечатление значит многое.

Комната была тесно заставленной, но большой, с двумя высокими окнами.

Фаина Баранова сидела в кресле у окна.

Одна рука на подлокотнике. Другая свободно лежит на животе. В правой руке белая роза. В левой – метелка из перьев. Такой сметают пыль домашние хозяйки.

– Черная роза – эмблема печали, – проговорил Мартынов. Роза в руках у Барановой была белой. Но Мартынов был прав: от фигуры убитой веяло тревогой и драмой. Позади алым полыхала шелковая портьера. На ее фоне платье казалось еще черней, белая роза – еще ослепительней. Контраст алого, черного и белого был почти театральным. Его смягчали переливчатость шелка, глубокая мягкость бархата и нежность лепестков.

Поза сидящей была настолько естественной, что Зайцеву в первое мгновение показалось, что Баранова жива. Глаза трупа были открыты.

– Сердце, похоже, – кивнул Крачкин, по возрасту самый старший в бригаде. – Отдышаться не успела – и привет.

– Ты, Крачкин, своей меркой не меряй. Женщина-то еще не старая.

Крачкин пожал костлявыми плечами.

– Не старая, но и не первой молодости. Версия возможная.

– Вызывай перевозку, Мартынов.

Мартынов пошел в коридор – звонить, чтобы забрали тело.

Зайцев заметил багровую тонкую линию на шее мертвой женщины.

– Рано вы сегодня о дембеле размечтались.

Пальцем отогнул белый воротничок – показал Крачкину: через всю шею алел острый, как будто резаный след.

– Муж, как пить дать, – сразу сказал Самойлов.

– Да, для такого и женщина, и мужчина сильны достаточно. Даже подростка или старого человека нельзя исключить, – заметил опытный Крачкин, наводя треногу. – Но муж или сожитель – скорее всего, говорит статистика. А статистика – страшная сила. Вася, – тут же переключился он, – ты объясни начальству, что мне здоровье не позволяет тяжести тягать. Нам фотограф в бригаду нужен.

О фотографии Крачкин напоминал постоянно, и по факту это было правдой: сотрудников в угрозыске не хватало. Но по существу правдой не было. Когда Зайцев только пришел в бригаду, Крачкин представился так: «Крачкин, старик, ипохондрик, мизантроп». И стиснул Зайцеву ладонь так, что пальцы захрустели.

Крачкин высоко поднял вспышку.

– Самойлов, ты ищи струну или вроде того, – сказал Зайцев. И, увидев, что Мартынов вернулся, быстро глянул на наручные часы с исцарапанным стеклом и принялся диктовать: – Тело обнаружено в шесть часов сорок восемь минут...

Самойлов, стуча, выдвигал ящики комода, туалетного столика, шкафа.

– Удушили гражданку Баранову, – машинально произнес Зайцев.

Хлопнула вспышка, на миг обдав комнату светом.

Струну, однако, так и не нашли.

«Не первой молодости». Зайцев сверился с делом. Фаине Барановой было 34 года. Потом с маленькой фотографией. Застывший взгляд, сжатые губы, типичный снимок на пропуск. Жила одна. Двоюродная сестра в Киеве, о других родственниках соседи не знали. Опять эти соседи!

Зайцев отвел снимок подальше, как будто стараясь увидеть Фаину Баранову своими собственными, не соседскими глазами.

Он, пожалуй, согласен с Крачкиным: для своего возраста Фаина Баранова выглядела если и не старо, то болезненно. Лицо одутловатое, под глазами темные мешки. Хотя кто сейчас хорошо выглядит? Скверная еда, изматывающая служба. По очередям набегаются, по дому покрутится, а с утра самого снова ввинчивается в трамвай – и опять на службу. «Но брови-то выщипала», – отметил Зайцев.

И метелка. Такой метелкой домработницы сметают пыль. Хозяйки предпочитают обычную тряпку.

Зайцев подошел к двери и крикнул в коридор:

– Слушай, Серафимов!

Послушал. Идет. Вернулся к снимкам. В дверях появился Серафимов.

– Проверить, Сима, надо, не ходила ли к Барановой домработница. А то мало ли. Тут она домработница, а там она наводчица.

– Соседи показали, что ничего не украдено.

– Все-то они в этой квартире друг о друге знают, – недовольно проговорил Зайцев. – Такая ли она дружная, квартирка эта, тоже еще проверить надо.

Серафимов не ответил.

Зайцев надавил пальцами на закрытые глаза: желтый электрический свет впился в висок. «Красная роза – эмблема любви». А когда открыл, поверх папки лежал опрятный листок. Фигура Серафимова маячила рядом. Наверху листа было выведено четким семинарским почерком: «Заявление».

– Все, Сима, завтра все заявления, на сегодня – спать, – сказал Зайцев, поднимаясь. Стул под ним крикнул. – Что-то примяли меня эти сутки малость. Ничего уже не соображаю.

– Это мое заявление.

– Чего? – Зайцев напряг глаза: «...по собственному желанию». Снова глянул на Серафимова.

– Шутишь?

В полном соответствии с фамилией во внешности Серафимова было что-то пасхальное. Голубые глаза и нежный румянец, впрочем, обманывали. В бригаду Серафимов перевелся лет пять назад, в Ленинграде тогда еще на темных улицах звучали выстрелы, бандиты куражились вовсю. Сиживал Серафимов и в засадах, и под пули бандитские ходил.

Зайцев прочел заявление. Бросил листок на стол.

– Ты, Сима, видно, переутомился чуток. Бывает. Нечего тут заявления строчить сразу. На, забери. Отоспись иди. Я этого не видел.

Но Серафимов схватил его за рукав:

– Я серьезно, Вася.

Зайцеву не было и тридцати. Как почти всем в угрозыске. Но в таком случае именно что год-два решали больше, чем для иных десять лет. Зайцев был «тем самым» следователем Василием Зайцевым. Товарищем Зайцевым. И только для своей родной второй бригады оставался Васей.

– Сима, у нас людей не хватает. Мартышка с ночной засады на вызовы катается, Крачкин фотографирует вместо того, чтобы соседей опрашивать, а ты – увольняться?

Взгляд Серафимова удивил его.

– Я серьезно, – тихо повторил тот.

Зайцев посмотрел: да, похоже.

– Сядь-ка, Сима. Сядь.

Зайцев закрыл дверь кабинета, отрубив сизое щупальце табачного дыма, клубившееся из коридора.

Серафимов опустился на диван из «чертовой кожи». Зайцев сел на подоконник. Окно было нараспашку. Слышался тихий ровный плеск волн о гранитный парапет. С Фонтанки тянуло одновременно гнилью и свежестью.

– Ты, Вася, не трать время. Дело решенное, – тоскливо проговорил Серафимов.

Под тощим пиджачком у него на боку топорщился пистолет. На Серафимове с его кудрями, глазами, щечками пистолет казался детской игрушкой.

– Решил и решил, не спорю, ты большой мальчик. Я просто любопытствую. Ну а куда ты собрался? В трамвайный парк? В конторщики? Или девушка завелась, за бухгалтера замуж хочет? Чтобы без ночных дежурств и уголовного элемента?

Серафимов встал. Подошел поближе к окну. Показал глазами на закрытую дверь. Зайцев спрыгнул с подоконника, прикрыл раму.

– Можно подумать, я сам хочу. Чистить меня собрались, – тихо пояснил Серафимов.

– Ха! – удивился Зайцев. – И что эта комиссия из биографии твоей вычистит? Что в засадах ты раненный? Что товарища своего Говорушкина из-под пуль бандитских, рискуя жизнью своей, выносил? Что ночи не спал? Биография твоя, Сима, известна. И такие сотрудники в уголовном розыске на вес золота.

– Хорошо тебе говорить! – в сердцах воскликнул Серафимов.

– А что мне? Чем я отличаюсь?

– Вон как у тебя все просто.

– А что у тебя непросто?

Но тут затрещал телефон. Зайцев снял трубку и показал Серафимову рукой: погоди.

– Зайцев слушает. Записываю. Угу. Спасибо.

Все это время Серафимов рассерженно глядел в окно.

Зайцев повесил трубку. Оживился.

– Интересное кино. Соседка Барановой по квартире позвонила, говорит, кое-что вспомнила. Побеседовать завтра хочет.

Он сверился в папке:

– Ольга Заботкина. Хм, это учительница музыки. Хорошо. Интеллигентные старые девы гораздо лучше присматриваются к соседкам и их кавалерам, чем все обычно думают.

Но Серафимов его оживание не разделял.

– Что непросто? – саркастически повторил он. – Да все просто! Происхождение мое особенно.

– А что с ним не так? – Зайцев как будто уже забыл, о чем они говорили. Мысли его теперь полностью заняла Ольга Заботкина.

Он постучал стопкой снимков о стол, выравнивая. Увязал папку с делом.

– Отец – священник.

– Так ты, Серафимов, происхождение свое от советских органов и не скрывал. В анкете честно прописал, – Зайцев убрал папку в пасть сейфа, – когда в милицию поступал. Пусть трясутся те, кому есть что скрывать.

– Тогда! Тогда значения не имело. Сейчас имеет. Вычистят меня, Вася, отсюда. С волчьим билетом. Тогда не то что в трамвайный парк не возьмут. Тогда и выслать могут. За сто первый километр. Как антисоветский элемент. Враждебный советскому строю класс. А если по собственному сейчас уйду, так потом ни у кого вопросов не будет. Хоть продавцом устроюсь, хоть механиком.

Серафимов побоялся, что глаза его наполнятся слезами. Он себя жалел. Несправедливость ранила.

Зайцев все так же смотрел перед собой веселыми холодными глазами. Только сейчас они были скорее холодными, чем веселыми.

– Отставить обиду, Сима.

Значит, показались слезы. Серафимов отвернулся.

– Обидно, Вася, – выдавил он. – При чем здесь папаша мой?

– Ты чего, младенец, что ли? Пусть другие обижаются. Которые несправедливость творят. Вот что, – отрубил Зайцев. – Класс твой один – милицейский, самый советский. И точка.

Зайцев увидел, что Серафимова это не впечатлило.

– Послушай, Сима. Возникла у меня идея одна. Бычься с товарищами из комиссии нам ни к чему. Они нашей специфики не понимают. А объяснять некогда.

Серафимов посмотрел на него с надеждой.

Зайцев еще раз надавил пальцами на глаза. На этот раз боль в виске не прошла.

– Смотри, значит. Я тебе сейчас отстукаю приказ. Направляешься ты, товарищ Серафимов, в командировку.

Зайцев прикинул что-то.

– Обменяться опытом с местными товарищами. Задача ясна?

На щеки Серафимова постепенно вернулись пасхальные розы.

– Так точно.

– А когда приедешь, ничего не знаем. Чистили-прочистили, всем привет. Поезд ушел. Понял, товарищ Серафимов?

– Понял. А куда?

– Чего куда?

– Направляюсь куда?

Зайцев задумался.

– В Киев, может? Дивный, говорят, город.

– Можно и в Киев.

Зайцев с хрустом вставил лист в свой «Ремингтон», одним пальцем принялся бить по клавишам. Лязгая, прыгали литеры. Послание киевским товарищам, видно, было коротким. Зайцев покрутил рычаг, выдернул лист и изобразил под ним петлистую подпись.

– Завтра с карточками только разберись, и пусть билеты тебе выпишут. Чистка эта у нас...

Зайцев перемахнул страницу в настольном календаре.

– Вот. В одиннадцать. Значит, прямо часов в восемь утра все оформи, и вперед.

– А?..

– А я вместо тебя на чистку эту приду. Меня пусть чистят, если нейдет. Биография моя самая пролетарская. Снять нечего, кроме штанов.

Серафимов открыл рот, но, прежде чем из него вырвалось «спасибо», Зайцев поморщился.

– Спасибо девочки за цветы говорят.

И Серафимов осекся.

– Я вместо тебя с ними с удовольствием посижу. Ногам отдых дам. Все, теперь спать!



Зайцева слегка удивило, что из морга притащили сюда металлические столы на колесиках. Булькающая разноголосица отскакивала от крашенных стен с портретами вождей, от высоких потолков. Зайцев понял, что это и есть та самая чистка. Комиссия сидела за столом. Зайцев видел товарищей из других бригад. Обращала на себя внимание туша Коптельцева. Он поискал глазами своих. Увидел Самойлова, и Мартынова, и старого Крачкина, и даже вожатого ищейки – вот только не мог вспомнить его фамилию. И Серафимова. «А ты что не уехал?» – спросил. Ни Самойлов, ни Мартынов, ни Серафимов не удивлялись ни металлическим столам, ни дикой, невыносимой лампе, которая била с потолка ярким светом прямо в глаза. Крачкин, тот вообще никогда ничему не удивлялся. Зайцев вдруг скинул пиджак. Спустил подтяжки. И с ужасом понял, что стремительно раздевается. С чудовищной, непостижимой быстротой и легкостью. Вот уже упали на пол сатиновые трусы. Он вышел из них, стряхнул с ноги. И проснулся.

В комнате стоял зябкий утренний полумрак. «Вот черт, всего час-другой сумел поспать», – прикинул Зайцев. Обидно. И вдруг увидел: на потолке огромная легкая паутина отливала металлическим блеском. А потом тихо начала опускаться. И Зайцев понял, что она не легкая, липкая, а режущая, тугая, еще прежде, чем она коснулась его.

И уже проснулся окончательно, с гулко бухающим сердцем и перемятой подушкой в руках.

В окно низко било солнце. Очевидно, это оно изображало лампу в его сновидении. Светом наливалась и белизна потолка с лепниной: в гипсовые ямки забились пыль, эти вечные тени придавали остаткам былой роскоши еще большую выразительность. Другой роскоши в комнате у Зайцева не было.

Зайцев протянул руку, взял с табуретки примятую коробку, вынул папиросу, постучал о коробку, продул, сунул в рот. Тут же вынул. Вспомнил, что вчера бросил. Летом всегда так легко вставать. Зайцев откинул простыню.

Орали воробьи. Летнее ленинградское утро уже завело свою машину. И грохотало по улицам, дудя разными голосами. Будильник

своими черными пальчиками-стрелками показывал перевернутую ижицу. Из коридора говорило радио.

Зайцев выдвинул ящик комода. Оделся. Мимоходом пихнул початую коробку с папиросами под комод: выбросить жалко, а так с глаз долой. Выдвинул другой ящик. Паша щепетильно сложила сдачу ровной металлической пирамидкой поверх неистраченных карточек. В коричневых бумажных кулках ее вчерашние покупки. Зайцев зашуршал, проверяя: чай, кофе, сахар. В серовой полотняной салфетке черный кирпичик хлеба.

Для всей их огромной коммуналки, для всей парадной, для всего двора и второго, связанного с ним аркой двора-колодца, да для всего дома, в котором, если верить рассказням, до революции жила его хозяйка, знаменитая романсовая певица Вяльцева, а теперь – простой трудовой народ, для всего дома она была, конечно, тетей Пашей. В крайнем случае Пашкой. Немолодая огромная бабища, с огромной бляхой на фартуке, Паша по утрам летом и осенью махала колючей метлой, а зимой и весной скребла двор лопатой и посыпала песком. В свободное от государственной службы время Паша строчила на машинке, ритмично нажимая на квадратную чугунную педаль с надписью «Зингер» своими колодами-ногами.

А еще вот вела Зайцеву его тощее холостяцкое хозяйство.

Времени даже на этот скудный быт у следователя ленинградского угрозыска все равно не было. Зайцев отдавал Паше деньги и карточки, она складывала покупки в ящик комода. В другом ящике помещалась вся зайцевская летняя одежда. В третьем, нижнем – вся зимняя. Ключ от комнаты он Паше выдал для удобства. Красть у Зайцева было нечего, кроме чугунной гири в одном углу да вытертого кресла в другом. Из кресла лез жесткий конский волос. В их доме люди жили маленькие и бедненькие. Но даже их гиря и кресло вряд ли могли искусить.

Зайцева это полностью устраивало.

На кухне с десятью плитками и десятью разномастными столами Зайцев сварил себе кофе. Крупно отрезал хлеб, посыпал сахаром.

– Что, товарищ Зайцев, жену себе не завел еще? Всухомятку все питаешься, – соседка Катька стукнула на плиту сковороду и бросила кусок масла. Поверх бигуди у нее была шифоновая косынка. Ходить

«неприбранной» Катька при соседях не любила: она была дамой интеллигентной, трудилась бухгалтером на фабрике имени Крупской.

– Доброе утро, Катерина Егоровна.

На масле зашипели яйца. Их ждали в комнате Катькин муж и дочка-студентка. Дочка собиралась далеко уйти от корней и стать совсем аристократкой – зубным техником.

– И чего девочкам надо? Жених вон не кривой, не кособокий, с жилплощадью, с окладом, карточка офицерская, поди.

– Хорошего дня, Катерина Егоровна.

Это был обычный утренний ритуал, в котором каждый придерживался однажды выбранной роли. Катька свою играла бескорыстно, у дочери-студентки уже был жених.

Глядя на Катьку, Зайцев недоумевал особенно: как это люди находят себе супругов? Разглядеть в эдакой, например, туше свою единственную. А ведь выбрал ее муж эту свою Катерину Егоровну. Уму непостижимо, размышлял он, жуя хлеб. Решают. Записываются. Тащат в комнату примусы, матрасы, потом детские кровати и корытца. Вьют гнездо. Эта сторона обычной человеческой жизни казалась Зайцеву невообразимой. И эти все ритуалы. Походы на танцы. А потом непременно мужской пиджак поверх девичьих плеч, с бесконечной невской набережной в качестве декорации. Стишки еще, цветочки... Зайцев поморщился. Стряхнул крошки и залпом опрокинул оставшийся кофе.

– Что, товарищ Зайцев, чай остыл? – тут же осведомился сосед Палыч, входя в кухню. – А я вот давеча взял. Трава травой. Посмотрел – а там такое намешано. Чаю процентов двадцать.

Палыч говорил «прОцентов». Собеседники ему и не требовались. Иногда казалось, что домочадцы нарочно выставляют его на кухню, уши он им прожужжал.

– Репейник чистый, а не чай.

– Я пью кофе, – ответил Зайцев.

В том мире, где Фаина Баранова была убита – убита спокойно, ненужно и изуверски, – невозможны были букетики и танцы. Просто не было свободной комнаты в мозгу, чтобы об этом думать.

Странное дело Фаины Барановой заняло Зайцева целиком.

В коридоре уже начали роиться соседи, в ванную стояла очередь с полотенцами и мылом в руках. Зайцев захлопнул дверь и выскочил на

набережную Мойки. Паша уже причесала здесь своей жесткой метлой: на земле видны были кругообразные полосы. Газон перед домом давно уже никто не сажал.

Заметив на Исаакиевской площади поворачивающий трамвай, Зайцев припустил, на ходу запрыгнул и повис на подножке. Трамвай понес его сквозь красивейший город, в котором люди жили по большей части некрасивой, неопрятной, бедной жизнью. Собачились на коммунальных кухнях, в пару, вони и бардаке отдыхали от нудной изматывающей работы, часами стояли в очередях за гадкой едой, которую называли «продуктами питания», мучительно копили то на пару туфель, то на бостоновый костюм, подписывались на государственные займы из своих тощих зарплат, пучили глаза на бесконечных партсобраниях. Утро все же было удивительно к лицу Ленинграду. Сверкало на шпилях и в окнах.

Самая длинная очередь, несмотря на ранний час, когда еще все магазины закрыты, склочно извивалась в водочный магазин. Маячили мятые лица. При виде этой очереди Зайцеву само пришло на ум старинное выражение «зеленый змий». На проспекте 25 Октября он спрыгнул.

Медную табличку «Ф. Баранова» с входной двери еще не свинтили. Рядом была приколата бумажка с надписью от руки «два коротких». Дверь была испещрена табличками с фамилиями всех жильцов и указаниями, кому как звонить. Каждая табличка на свой манер выражала характер владельца. Вместе они выглядели пестро.

«Заботкина» было выведено масляной краской на прямоугольном кусочке фанеры. Зайцев утопил кнопку звонка, согласно указаниям. Два длинных и один короткий. И тут же придумал шутку – спросить учительницу музыки, почему так, а не пьеса посложнее.

Дверь Заботкина открыла сама.

– Это вы товарищ из милиции? – благоговейно-пугливо спросила она.

И Зайцев раздумал шутить.

Заботкина походила фигурой на большую бледную сыроватую грушу. Чуть растрепанные волосы собраны в узел. Круглые очки с глазами-рыбками. Зайцев отметил смутное сходство с товарищем Крупской.

– Зайцев, следовательно.

– Проходите, товарищ. – Голос у Заботкиной оказался тихим и сыроватым, как она сама.

Комнату Заботкиной он услышал сразу. Спотыкающиеся звуки пьески «К Элизе» пробирались по темному коридору до самой входной двери. Товарищ Заботкина пропустила Зайцева в коридор, по которому все плелась и спотыкалась «Элиза». И загадочным шепотом добавила:

– Я сразу поняла, что это вы.

На дверях в комнату Барановой со вчерашнего дня висела коричневая печать на шнурочках. Зайцев отвернулся.

Большую часть в комнате у Заботкиной занимало пианино. Пыточный инструмент. Очередной жертве на вид было лет десять. Девочка растопыривала пальчики. Над коротко срезанными волосами непонятно какой физической силой удерживался огромный бант.

– Валя, опусти локти, – коротко приказала учительница, испуганно глянув на Зайцева. Он жестом показал «ничего-ничего».

Зайцев оглядывался, куда бы присесть. Заботкина быстро убрала с тахты продолговатую подушку. Зайцев сел и понял, что это не тахта, а накрытый ковриком сундук. Другой коврик был прибит к стене над ним.

Девочка сбилась, мотнула головой, снова подхватила сползшую петлю мелодии. От этих капающих звуков Зайцеву стало казаться, что за окном не летнее утро, а осенний вечер. Виски сразу налились тяжестью. Учительница негромко вставляла замечания.

Наконец жертва с грохотом отодвинула стул и стала собирать ноты в красную папку с золотым скрипичным ключом.

– Вот, теперь я готова говорить, – тем же сырым невыразительным голосом сказала Заботкина. Села на вертящийся стул спиной к инструменту и сложила на коленях крупные белые руки.

Зайцев подумал, что ладони у нее наверняка холодные и влажные. Как будто давишь какую-то морскую гадину.

– Соседи как, на музыку не жалуются? – с улыбкой спросил он.

– Нет. У нас очень дружная квартира, – произнесла Заботкина, глянув сквозь круглые очки.

«Как-то слишком уж часто они тут все это повторяют», – подумал Зайцев.

– Смешная эта Валя. А кого больше среди учеников, мальчиков или девочек? – дружелюбно поинтересовался он.

Заботкина посмотрела на него с недоумением.

– Я должна проверить свои записи, – серьезно ответила она. Вскочила.

– Да что вы. Я же так, любопытствую.

Он опять улыбнулся. Учительница на улыбку не ответила. На ее лице было нечто вроде паники.

– Вы звонили, сказали, что вспомнили что-то важное, – мягко напомнил Зайцев.

И лицо ее тотчас оживилось. В нем засветились ум и деловитость.

– Да. Вернее, нет, не вспомнила. Потому что я это с самого начала знала. Просто вопрос не так сформулировали.

– Какой же вопрос?

– Ваш коллега спросил, ничего ли не пропало. Тот, с красными глазами.

«Мартынов, – сразу понял Зайцев. – Не надо было тащить его на вызов».

– А пропало?

– Нет, – быстро возразила Заботкина. – Мне кажется, нет. Насколько я знаю, нет.

– Вы хорошо знакомы с обстановкой в комнате Барановой?

– Думаю, да. Фаина очень доброжелательная. Была. Она любила устраивать в своей комнате чай. Или просто посидеть поговорить. За рукоделием.

– Она увлекалась рукоделием?

– Не она. Я. Не увлекаюсь. Но иногда. Для отдыха, – учительница опять посмотрела испуганно. Как будто снова обнаружила себя посреди болота.

– Почему же вы нашли, что вопрос не так сформулирован? – осторожно вернул ее Зайцев на твердую почву.

– Не что пропало. А что появилось! – она даже слегка порозовела.

– В каком смысле?

– Фаина была очень спокойным, обычным человеком, – начала она как будто совсем не по делу.

Зайцев ее не перебивал.

– А эта занавеска. Ее там не было. И платье. У Фаины такого не было. И метелка!

– Может быть, она их купила? – предположил Зайцев. – Когда вы не видели.

– Нет! – почти воскликнула она. – Извините, нет. Она ни за что бы такое не купила! Фаина не любила кричащих вещей.

– Она могла получить их в подарок, как вы думаете? Люди не всегда понимают вкус того, кому они что-то дарят. Ей могли подарить сослуживцы, например. Такое могло быть?

Заботкина смело посмотрела ему в глаза и почти с вызовом объявила:

– Она никогда бы такое не внесла в свой дом.

– Понимаю, – охотно согласился Зайцев.

«Вполне может быть, что она права. Но тогда это полный бред», – подумал он.

Вдруг Заботкина оживилась.

– А вы знаете, надо спросить дядю Гришу.

– А кто это?

– Наш сосед, Григорий Михайлович Окунев. Очень хороший человек.

«И вся квартира дружная, ага», – подумал Зайцев.

– Он всем соседям помогает! – словно услышала его мысли Заботкина.

Эта необычайно дружная квартира теперь уже определенно не нравилась Зайцеву.

– Он бы Фаине помог повесить занавеску.

– Что же, она сама не стала бы? – удивился Зайцев, подыгрывая ей.

– Что вы! У нее голова так кружилась, даже если она на табуретку вставала! Точно-точно я вам говорю. А у нас смотрите какие окна высокие. Тут не табуретку, тут стремянку с чердака приносить приходится, чтобы окно помыть. А уж до карниза дотянуться – тем более.

– Спасибо вам за наблюдение. Придется, видно, вас еще раз навестить, чтобы потолковать с вашим Григорием Михайловичем, когда он со службы придет.

– Да пенсионер он! – обрадовалась Заботкина. – Ему на дом приносят всякие штуки починить. У него золотые руки. Идемте, я вас немедленно познакомлю. – Заботкина с неожиданной ловкостью вскочила. – Идемте! Говорите только громче. Он глуховат немного.

«Одному тут, значит, ее музыка точно не мешает, – отметил Зайцев. – То-то у них отношения такие душевные».

Окунев жил в самом конце коридора. В узкой комнате с одним окном, выгороженной из другой, куда большей; орнамент на потолке был отсечен стеной соседей. От железного хлама повсюду комната Окунева казалась еще меньше, Зайцев не сразу заметил самого хозяина. Заметив, узнал старичка-лесовичка.

– А? – переспросил Окунев, внимательно глядя не в глаза, а на губы.

«Точно, глуховат», – понял Зайцев. Он вчера не нарочно под ногами вертелся, он просто не слышал, что его шугают.

Крича на пару, они с Заботкиной добились у старика, что никаких занавесок он Барановой не вешал, а вот примус припаивал, это



случалось. И утюгу новую ручку наладил, тоже было дело. А занавесок, нет, не вешал.

– А какие занавески были у Фаины Барановой? – спросил Зайцев.

И уточнил: – До того.

– Плюшевые, – ответила Заботкина.

– Коричневые, – сказал Окунев.

– Коричневые, – согласилась Заботкина.

И тогда Окунев подтвердил:

– Плюшевые.

– Ясно, – подвел итог Зайцев.

Хотя ничего ему яснее не стало.

Перед чисткой он только и успел проверить опись в деле Барановой. Коричневых занавесок среди вещей в ее комнате не было. Ни плюшевых, ни коричневых, никаких.

Их вынес тот, кто повесил алую портьеру? Это сделал тот человек, что убил Баранову?

Зайцев оставил опись и фотографии на столе и, торопливо натянув пиджак, поспешил чиститься.

Стол в актовом зале был накрыт красной скатертью. Зайцев сидел и тупо разглядывал проплешины на ней. Сделана скатерть была из старой, вероятно, театральной завесы, но изображала собой нечто революционное. Боевое настроение, однако, не удалось. Весь длинный стол, накрытый до самого пола, напоминал гроб.

Члены комиссии были набраны в силу классовой добротности, иначе говоря, были обычными ленинградскими бедняками. Они скверно ели и еще более скверно жили, и все это можно было угадать по серовато-зеленым неопрятным лицам. В тощем свете электрической лампочки, не пойми зачем зажженной под потолком среди дня, члены комиссии за своим гробом-столом походили бы на вампиров. Если бы не испуг всех шестерых.

Зайцев их даже пожалел.

Бедные советские мышата, они все равно боялись тех, кого им предстояло чистить, – милиционеров. И тех, кто эту чистку организовал. Чин из ОГПУ сидел на самом краю стола и сурово поблескивал бритым черепом. Нос у него чуть ли не упирался в рот. На столе перед гэпэушником лежала фуражка с голубым верхом. Ее алая звездочка смотрела в зал, в публику. Эдакий Вий, который видит все.

Зайцев сидел на стуле, выдвинутом вперед. На чистку согнали всех, кто подвернулся. От следователей до девочек из машинописного бюро. Только дежурных оставили в покое. Хоть кто-то должен был отвечать на звонки.

От девочек веяло любопытством и духами. Все остальные тихо бесились. За дверями ждало немерено работы. Большой город не

нажал на тормоза по такому случаю. Он жил своей жизнью. А значит, воровал, грабил, подбрасывал младенцев (и спасибо, если не в Обводный канал, а в парадную), пускался в бега с общественной кассой, насмерть сбивал пешеходов или калечил общественное имущество, напивался, пырлял ножами, кокал бутылкой по кумполу, лупцевал баб, сигал в воду с ленинградских мостов. И убивал тоже.

Там ждали улики, свидетели, протоколы, фотографии с места преступления, отпечатки.

Всем не терпелось уйти отсюда.

– Начинайте, товарищи! – распорядился чин из ГПУ.

«Смотри-ка, шпалы», – подумал Зайцев. Значки в петлицах на воротнике говорили, что чин у гостя немаленький.

Лицо Зайцева не выражало ничего.

Один из сидевших в комиссии нерешительно протянул руку к графину, долго лил воду в мутноватый стакан, долго пил, растерянно глядя поверх стакана на каждого по очереди.

Пауза явно затягивалась.

– Вы в своем праве. Спрашивайте! – начал подталкивать их гэпэушник.

Один за столом начал прочищать горло. Заперхал, захекал. Все с надеждой посмотрели на него. Но он больше не выдал ни звука. Достал несвежий платок, утер им рот. И снова уставился на большой вялый фикус, который по такому случаю принесли из бухгалтерии и водрузили с краю стола.

Сам фикус глядел в давно не мытое, дымчатое от пыли окно.

«Наше северное лето, карикатура южных зим, – подумал Зайцев. – Фикус, должно быть, скандализован».

Зайцев попробовал переменить позу, но стул под ним сразу так завыл и заскрипел, что тишина стала еще глубже.

– А вы, Зайцев, встаньте. Встаньте! Проявите уважение к процедуре.

Обладатель шпал и фуражки плавно взмахнул толстой белой ладонью, как бы показывая «вира». Стул прощально вскрикнул. Зайцев с облегчением встал, почувствовав, как в ногу будто впились тысячи иголок.

Отсюда он хорошо видел всех в зале. Раздражение на лицах постепенно сменялось сонной одурью. Собрания обычно заряжали

надолго, как ленинградский дождь.

– Товарищ, ваше имя, – наконец, просипел кто-то за спиной.

Зайцев обернулся.

– Вы в зал говорите, – тут же одернул его тонкий надменный голос из-под фикуса. Гэпэушник привык, что вычищаемые юлили, потели, запинались. Ему не понравился этот прямо сидевший парень со светлыми, как у якутской собаки, глазами. Глаза глядели прямо, открыто. Мол, нечего скрывать, весь я как на ладони. При этом, казалось, сам парень ушел на глубину, как рыба, гэпэушник чуял это инстинктивно.

«Я с тебя гонор-то собью», – подумал он.

– Зайцев, Василий.

– Громче, – потребовал гэпэушник. Он начал сердиться на трусоватую комиссию: холопы. – Вот я свое имя громко произнести перед народом не стесняюсь: Шаров Николай Давыдович, – отрекомендовался он.

– Очень приятно. Зайцев! Василий! – пророкотал баритон так, что эхо отскочило от потолка.

– Так-то лучше, гражданин Зайцев.

Начало было положено. Чистильщики заметно приободрились.

– Дата рождения.

Зайцев ответил.

– Вы громче говорите, – еще раз потребовал товарищ Шаров. На подопечных из комиссии он уже не рассчитывал: холопы. Снова все надо было брать в свои руки.

– Товарищи, – зарокотал Зайцев, – меня кто тут не слышит? Я в самое ухо повторить могу.

Смешного в его реплике не было ничего, но в зале порхнули смешки, улыбки. Зайцев понимал их смех. Сколько лет они вместе в засадах сидели, под ножи бандитские шли, убитых товарищей хоронили. Здесь своих не сдают. Никому. И опарыш гэпэушный это знает. Зайцеву противны были эти мероприятия для галочки: слушали-постановили, чистили и вычистили. Только время терять.

Лица перед ним были все молодые. Никому нет и тридцати.

Они не шутке смеялись. Они показывали зубы незваному гостю. И тот понял.

– Ты, Зайцев, по форме отвечай. Клоуном в цирке на Фонтанке работать будешь, а не в советской милиции.

– А какой был вопрос?

Публика тотчас включилась в ход поединка с интересом и злорадством. Шаров покопался в бумагах, взял листок. «Из анкеты», – понял Зайцев. Анкету эту он сам когда-то заполнял, размашисто подписав.

– А почему товарищ Серафимов не явился?

– В командировке он.

– Вчера еще не в командировке, а сегодня в командировке? Так, что ли? – тотчас прицепился Шаров.

«А Шаров ли он? – подумал Зайцев. – Больше смахивает на псевдоним партийный».

– Такая у нас работа, – четко доложил Зайцев.

Теперь анкету нужно пересказать своими словами, вот и вся чистка. Неудивительно, что мильтоны сидят и бесятся: очень им интересна зайцевская биография.

– Происхождение.

– Пролетарское, – четко ответил Зайцев.

– Отец.

– Отец неизвестен. Мать прачка. Зайцева Анна. О матери могу рассказать.

– Неизвестен, значит? – блеснула бритая голова. Шаров нырнул лицом в папку.

«Очки бы сменил», – с неприязнью подумал Зайцев. И тут заметил, что папка, из которой тот вынул листок, была не желтая картонная, с зайцевским личным делом, а добротная кожаная. И добротность эта очень Зайцеву не понравилась.

– А вот тут у нас есть другие данные, – завлекательно начал товарищ Шаров. – В церковно-приходской книге запись есть ясная. Анна Зайцева сочеталась браком с Даниловым Петром Сергеевичем, звания купеческого. Петроград, год 1908-й.

Лицо Зайцева не дрогнуло. Ни тени не пробежало по нему.

– Мамашу мою папаша мой поматросил и бросил. Нагуляла меня моя мать, если вещи своими именами называть. Кто папаша мой был, извините, история покрыла мраком.

– А вот тут сказано: Анна Зайцева...

– Анн Зайцевых, я извиняюсь, в Петрограде как грязи. Вы на что намекаете?

Шаров изобразил сокрушенный вздох. А голос его ничего не изображал – металлический, наставительный.

Зайцеву некстати вспомнилась паутина из утреннего сна. А следом всплыло детское воспоминание-присказка: тьфу-тьфу-тьфу, куда ночь, туда и сон.

– Да не намекаю я, товарищ Зайцев. Я прямым текстом говорю. Ввели вы в заблуждение советскую милицию и советский народ.

Конец фразы потонул в громком визгливом хохоте. Все обернулись на подоконник. Ржала задастая немолодая бабища, из-под юбки торчали ноги-колоды в ботах.

– Ой, не могу, – верещала она.

Зайцев понадеялся, что его лицо не выразило ничего.

– Вы, гражданка... Гражданка!.. – засуетился гэдэушник. – Это сотрудница? Или вы сотрудница и ведите себя прилично, или покиньте зал!

С таким же успехом он мог бы таранить носорога в его железный зад.

Паша знала, как обращаться с мужским полом. Ее кулака боялись пьяницы Фонарного переулка. Она утерла покрасневшееся лицо поллой кофты.

– Да я и свидетель. Чего? Знала я Нюрку вашу.

– Не мою, а упомянутую гражданку Анну Зайцеву. Вы ее знали?

Он весь прямо зацвел малиновыми пятнами. Короткая шея быстро налилась кровью. «Вот таких удар обычно хватает, и привет», – мимоходом отметил Зайцев.

– Отвечайте по форме, гражданка! Не на рынке. Ваше имя, должность.

Гэдэушник занес над листком перо «Рондо». Приготовился писать.

– Да я не скрываюсь. Прасковья Лукина. Дворник моя должность.

Товарищ Шаров и слова вставить не успел. Паша снова оживилась.

– Так вот. Та еще дамочка была Нюрка Зайцева. Вы уж простите, товарищ милиционер. Вы человек советский, вам не понять, может. Старые времена, там как было?.. Много ли стиркой наберешь? Кто

папаша ихний – только боженька знает. Потому что Нюрка была женчина веселая.

Шаров на миг отвлекся от того факта, что Паши в этом зале быть не должно.

– Зайцева проституцией занималась? – с надеждой спросил он.

– Не, – махнула красной шершавой рукой-клевшей Паша. – Ты чего, глухой? Прачка она, говорю же. Стирала. Черное и белое, всякое. Этим зарабатывала. А мужички – это для души. Слаба на передок покойница была.

Гэпэушник швырнул перо об стол, брызнула клякса. Капли упали на голубой верх фуражки. Это Шарова еще больше разъярило.

– Прекратить! – взвизгнул он.

«Инсульт. Или инфаркт», – подумал Зайцев.

– Вы, гражданка... Вы, гражданка... здесь культурно выражайтесь!

В зале уже откровенно хохотали. Даже комиссию отпустил испуг: она зацвела похабными понимающими улыбочками.

– Культурно – это как? – громко осведомилась Паша. Новый взрыв веселья.

Зайцев пристально смотрел на Пашу. Та на него не смотрела.

– Ты мне дурочку ломать прекрати! – взвизгнул гэпэушник.

– Скажу культурно, – покорно пробурчала она, быстро зыркнула на Зайцева. – Уж вы меня извините, товарищ милиционер.

Набрала воздуха в свою просторную грудь, так что пуговка на самом обширном месте расстегнулась, и смачно выговорила: – Нюрка Зайцева, она была...

Всем известное короткое ругательство смачно щелкнуло в воздухе. Комната рухнула от всеобщего хохота. Товарищ Шаров яростно вскочил, чуть не опрокинул шаткий фикус. В комиссии кто-то схватил колокольчик и принялся яростно трясти, призывая к порядку. Звон его тоже казался хохотом.

– Прекратить! Вон отсюда! – напрасно орал гэпэушник.

Через проход, как израильский Моисей сквозь расступившееся в бурю Красное море, пробирался Самойлов. Плотное туловище стягивал пиджак, а то, казалось, он бы раздался еще шире. Неожиданно для своей комплекции Самойлов был подвижен, как кот. Короткие баки придавали ему еще больше сходства с котом.

– Я тебя саму привлеку! – захлебывался гэдэушник.

Быстро оглядев бушующее море, Самойлов справился лучше, чем Моисей. Вставил два пальца в рот. Громкий свист был похож на удар бича. Море улеглось. Все умолкли.

На комиссию Самойлов даже не смотрел.

– Кончай лясы точить, Зайцев. Вторая – на выезд. Моховая. Труп.

Зайцев на миг задержался. Нашел и спросил Коптельцева одними глазами. Тот мотнул головой.

– Поезжайте, – сухо распорядился начальник уголовного розыска.

Тут же стулья задвигались. Зайцев спрыгнул с помоста. В движение пришли все, не только вторая бригада. Все с видимым облегчением поспешили обратно к прерванным делам.

– У нас тут дела поважнее, – попытался навалиться гэдэушник.

Самойлов еще раз глянул на начальника угрозыска Коптельцева. Но тот вдруг обнаружил под своими ногами нечто куда более интересное.

– Вы что, товарищ? – подчеркнуто возмутился Самойлов. – Советский гражданин мертвым обнаружен. Что же важнее?

– Это товарищ Шаров, Николай Давыдович, – быстро вставил Зайцев.

Коптельцев не ответил. Его глазки-вишенки даже не моргнули. Но Зайцев знал: все, что о гражданине Шарове можно узнать, будет в кратчайший срок узнано.

– Да за помехи в осуществлении задачи... – начал было разбег гэдэушник.

Но Самойлов уже понесся вскачь:

– Какие же помехи? Когда задача у нас общая – охранять покой и труд советских граждан. И задача эта на нас возложена государством, – громко отчеканил он, помогая себе ладонью отделить одно слово от другого. От пустых стен отлетало эхо. – Там советский гражданин мертв. И виновного надо найти и наказать согласно советским законам.

Шаров тоже обернулся на Коптельцева за поддержкой – и тоже не смог поймать его взгляд. Коптельцев только приподнял пухлую ладонь, как бы тихо показав: довольно.

«Интересно», – отметил их пантомиму Зайцев.

То ли тихий жест Коптельцева, то ли слово «советский» подействовало на гэдэушника как кол на вампира. Самойлов вбил его



несколько раз. И только потом повернулся к Шарову спиной. За пустым столом тот остался один. Дернулся, дернул за собой скатерть. Фуражка покатилась, укатилась, как назло, далеко, и так и осталась лежать блином. Никто ее поднимать не бросился.

– Мы не закончили. Я тебе это обещаю, – проскрипел Шаров, с трудом выпутывая ноги из длинной скатерти.

Автомобиль уже урчал и трясся. Самойлов своими коротенькими ножками перебежал на мостовую и, подтягивая себя руками, забрался внутрь. Матюкнулся, едва не наступив на собачий хвост, протянутый в проход. Морду Туз Треф положил на колени своего вожатого.

Самойлов плюхнулся рядом с Крачкиным.

– Бездельники, – только и сказал он. – Трудовую деятельность изображают, суки.

ОГПУ в угрозыске ненавидели все.

– Только людям работать мешают, – разошелся Самойлов. – Какие тут, в жопу, классовые враги? Тридцатый год на дворе. Козлы! – И добавил злобно: – Помотались бы с наше, небось расхотелось бы устраивать свои чистки-очистки. Леха, ты чего, уснул? – заорал он без всякого перехода водителю. – Поехали уже!

Автомобиль дрогнул и тронулся с места, выворачивая с Гороховой.

– Слушай, Вася, – подал сзади голос Мартынов, – а чего хорек этот к тебе прицепился, в самом деле? Какой еще папаша-купец?

Зайцев едва обернулся:

– Не понятно, что ли? Это у нас с тобой работы невпроворот, а у этих паразитов работы сейчас особо нет, так они ее себе придумывают.

Самойлов тут же встрял:

– Потом гнида эта бумажечку своему начальству подсунет: вот, мол, трудился я, потом трудовым изошел. Комнату мне дайте или паек повышенный.

– Кто знает, – заметил Крачкин.

– Да ты что, Крачкин! Какие еще классовые враги на четырнадцатом году революции?

Крачкин отвернулся и смотрел в окно как-то уж слишком пристально. Видно было, что тема ему не нравится. Он-то служил еще при царе. Бывший сыщик петроградской полиции был почти идеальной мишенью для чистки.

– А где Серафимов, в самом деле? – вдруг вспомнил Самойлов.

– Послушай-ка, будь другом, переметнись на мое место, – попросил Зайцев. И сам после небольшой тесной кадрили с

Самойловым посреди автомобильной тряски подсел к Крачкину.

Крачкин, впрочем, тревожился не слишком. Он привык быть паршивой овцой. Или уж, во всяком случае, белой вороной.

Знаменитостью петроградского сыска Крачкин стал задолго до революции. Знаменитостью скандальной. Ему случалось арестовывать товарища министра, офицера гвардии, обладательницу третьего по величине состояния империи. Случалось и сметать подозрения, напрасно павшие на людей незнатных, а то и вовсе бедных. Консервативная пресса его проклинала, в гостиных шипели, Крачкина дважды отправляли в отставку. Причем один раз без права восстановления на государственной службе. Слава эдакого Робин Гуда, защитника бедных оказалась горьковатой на вкус. Зато после революции, разбившей миллионы жизней надвое, она Крачкину послужила. В отличие от большинства он и в новой жизни остался тем, кем был в старой, – следователем. В 1922 году он получил именную пистолет с гравировкой. Как только партийной ячейке требовался пример старого спеца, который служит новому строю и передает опыт советским кадрам, вызывали Крачкина.

Именно с ним Зайцеву хотелось обсудить убийство Фаины Барановой.

Зайцев бегло рассказал о странных находках в комнате убитой: приключения портьеры и платья.

– И что? – спросил Крачкин, отводя взгляд от окна.

– Странно это, вот что. Если убийца там, значит, красоту навел. Не торопился гад. Другой бы бежал со всех ног.

– Возможно, не первый раз убивает, – резюмировал Крачкин.

– Не в этом дело. Зачем так трудиться, вот я чего не понимаю.

– Во-первых, занавеску эту и сама Баранова повесить могла.

– Соседи говорят, что...

– Женщины в бальзаковском возрасте часто делают глупости на почве страсти, – перебил Крачкин. – И платье сама, конечно, надела, это во-вторых. И прическу себе затейливую сделала, в-третьих. Если убийца любовником ее был.

Зайцев задумался. Да, складно.

И все-таки не совсем.

– Но роза в руке! – воскликнул он. – И метелка эта дурацкая. Да и поза в кресле. Уж точно не сама она ее приняла. Значит, убийца ее

усадил? Зачем? Бред.

– Не обязательно, – спокойно возразил Крачкин. – Сперва аффект, потом раскаяние. Я помню, как корнет Е. накрыл убитую им любовницу шалью, оправил платье.

– Это ты все с Барановой носишься, Вася? – любопытствовал с другого сиденья Самойлов.

Вожатый ищейки дремал, прикрыв глаза.

– Или мать, которая сперва придушила свое незаконнорожденное дитя, а потом тщательно одела. Чепчик даже. И запеленала, – продолжал Крачкин. – Все то же самое. Горе и ужас от содеянного могут принимать странные формы.

Зайцев покачал головой.

– Так то при царизме, – вставил Мартынов.

– Все когда-нибудь уже было. Все на что-нибудь непременно похоже, – заметил Крачкин. – Люди всегда одни и те же. И при царизме, и при советской власти.

– Преступление есть пережиток старины, – заявил Самойлов. – Чего? Вон ты, Крачкин, на комсобрания по возрасту не ходишь. А там все разьясняют.

Непонятно было, шутит он или нет.

Крачкин растопырил пятерню, принялся загибать пальцы:

– Любят и ненавидят, жаждут денег или выгодного места, боятся разоблачения, шантажируют, или на пути у них кто-то стоит. Все. Причины всегда одни и те же.

– Ой, не знаю, – с иронией сказал Зайцев.

– Преступление есть продукт общества, – встрял водитель, закладывая поворот и едва успев поймать рукой сложенную треногу, стоявшую в проходе.

– В самую точку, Леха, – согласился Зайцев. И заговорил серьезно: – Твои, Крачкин, методы психологического реализма не всем годятся. Ты логически рассуди. Если общество наше советское, еще в мире небывалое, бесклассовое, то значит это, что и преступники в нем новые, небывалые, так? Со своими небывалыми прежде мотивами. Или преступниками становятся сейчас только те, кто против нового общества?

– Это ты все думаешь, к чему он ей в руки метелку вставил? – поинтересовался Самойлов. – Глумился поди, вот и вставил. А ты,

Мартышка, чего думаешь? Сидишь все, молчишь, вставь веское слово.

Мартынов спохватился. Ответ все не шел на ум.

– Кто его, черта, знает, – постарался ответить он.

– Господи, – сказал Крачкин, глядя в окно. Они как раз проезжали мимо ограды Летнего сада. Головы горгон не глядели им вслед. За оградой кипела зелень. Волны смеялись, ловя солнечные блики. В голубом небе косо висели белые острые чайки.

– Какой дивный, прекрасный город, – произнес с грустью Крачкин. – Я не понимаю, как вообще можно убить, украсть, обмануть, когда каждый день видишь такое.

Самойлов фыркнул так, что пес поднял голову.

– Фасады бы еще подкрасить кое-где.

– Приехали, – оборвал дискуссию шофер Леха.

Автомобиль свернул на Моховую.

Домой Зайцев снова вернулся запоздно. Светлое небо отражалось в ясной воде. Дома, казалось, только притворялись спящими, видные до последней черточки в теплом воздухе.

В открытую форточку доносился трубный голос дворничихи, гудевший что-то о любви. В арку был виден внутренний двор с огромным тополем – довольно небывало для ленинградских дворов-колодцев. Впрочем, для классического колодца этот двор был вдобавок слишком светлым и широким. Хорошо жила певица Вяльцева. Зайцев прошел мимо парадной, свернул во двор. Здесь во времена Вяльцевой располагались квартиры победнее, потолки были ниже, лестницы поуже. В этой части в дворничкой и жила Паша. Пока Зайцев пересек двор, она успела дойти до припева.

«Ац-цвели-и уш давно-о хризантэ-э-э-э-мы», – мычала она. Пение слегка заштриховал треск швейной машинки.

В ее конурку вход был отдельный. Дверь, как обычно, нараспашку. Марлевая сетка чуть колыхалась на сквозняке.

– А, здрасьте, – оборвала пение Паша, заметив Зайцева на пороге. – Все не спит ленинградская милиция.

Зайцев прикрыл дверь.

– Паша, ты наврала сегодня, – тихо и холодно произнес он. – Зачем?

«Ха-атцвели-и уш давно-о», – снова затрещала машинка. Поползла из-под иглы цветастая ткань.

Зайцев оперся обеими руками о стол.

– Я, Паша, советскую власть обманывать не рекомендую.

Треск оборвался. Паша заткнулась, заморгала.

– Ты же знаешь, что я здесь в комнате живу с тех пор, как меня детдом поселил. И мать свою я только по документам знаю. И ты ее помнить никак не можешь.

Паша пожала мощным плечом.

– Ты давай плечиками не тряси, не Вяльцева. Отвечай, что это еще за комедия.

– Да чего! Обиделся ты, что ли? Я же не в обиду. Я справедливость люблю.

– И врешь поэтому.

– Да что я, не поняла, что ли, куда этот прыщ гнул?

– Ты как насчет прыща-то узнала, расскажи мне.

– Кверху каком. Как-как. Клавка сказала, которая на Вознесенском метет, а ей Пахомыч с Фонтанки, а ему Люська с Гороховой. А Люська на стенке у вас прочла.

Ленинградские дворничихи и дворники были сетью, единству которой Зайцев в очередной раз поразился.

– Вот что, Паша. Спасибо, конечно, за чувство локтя. Только ты больше не лезь. Мне от людей прятать нечего. А враки и выдумки твои тебе самой боком выйти могут. Ясно?

Паша ухмыльнулась.

– Локтя, ха! Да мне твой локоть как собаке пятая нога. Да я как про чистку у вас услышала, так помчалась. Нам очень некстати, если тебя фукнут отсюда. Нам в доме свой мильтон дозарезу нужен, понял? Я всех безобразников и алкашей местных знаю. А тут еще Фонарный рядом, вон за углом. Оттуда шваль еще своя набежит. И с Сенной ханурики сунутся. А так им всем ссыкотно вроде. Стороной наш дом обползают. Да пока ты в мильтоны не поступил, у нас стекла раз в неделю колотили. А уж сколько у людей простых добра повынесли... Локоть, как же, – снова усмехнулась она. – Это не я, это все кумекают: свой мильтон в доме нужен.

Зайцев слегка поразился простому зоологическому прагматизму соседей. Великий знаток борьбы и сосуществования видов в дикой природе Чарльз Дарвин наверняка воспользовался бы этим примером, если бы дожил до победы большевизма.

– Я, Паша, вам не свой мильтон. Если кто из вас закон нарушит, то по всей строгости спрошен будет. Ясно?

Паша мотнула головой, как лошадь, которая пытается стряхнуть торбу.

– Ты карточки-то на месяц выдать не забудь, – миролюбиво напомнила она.

Машинка снова застучала.

«Ха-атцве-ли-и уш давно-о...» – снова понеслось в белую ленинградскую ночь.

У себя в комнате Зайцев задвинул щеколду на двери. Свет зажигать не стал. В комнате было достаточно света с ночной улицы, с воды. Он взялся за край комода, приподнял. Отодвинул, стараясь не шуметь.

Отлепил от задней стенки плотный конверт. И вынул из него документы.

Трудовую книжку он сразу отложил. В ней можно было не сомневаться: ее он получил сам. Все записи тоже сам заработал.

Зайцев долго смотрел на маленькую плотную фотографию. Похоже, пришло время с ней расстаться. Сердце сжала тоска. Окажется ли его память столь надежной, чтобы сохранить это лицо? А вдруг случится так, что однажды он не сможет вспомнить? Ему стало жутко. Не сжигать? А если этот снимок будет стоить ему жизни? Зайцев смотрел на него, будто желал выжечь изображение на обратной стороне собственных глаз. Помедлил, но все-таки опустил снимок в медную миску.

Отложил в сторону, к трудовой, членский билет общества ОСОАВИАХИМ с маленькой квадратной фотографией. Небрежно бросил следом читательский билет в районную библиотеку.

А метрику поднес к самым глазам. Затем посмотрел на свет. Перевернул. Все как и должно быть. Документ не вызывал подозрений. Он выглядел отлично. Иначе и быть не могло. Мать: Анна Зайцева. Отец: неизвестен.

Сердце его слегка забилося.

Место за комодом было вполне надежным на случай, если Паша решит пошарить вокруг или в комнату залезет поживиться дурилка какой-нибудь. Но при обыске, профессиональном обыске? Сам Зайцев не мог припомнить, чтобы кто-то из них когда-либо передвигал на месте преступления мебель. Но кто знает, как там их учат в ГПУ.

Он подвинул ближе миску. Держа метрику над ней, нашарил коробок. Нет документа – нет вопросов. Чиркнул спичкой.

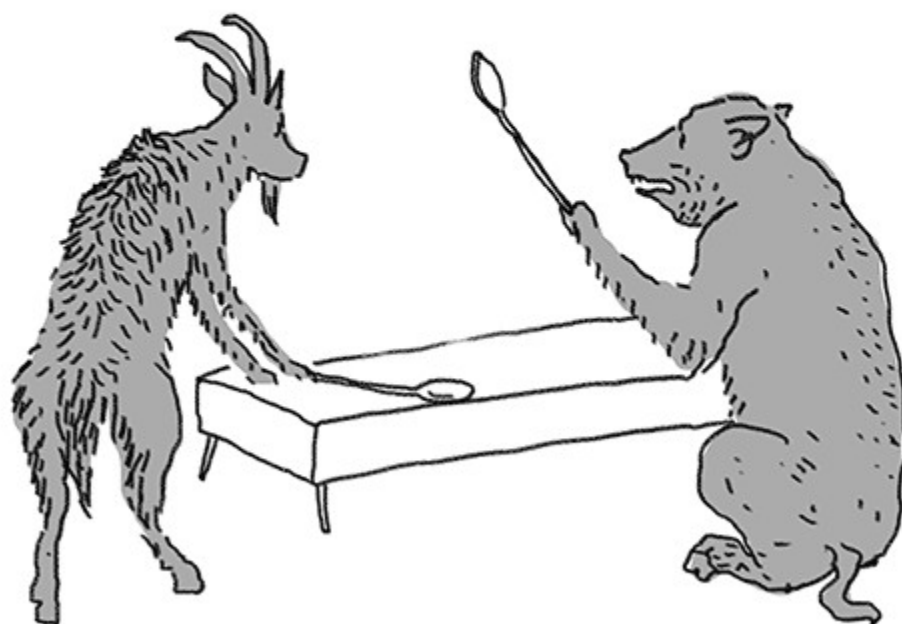
Или нет? Все-таки это был хоть какой-то документ, утверждавший существование сына незамужней питерской прачки Анны Зайцевой. Против другого документа это был документ, а не просто слова.

Зайцев едва не обжег пальцы, но успел задуть спичку.

Фотографию снова убрал в конверт.



## Глава 2



Зайцев обнаружил, что кабинет его не пустовал. Спина к двери сидел на стуле посетитель. Коротко остриженная голова торчала над тощенькой рубахой. Слегка оттопыренные уши атели на просвет – несмотря на ранний час, солнце било уже вовсю. Пиджак незнакомец держал на коленях, что придавало ему сходство с пассажиром, ожидающим поезда.

– Гражданин, вы как мимо дежурного сюда просочились? – поприветствовал его Зайцев.

Незнакомец вскочил. На вид ему было едва ли за двадцать. Круглое свиное личико.

Зайцев не дал ему и рта раскрыть.

– Следуйте за мной.

Гражданин не стал спорить.

По большой, просторной, но замызганной лестнице они спустились к дежурному. На деревянную стойку уже наваливались грудью первые посетители.

– Гражданка, – терпеливо объяснял бабе в накинутом на плечи платке дежурный, – сядьте на место.

Появление Зайцева подало ей новую надежду. Баба бросилась к нему. Зайцев разобрал только «чердак» и «я вас умоляю». Свежевыстиранное белье сперли с чердака, обычная ленинградская история.

– Вы что, гражданка? – попытался обойти ее Зайцев. – Здесь уголовный розыск. А вам к участковому надо.

Зайцев перегнулся через стойку и тихо бросил дежурному, показав взглядом на визитера: «Что это еще за шкет?» То, что прямиком в кабинете следователя нарисовался не обычный горожанин с заявлением, Зайцев понял сразу: чужака мимо стойки не пропустили бы наверх. А потащил он его вниз только ради того, чтобы сбить и сконфузить.

– Пополнение прислали, – шепнул дежурный. – Пока Серафимов в командировке.

– Кто прислал?

– Товарищ милиционер, кто ж белье мое найдет? – напомнила о себе баба.

– Белье ваше, мамаша, сперли, и, боюсь, лежит оно теперь в сундуке у ваших же соседей. И если по дурости своей они сами его на том же чердаке не повесят, не найдет его больше никто.

Та опешила.

Зайцев посмотрел: новичок спокойно стоял поодаль, глядя из-под полуприкрытых век голубыми глазками на скапливающуюся очередь. «Финн. Или эстонец», – решил Зайцев.

Он прошел сквозь толпу. Комнату дежурных постепенно заполнял запах табака и несвежих тел. Советский Союз был государством равных. Но те, от кого пахло мятной пастой, мылом и духами, в общей очереди все равно не толклись. Даже в приемной угрозыска.

Зайцев просиял «финну» чересчур широкой улыбкой.

– Что же ты молчишь? Пополнение, значит?

– Так точно, – ответил тот.

– Зайцев моя фамилия.

– Нефедов, – протянул руку «финн».

– Постовым, что ли, стоять надоело, Нефедов? – улыбнулся он.

– Никак нет.

– Да что ты каблуками-то щелкаешь? Из армии недавно?

– Три года как.

«Не такой уж мальчик», – понял Зайцев.

– Пополнение нам кстати, – Зайцев кивнул, хлопнул его по плечу. – Работой все завалены. Пошли. Лясы точить особенно некогда. Сразу введем тебя в дело. В деле со всеми и перезнакомишься.

Дойдя до нужной двери, Зайцев стукнул костяшками пальцев по косяку. Крачкин, сидевший за столом, глянул из-под очков.

– Вот, новые кадры. Прошу. Товарищ Крачкин.

– Нефедов.

– Нефедов? – спросил Крачкин таким тоном, будто интересовался у экскурсовода в этнографическом музее. – Уж больно физиономия чухонская.

Но такой прием не удивил, а тем более не обидел новичка. А может, и то, и другое, но только лицо его не выразило ничего.

– Ну, прошу-с. Товарищ Нефедов.

Крачкин понял, что Зайцев сбросил на него новобранца не просто так, но и бровью не повел.

– Введи его, Крачкин, сразу в дело, – дружелюбно распорядился Зайцев. – А я потом подключусь.

Крачкин кивнул. Нефедов подался вперед.

– История, значит, простая. Два товарища вместе выпили, – успел услышать Зайцев начало.

У машбюро он притормозил. Из-за двери слышался приглушенный треск. Зайцев открыл дверь, стукнул в закрытое окошко. Деревянная дверка отворилась. Показались красноватый носик и сидящий валик надо лбом.

– Наталья Петровна, одолжение сделаете? Мне справочку только навести. Сотруднику новому удостоверение выписали, да вроде фамилию не так написали. Проверить бы.

Наталья Петровна поняла только, что допущена опечатка. И тотчас утратила способность думать. Носик исчез. Зажужжал зуммер. Дверь щелкнула, показала подбитое пробкой нутро. Зайцев приоткрыл ее и на миг оглох от треска машинок. Женщины сидели в наушниках. Ни одна не подняла головы, словно бы и не заметила посетителя. Но при этом некоторые наклонили лицо еще сильнее, пальцы так и порхали над клавиатурой. Наблюдатель легко мог бы сказать, кто из машинисток не замужем. Самойлов цинично относил машинисток к категории профессий «ищу мужа»: в угрозыске работали почти одни только мужчины.

Одна из них оборвала набор и сняла наушники первой. За ней остальные. Треск стих. Зайцев быстро выяснил, у кого из них лежит свежий приказ о назначении нового сотрудника. Машинки опять затрещали. Зайцев, дурея от шума, быстро пробежал глазами приказ. Ответы гостя не зря насторожили его. Нефедов Клим Прохорович не был ни постовым, ни регулировщиком, ни участковым. Он вообще не служил раньше в милиции. Его перевели в ленинградский угрозыск прямиком из ОГПУ.

– Формально, да и с практической точки зрения тоже, они правы. – Крачкин выпустил синюю струю дыма, спугнув с перил разомлевшую на солнце муху. И раздавил окурок в маленькой карманной пепельнице. – Людей у нас действительно не хватает.

Зайцев покачал головой. Теперь он не курил, но балкон, лепившийся на фасаде, остался единственным в здании местом, где можно было под предлогом папироски потолковать с глазу на глаз.

– Думаешь, это после чистки?

Крачкин пожал плечами, глядя на улицу. Снизу доносилось цоканье. Проползла телега с дровами, проехал грузовик. Горошинами плыли головы прохожих. От мостовой дышало зноем.

– Вряд ли. Думаю, после дела Петржака не все еще головы слетели.

Предшественник Коптельцева товарищ Петржак кончил плохо. И кончил совсем недавно. Вернее, отделался легким испугом: его всего лишь убрали куда-то в провинцию. А ведь могли и посадить. Или под трибунал отдать: со склада улик ценности пропали немалые – шубки, цацки, деньги. Начальник угрозыска оказался банальным вором. История выплыла наружу, партийные деятели и партийные газеты требовали мер покруче. В городе вопили, что милиция своих прикрывает (что отчасти было правдой). Для успокоения общественности в угрозыске провели несколько показательных расправ над фигурами помельче.

И назначили новым начальником Коптельцева. Перевели из ОГПУ. Новая метла должна, мол, мести по-новому: без разлагающего влияния старых дружб, ссор, обычаев, круговой поруки.

Крачкин запалил еще одну папиросу.

– Не много ли? – проворчал Зайцев, покосившись на огонек. – Прокоптился весь.

– Эпоху царизма, однако, пережил, – иронически возразил тот. – Чего не могу сказать о многих своих товарищах, озабоченных гимнастикой и холодными обтираниями. Мне теперь можно. Это тебе еще бегать и бегать, ты сердце и береги.

– Слушай, Крачкин, не пойму я что-то. Если ты прав, допустим, то какие же еще головы? Бригаду следственную разогнали, помнится. Следователь, который дело Петржака вел, служит где-нибудь в Новохоперске. Все наказаны. Зло побеждено. Концы в воду.

Крачкин покачал головой.

– Да ты ведь, Вася, тоже там отметился вроде.

– Я? Да пару раз в ломбардах опросил приемщиков, вот и все. Так, по дружбе выручил. Никаким боком я в бригаде той не числился.

– А подпись под протоколами теми, где про ломбарды, твоя?

Зайцев не ответил.

– Вот-вот, – заметил Крачкин. – Мы все там понемногу отметились. Помогаючи. Мы все теперь под подозрением. Вот нам и выдали товарища Нефедова. Кукушонка.

– За всеми-то не уследишь?

– То есть? – подозрительно посмотрел на него Крачкин.

– Да, думается мне, у Нефедова этого вполне конкретное задание. Одна какая-то разработка.

– Думаешь?

Зайцев услышал, как дрогнул, совсем чуть-чуть, но дрогнул голос старого сыщика. При слове «конкретное» Крачкин подумал о себе.

Зайцев посмотрел на него.

– Чего? Вытаращился, как кот, – рассмеялся Крачкин. Поперхнулся дымом, кашлянул. – Гипнотизер, что ли? Ты, Вася, так: глянь – и отводи взгляд. Смягчай. А то тяжелый он у тебя больно. Пронзительный. Тебя дамы любить не будут.

– Они меня и так не любят, – пробормотал Зайцев, отворачиваясь. Протоколы со своей подписью из дела Петржака теперь уже не изъять.

– Дамы, Вася, чувствуют, что, несмотря на твой профиль чемпиона, широкие плечи и прекрасный рост, ты с ними будешь слишком деликатничать. Есть в тебе что-то такое...

– Чего-о? Вот трепло. Ты лучше скажи, с какой кашей мне теперь этого Нефедова есть? В бригаде. Ребята же не слепые.

– А не надо его есть с кашей, – Крачкин пнул окурком вниз. – Прислали пополнение? Вот и спасибо. Пусть работает. Гоняй его в хвост и в гриву. Пусть фотографии делает. По свидетелям бегаёт. У тебя что сейчас горит? Убийство в коммуналке на Невском?

Проспект 25 Октября Крачкин на старый лад называл Невским. При мысли о Фаине Барановой, ее открытых глазах, розе в ее мертвой руке Зайцева передернуло.

– Там же свидетелей полная коммуналка, – Крачкин повернулся, чтобы из зноя снова войти в прохладу кабинетов, коридоров, лестниц. – Вот и пусть Нефедов общается.

– Мартынов и Самойлов всех опросили. Да и я сам побеседовал.

– И? Нам-то что. Пусть дует. Лишь бы не мешал. Может, чего притащит. Притащит – спасибо. А нет – тоже хорошо. Какая разница. Главное, от нас подальше.

– Вася, это как понимать? – Мартынов навис над столом. В столовой стоял тот характерный шум, в котором сплетаются гам голосов, грохот стульев и стук алюминиевых ложек.

– Мартышка, уйди, не тряси лохмами, – махнул на него Самойлов, прикрывая ладонью тарелку с супом.

– Как мило: за суп сегодня обеденные карточки не вырезали, – сообщил Крачкин, подсаживаясь с дымящейся тарелкой.

– Потому что это не суп, – жуя, ответил Самойлов.

– Ты чего ластами машешь, в самом деле? – удивился Зайцев, зачерпывая ложкой волокнистую гущу. Мартынов был явно взволнован.

– Это не может быть капустой, – тут же отозвался Крачкин, придвигая снятые очки к дымящейся поверхности на манер лупы. Стекла их вмиг запотели.

– Это и не капуста. Это Мартынов только что натряс.

Голос у Мартынова сделался чуть визгливым.

– Вася! Ты зачем этого... Нефедова по соседям опять отправил?

Зайцев глянул на Крачкина, как бы ища поддержки. Но тот хлебал суп, будто разговор его не касался.

– Сядь, Мартынов, не ори на всю столовку.

Но Мартынов хлопнул ладонью по столу.

– Мартын, выдохни. Сядь, – мирно сказал Крачкин.

Мартынов скроил недовольную мину, но сел. Потом встал. Пошел за своей порцией супа.

– Однако, – только и сказал Зайцев.

– Это еще что за явление было? – проворчал Самойлов.

– Конкуренции боится, – отвечивал Крачкин. – Со стороны длинноногих юных кадров.

Нефедов в самом деле бегал дни напролет. Поручения от Зайцева, от Крачкина, от Самойлова так и сыпались. Новичок не роптал и недовольства не выказывал.

– Во времена императора Николая Первого, говорят, был приказ солдатам иметь вид лихой и придурковатый, чтобы своим разумением не смущать начальство, – возвестил Крачкин, придвигая к себе второе:



жидковатое пюре с сероватой сосиской в лужице коричневого соуса. – Наш новый друг в этом явно преуспел. Похвально.

– Между прочим, не надо ржать, – возразил Самойлов. – Если бы не Нефедов, мы бы сейчас сами бегали, как савраска без узды. В связи с чем предложение.

Мартынов вернулся с дымящимся подносом.

– Мартын, слышал?

Лицо у того по-прежнему было угрюмым.

– Что еще?

Ответил веселый Самойлов:

– Если вечером никакой срочный вызов не нарисуетя, предлагаю всем вместе цивилизованно выпить пива. Есть одно заведение новое, я разведаль. Кто за, товарищи?

И поставив локоть на стол, раскрыл квадратную ладонь. Другой рукой он держал стакан с тепловатым сладким чаем. Крачкин кивнул.

– Пусть, – буркнул Мартынов.

– А ты, Вася?

– Не могу.

– Да ладно.

– В театр иду.

– Шутка сезона!

– Куда?

– Чего? Просвещаться надо. Вы, товарищи, между прочим, советские комсомольцы, а не шантрапа какая-нибудь.

– Я – нет, – вставил Крачкин.

– Мы пример должны подавать, – не сдавался Зайцев. – Вот ты, Самойлов, когда балет в последний раз видел?

– Балет? – удивился Самойлов.

Крачкин засмеялся.

– Не скалься. Ишь, заколыхался, – добродушно оборвал Зайцев.

– Вася, – наставительно воздел папиросу Крачкин. – Помни: глянул – и в сторону.

– Да пошел ты!

– Это чего? Он о чем? – засуетился Самойлов.

– Ты, Крачкин... Я на твоём месте больше интересовался бы современным советским искусством. Чтоб от жизни не отстать.

– Товарищи, – объявил Крачкин. – Вы хоть поняли, к чему эта комсомольская болтовня? У товарища Зайцева – сви-да-ни-е. С дамой.

– О!

– Не может быть!

– Разговелся!

– Поздравляю!

Даже Мартынов забыл о том, что злился. Зайцев встал, накинул пиджак, разом попав в рукава. Одернул лацканы.

– Некультурные вы. Пойду я.

– Она из машбюро?

– Из столовой?

– Регулировщица?

Зайцев припустил от них.

– В этой пивнухе, про которую я говорю, что интересно, – снова заговорил Самойлов. – В ней стоят высокие такие американские стулья...

– Ага, – подал голос Мартынов, – чтобы с них ляпнуться после третьей.

– А кто в тебя третью вливает? – принялся объяснять Самойлов. – Ты культурно сядь, закуси.

Поразительно, насколько даже маленький человек оплетен всевозможными приятельствами, связями, знакомствами. Вот даже и убитая Фаина Баранова, по анкете «одинокая», была чьей-то сослуживицей, знакомой, соседкой, приятельницей, клиенткой. Нефедов бегал действительно как савраска.

Зайцев слушал его доклад и понимал, что чем больше Нефедов говорил, тем меньше в этом было смысла.

Что все эти люди могли сказать об убитой? Что могло бы пролить свет на ее гибель? Что работницей она была исполнительной? Что раз в месяц посещала парикмахерскую?

Убийство Барановой не было раскрыто по горячим следам. Орудие убийства не нашли. Пальчиков тоже; Крачкин запудрил черной пылью всю комнату, после чего объявил: «Видно, опытный, гад».

Но с чего опытному гаду переодевать труп? Опытные работают быстро, практично.

И какой тут опыт, если ничего из комнаты не украдено? «Так говорят соседи», – уточнил сам для себя Зайцев. Все ли знают соседи?

Он отогнал эту мысль. Сомнения ничем не могли помочь, лишь зря бередили ум. Убийство Фаины Барановой уже перешло в разряд тех, что не будут раскрыты никогда. Вот только понимал ли это сам Нефедов?

Он стоял навтыжку перед столом Зайцева. «Вид лихой и придурковатый», – вспомнил Зайцев. Только Нефедов больше напоминал прилежного студента.

«А где Серафимов, он ни разу не спросил. Терпеливый, гад. Дотошный. Аккуратно вываживает», – думал Зайцев. На лице его тем не менее было написано горячее внимание.

– Ну-ну, Нефедов, – заинтересованно отозвался Зайцев, совершенно не слушая.

Нефедов слабо оживился, вынул из кармана маленькую книжечку. Нарядная и хорошенькая, она дико смотрелась в его больших костлявых руках. Нефедов принялся докладывать, сверяясь с книжечкой; хмурил белесые брови, у него даже нос от усердия удлинился. До сознания Зайцева добралось несколько раз

произнесенное слово «пастушок». Добралось и свалилось за край сознания. В такие книжечки, думал он, лет пятнадцать назад барышни записывали кавалеров на балах: за кем какой танец. Зайцев невольно представил, откуда у Нефедова, бывшего сотрудника ГПУ, такая вещица вражеского классового происхождения, но предпочел отогнать и эту мысль. Только не сегодня вечером.

– Отлично, Нефедов! – искренне сказал он. – Пиши рапорт, и мне на стол к утру. Молодец, так держать! Вот это я понимаю, окончание рабочего дня! Молодец!

Похлопал Нефедова по плечу. Не забыл, однако, выходя, подтолкнуть его вперед. И запер за собой дверь кабинета.

Крачкин был прав. Если ленинградская девушка приглашала на балет, ленинградскому мужчине следовало мобилизовать все силы: это было не просто свидание. По важности балет помещался за два шага до страшного суда – знакомства с ее подругами.

В фойе уже рокотала толпа, предвкушая спектакль. Зайцев пригладил волосы перед большим, оплетенным золотой рамой зеркалом, которое презрительно сверкнуло амальгамой, нанесенной еще в те времена, когда зеркалу показывали фраки, мундиры с золотом, турнюры и бриллианты, а не убогие одежды советских служащих. Теперешнее отражение напоминало сероватую кашу. Зайцев поспешно отошел. Двери в партер были еще закрыты.

Леся стояла у бархатной скамьи и вертела в руках маленький перламутровый бинокль. Зайцев купил программку у билетерши. И по лицу Лели понял, что свою первую ошибку он уже совершил. Хорошо воспитанному ленинградскому кавалеру полагалось и без программки знать, что дают сегодня вечером, кто сочинил музыку, кто хореографию, а также кто в главных партиях. Зайцев свернул программку в трубочку, сунул в карман пиджака и смущенно кашлянул.

Леся сделала вид, что не заметила фальстарт, продела руку в подставленный ей локоть, и они поднялись по широкой беломраморной лестнице во второе, парадное фойе. Оно казалось особенно просторным и светлым из-за белого мрамора. Сюда выходили высокие двери, которые вели в бывшую царскую ложу – центральную и самую большую. Вместо императорских вензелей теперь повсюду красовались скрещенные серп и молот. Леся то и дело кивала знакомым. Зайцев почувствовал, как деревенеет.

– Может, двери уже открыли?

– Бросьте, – с улыбкой шепнула Леся. – Они все шеи посворачивали. Горят желанием узнать, кто вы такой.

– Жаль, что я не играю в джазе Утесова.

Леся стала рассказывать, как там у них в институте. Она училась и заодно работала лаборанткой. «И отлично. Пусть поболтает», – с облегчением подумал Зайцев. Пары двигались по фойе, описывая

каждая свой круг, как на катке. Мимо проплыл со спутницей толстяк в костюме-тройке. «И не жарко же ему», – отметил Зайцев. Краем уха он услышал слово «щелкунчик». Значит, это «Щелкунчик» им сегодня предстоял. Зайцев ободрился. Вспомнилось что-то яркое, белые метели из танцовщиц в пушистых юбках, елка, Рождество. Что-то виденное очень давно, что-то очень приятное и знакомое.

Леля оживилась. Зайцев молот ей какую-то любезную чепуху. Она смеялась и стала еще прелестнее.

После второго звонка публика устремилась в зал. Их кресла были в бенуаре, у самого прохода. Зайцев с радостным интересом рассматривал зал. Звуки настраиваемых в оркестре скрипок, нестройный гул публики, блеск люстры – все наполняло душу предвкушением. Он улыбнулся Леле. Но она была занята: быстро оглядывала в бинокль ложи. Дали третий звонок. Билетерши закрыли двери в партер. Свет стал гаснуть. Леля, наконец, откинулась на спинку кресла. В темноте полились первые звуки Чайковского. Занавес поднялся.

На пустую сцену выехали высокие картонные щиты. Появились танцовщики в рабочих комбинезонах. Зайцев осторожно оглянулся на Лелю. Она взяла его руку в свою, но головы не повернула. Он тоже стал смотреть на сцену.

Видимо, это был особый, авангардный «Щелкунчик». А может, конструктивистский. В общем, Зайцеву скоро начало казаться, что голову его равномерно сдавливают со всех сторон. Он подавил зевок.

По сцене ездил щиты. Сновал кордебалет в спортивной форме. На сцене растянули огромные полотнища ткани, за которыми танцовщицы вертели головами. Засвистела флейта. И хотя в оркестре гремело, чирикало, свистело и пело, Зайцеву стало казаться, что руки и ноги его делаются все тяжелее, все горячее, а тишина в зале – все темнее, глубже, бархатистой. «И это танец пастушков», – тихо и саркастически сказал кто-то сбоку. Голос Нефедова в мозгу бубнил, как муха, бьющаяся об стекло. «Пастушок», – донеслось голосом Нефедова сквозь трели флейты. Пастушок. И через секунду Зайцев услышал собственный храп.

Он встрепенулся. «Боже!» – ахнула Леля. Сзади негромко порхнули смешки. «Какой позор», – прошипела Леля со слезами в голосе и бросилась по темному проходу вон из партера.

– Леля, стойте! – Зайцев ринулся за ней.

«Товарищи! Ведите себя прилично», – тут же зашипели им вслед. Дверь на миг растворилась, впуслав в партер прямоугольник света.

Фойе ослепило Зайцева.

Он выскочил за Лелей в вестибюль. Шаги гулко отдавались в пустоте.

– Леля, постойте! – он, наконец, схватил ее за руку. – Пожалуйста. Мне так неловко.

За стеклянными дверями маячили любопытные лица билетерш.

– Вам скучно в балете! – она покраснела, даже ногой топнула.

– Мне совсем не было скучно! Просто работа такая. Постоянно не высыпаюсь. Сам не понимаю, как это случилось!

– Не смейте! – она выдернула руку. – Вы... Вы некультурный человек! И не вздумайте меня провожать!

Зайцев повернулся к билетершам. Те сразу отпрянули в глубь фойе, сделав вид, что происходящее их нимало не интересовало.

Зайцев с шумом выпустил воздух. Вот и все свидание.

Он подошел к афише. «Щелкунчик» стояло на ней.

«Шутите?» – сердито подумал Зайцев.

Мелкими, но толстенькими буквами стояла фамилия хореографа. Зайцев бросил программку в урну и вышел вон. Воздух был теплым и по-вечернему прозрачным.

Фонари у театра матово светились, как большие белые жемчужины. Напротив в здании консерватории кое-какие окна горели оранжевым электрическим светом: то ли припозднившиеся студенты все еще упражнялись, то ли читали вечерний курс.

Леля как сквозь землю провалилась.

На трамвайной остановке стояли люди, дружно, как один, повернув головы в сторону моста, откуда должен был показаться трамвай.

Идти до дома Зайцеву было всего ничего.

Он растянул прогулку как мог. Постоял, любуясь мрачноватой темно-кирпичной аркой Новой Голландии. Ясное небо отражалось в стоячих водах. Деревья неподвижно макали ветви. В тысячу сто пятьдесят третий раз Зайцев пожалел, что бросил курить. И по набережной Мойки поплелся домой. Дорогой он развлекал себя письмом, которое «работник ленинградской милиции» Зайцев пишет

«уважаемому литератору Зощенко» с просьбой описать потрясающий нервы случай из любовной практики. Он почувствовал себя вдруг страшно усталым. Горло раздирала зевота.

Набережная была пустынна и просматривалась до самой Исаакиевской площади. Только черный «Форд» стоял чуть поодаль, привалившись к обочине. Водитель спал, сдвинув кепку на глаза.

Зайцев свернул в парадную, мечтая, как завалится спать. Глупо было тащиться на балет, когда вечер выдался свободным и можно было хотя бы отоспаться. Или выпить с ребятами пива. Выпить и отоспаться. С лестницы брызнул серый кот. Пахло, как обычно, помоями.

Дверь в квартиру была не заперта.

Видно, забыл кто-то из соседей. Зайцев убрал ненужный ключ и вошел. В коридоре горела лампа-свеча – тусклый экономичный желтый огонек. Выключить свет соседи не забывали никогда, ожесточенно бранясь всякий раз, если кто-то оставлял лампочку гореть. Зайцев сам не заметил, как стал ступать тише.

Но никакого подозрительного звука не различил. В квартире вообще не было никакого шума, и это показалось Зайцеву самым подозрительным. По вечерам соседи галдели, скрипели полы или несчастная мебелишка, кто-нибудь разговаривал, кто-нибудь слушал радио, кто-нибудь шаркал по коридору, кто-то стирал на кухне, у кого-нибудь орал ребенок. Рука легла наискосок, ладонью ощутив рукоять пистолета под пиджаком.

Зайцев толкнул дверь своей комнаты.

Посредине на стуле сидела дворничиха Паша. Лицо ее было серовато-белым. А губы тряслись.

– Паша, ты что здесь делаешь? – спросил Зайцев в дверях. И тотчас две тени шагнули из-за двери. От стены отделилась сгорбленная фигура управдома.

– Гражданка – понятая. И гражданин тоже.

Зайцев схватил взглядом сразу все: гимнастерку, португеею, синие галифе, голубой верх фуражки говорившего.

– Не дури, без безобразий давай, – угрюмо добавил второй. Он был одет в гражданское и обдал изо рта запахом гнили.

– Гражданин Зайцев? – отчеканил первый. Паша шумно сглотнула.



– Руки за спину. Вы арестованы. Не вздумайте выкинуть какое-нибудь коленце.

Спрашивать, кем арестован, было ни к чему. Фуражка с голубым верхом дала ответ еще до того, как вопрос возник: обладатель ее был офицером ГПУ.

Быстро вынул у Зайцева пистолет, удостоверение. Паша сидела ни жива ни мертва. Ей подсунули бумажку, она расписалась, не глядя: дрожавшая рука с трудом слушалась. Дали расписаться управдому, тот тоже был белее мела.

– Проходи, Зайцев. Машина внизу.

# Глава 3



С лязгом поднялась дверка в железной двери камеры. Тотчас стукнул и захрустел в замке ключ. Фигуры на койках ворохнулись, приподнялись, сели рывком. Моргая от света, обитатели камеры воззрились на дверь. В карих или светлых, больших или узких, по-юношески ясных или уже обведенных морщинками, в их глазах не было ни мысли, ни разумения, один только страх: кого сейчас? Судя по темной полосе, видневшейся в намордник на окне, все еще стояла ночь. А может, уже утро? Осенью ведь по утрам уже темно. Зайцев потер глаза – из сна выходить не хотелось. Ночь была временем допросов. А допрос – той формой взаимоотношений, когда один человек, в следовательских погонах, мог другого, сидевшего перед ним в ботинках без шнурков и одежде без пуговиц, садануть по лицу, дать кулаком в зубы, пнуть сапогом, ударить стулом, искалечить, изувечить – мог все. Местный закон сидевшие успели выучить.

– Зайцев! – рявкнул сиплый голос охранника. – На выход.

Зайцев встал. На него старались не смотреть. Словно боялись перехватить взгляд обреченного – заразиться неудачей.

– С вещами, – с издевкой добавил надзиратель.

– Меня переводят? – спросил Зайцев.

– Я тебе не справочное бюро.

Зайцев бросил взгляд на свои нары. С вещами. Взял сложенный пиджак, служивший вместо подушки. Встряхнул, напялил. Вот и все вещи.

– Пошел!

И дверь снова лязгнула, оставив в камере облегчение: сегодня не меня.

Лампы в коридоре горели вполнакала. Зато в кабинетах у следователей электричество не экономили. Следователь, наклонив голову, что-то строчил. Над его головой все так же висел плакат: «Раздавим политических гадов». Плакат не засижен мухами: еще не видел лета. В мощном кулаке румяного богатыря извивалась змея в цилиндре. Сам следователь разительно не походил на своего плакатного коллегу. Зайцев вдруг понял, что, хотя кабинет тот же, что обычно, следователь – другой. Он попытался запомнить новое лицо

привычным методом милицейского протокола: мужчина, на вид между тридцатью и сорока, телосложение плотное, – и забуксовал. Лица следователей были похожи, как бельевые пуговицы: нездоровые, плоские, мучнисто-белые от недостатка дневного света. Воздух в тюрьме на Шпалерной был тяжелый, смрадный от множества дыханий.

Следователь угрюмо протянул Зайцеву сложенную бумажку.

– Распишитесь здесь, – ткнул он пальцем; в голосе его брякнуло нечто, что показалось Зайцеву сожалением.

– Я должен сначала прочесть, – сказал Зайцев с тем упрямством, которое уже стоило ему нескольких сломанных ребер и пальцев.

– Ну читай... те, – презрительно выплюнул следователь и толкнул бумажку Зайцеву через стол. Зайцев понял, что произошло нечто необычное. И очень важное. На «вы» к нему здесь никто до сих пор не обращался. За любым проявлением непокорства следовали ругань, побои или хотя бы незамысловатый психологический террор: следователь истерически выскакивал, хлопнув дверью, и оставлял узника на несколько часов в гнетущей пустоте кабинета, по углам которого немедленно начинал клубиться ужас, постепенно заволакивая сначала комнату, а потом сознание. На эти их штуки Зайцеву было наплевать. Да и от боли, как оказалось, можно отрешиться. Сознание его работало ясно и тогда, и сейчас. «Вы» было знаком внезапного бессилия.

Зайцев произвел это умозаключение в одну секунду. Потому что уже во вторую его глаза читали: «Отпущен под подписку...»

Следом к Зайцеву через стол полетела подписка о неразглашении. «Я должен сначала прочесть», – опять произнес Зайцев, уже наслаждаясь ситуацией. «Что там читать, – буркнул следователь, – форма стандартная». Изображая, что вдумчиво и медленно читает, Зайцев напряженно соображал, что же все это такое.

Расписался.

Вдел в ботинки выданные шнурки, от чужой пары – слишком короткие. Зайцеву стало так противно, будто в руках у него были черви. Он вырвал шнурки из дырочек, бросил рядом.

– Лыжи не потеряй, придурок, – тихо напутствовал его охранник. Но не ударил.

Вывели через какую-то боковую дверь. Над закрытым со всех четырех сторон двором небо еще только раздумывало стать из черного ультрамариновым. На внутренних стенах кое-где горели оранжевые окошки: за ними шла их омерзительная работа. Зайцев передернул плечами от сырого холода, как его тут же втолкнули в автомобиль. Плюхнулся на сиденье. Отдало в плохо заживших ребрах. Рядом втиснулся провожатый в шинели. Кожа сидений поскрипывала под его войлочным задом. В салоне пахло так, как пахнут только новенькие автомобили.

Машина затряслась. Поехали в стороны, раздвинулись внутренние ворота. Тюрьма на Шпалерной выплюнула автомобиль на улицу.

Водитель молча был занят делом: выхватывал столбами света то чугунную тумбу, то кусок ограды, то угол дома, то перспективу моста. «Литейный», – понял Зайцев. Провожатый тарачился перед собой свинцовыми глазками и только на поворотах, заваливаясь, хватался за кожаную петлю, висевшую над окном. Как будто боялся ненароком коснуться Зайцева.

«Интересно, от меня сейчас пахнет тюрьмой?» – подумал Зайцев. Вши у него были.

Мимо пролетели дымчатые фонари моста. На этой стороне город был темнее. Редко-редко попадалось светящееся окно. Город еще спал. Темнели громады заводов: там уже начали утреннюю смену. Под громадным темно-синим небом угадывался простор реки. Автомобиль быстро летел по пустой набережной.

Зайцев предпочел не задавать вопросов. Он догадался, что, несмотря на надутый вид, сопровождавший был мелкой сошкой и сам мало что знал о том, кого и зачем везет. Сам побаивался своего внезапного поручения.

На другом берегу промахнула мимо светлая кудрявая масса. Зайцев узнал Аптекарский остров. Тоска начала расползаться в груди: деревья на Аптекарском были желты. Арестовали его, когда клейкая листва еще только набирала силу. И вот – деревья желтые. Лето будто провалилось в темный карман времени. Будто и не было лета для него, Зайцева.

Гэпэушник вдруг разлепил узкие губы.

– Попрыгунья-стрекоза лето красное пропела, оглянуться не успела, как зима катит в глаза, – произнес он. Зайцев покосился.

Издевается, что ли? Но нет. В голосе и взгляде его спутника плеснула та грусть, которая более образованному человеку приводит на память хотя бы Пушкина или Боратынского. Гэпэушник знал только басни Крылова, образование его окончилось в начальных классах школы, и то вечерней, для взрослых. Баснописец Крылов был единственной поэтической струной, которую ему успели натянуть. Рукой он нырнул под полу шинели, заворочался, зашарил в кармане брюк.

– Хотите? – внезапно протянул он Зайцеву примятую пачку «Норда».

Зайцев не повернулся.

– Бросил.

– Да и туда его. Одышка одна, – тотчас завязал разговор гэпэушник.

– И экономия, поди, на куреве, – охотно вступил и шофер, приветливо поглядывая на пассажиров в маленькое зеркало на ветровом стекле. – У нас один товарищ что придумал: растит самосад.

Он сказал «рОстит».

Зайцеву на миг стало жутко. Там, в тюрьме, он был для этих людей физической субстанцией, у которой не могло быть ничего человеческого: чувств, привычек, желаний, мыслей, прав. Только способность бояться и испытывать боль. А теперь, казалось, чем дальше отдалялся он от тюрьмы, тем полнее совершал обратное превращение. Воплощался в человека. Советского гражданина. С ним снова можно было разговаривать, стрелять сигаретки, прикасаться, делиться практическими советами.

Он не стал отвечать.

Автомобиль плавно свернул и ткнулся носом. Шофер перевел рычаг. Гэпэушник молодцевато выскочил. За окнами была чернильная тьма. Зайцев не сразу сообразил, что теперь он сам – не надзиратель, не конвой – открывает двери. Его обдало зябкой сыростью. Плечи дернулись. Он был в летнем пиджаке, как его арестовали. Октябрьский ветер с ним не церемонился.

Поодаль Зайцев увидел хорошо знакомый ему автомобиль угрозыска. За стеклами белело женское лицо. Доносилось детское квохтание. Зайцев слегка подивился присутствию здесь младенца – если только он не ошибся на слух. На другом берегу шумел и шелестел огромный парк. Это был Елагин остров. От огромного неба, от воды

здесь казалось светлей. На широком горбатеньком мостике стоял милиционер.

Гэпэушник тихо отдал распоряжение шоферу. Тот хмуро глянул на Зайцева через стекло.

– Ничего, Аркадьев, – офицер осклабился, показав с одной стороны металлическую зубную коронку. – Получишь на складе новое.

Шофер всем телом перегнулся назад. Пошарил за сиденьями одной рукой. И, выскочив из автомобиля, без удовольствия протянул Зайцеву сложенное вдвое пальто. Зайцев принял, вздрогнул от холода подкладки. От пальто чуть пахло нафталином. Видно, и его шофер получил на складе не так давно. Пальто было добротное, новое, но ношеное: года два-три назад такие шили себе преуспевающие нэпманы, поверив в свободу частного предпринимательства, объявленную советским правительством. Шофер проводил пальто взглядом, исполненным сожаления. Зайцев подумал, что при НЭПе тот мог быть мясником. Приветливым краснорожим балагуром – с руками в крови. А может, извозчиком.

– Бывайте. Авось еще свидимся. Так и я к тому времени курить брошу, – радушно протянул руку гэпэушник.

Зайцев ее пожал.

Офицер махнул рукой, нырнул в автомобиль. Тот заурчал, выпустил сизый дым, круто развернулся, и его огни показались снова на набережной – понесся обратно.

Зайцев не знал, что ему теперь делать, зачем он здесь. Просто пошел к милиционеру. Ветер на мосту тряхнул полы пальто да бросил: сукно было плотным, тяжелым. Зайцев запахнулся, поднял воротник. Ноги в парусиновых туфлях сразу стали леденеть.

– Товарищ Зайцев, – поднял ладонь к козырьку милиционер. – Сержант Копытов.

– Здорово.

Ощущение бреда не покидало Зайцева. Как будто минувшие три месяца ему приснились.

– Они там все. Прямо идите. – Милиционер махнул рукой в сторону аллеи, словно бравшей разбег с моста и нырявшей в парк. – А потом чуть правее.

Зайцев кивнул.

– А прикурить у тебя не найдется, Копытов?

– Никак нет, – бодро ответил сержант. – К сдаче норм ГТО готовлюсь.

– Спортсмен, значит. Это правильно. Я вот тоже не курю, – добавил Зайцев. Сунул руки в карманы и пошел по дорожке, едва видимой в сумерках.

По обеим сторонам тихо блестели пруды. Мечтательный вид был подпорчен лишь пронзительным сырым холодом, которым дышало от воды.

В мягком воздухе голоса едва слышались, отрывисто доносился лай. Зайцев вскоре заметил их всех и свернул с дорожки. Трава еще стояла, вся усыпанная сырыми листьями. Туфли без шнурков чавкали, едва не спадая при каждом шаге. Ноги сразу промокли насквозь и окоченели.

Самойлов шарил по листьям единственным фонариком. Остальные дожидались, пока утро наберет силу, чтобы начать обыск при дневном свете. На мокрый звук шагов они дружно – и каждый на свой лад – обернулись.

Удивления на их лицах Зайцев не заметил.

– Как жизнь, Зайцев, – кивнул Крачкин. Самойлов, вскинув, показал квадратную ладонь. Что-то буркнул Мартынов. Зайцев увидел,



что и Серафимов тут. Значит, все-таки не исчезли три месяца, будто стертые ластиком.

Никто его ни о чем не спросил. Они держались с ним как с незнакомцем, о котором слыхали, знали в лицо. Но никогда не служили вместе.

– Давай, начальник, принимай дело.

Мартынов посторонился, пропуская Зайцева вперед.

И тот понял: вероятно, ему не удивились только потому, что всякому человеческому ресурсу есть предел, и после того, что предстало их глазам здесь, у двух больших желтеющих деревьев, каждый на некоторое время начисто утратил способность изумляться.

Первый труп – сидевший на коленях – был без головы. Оранжево-желтая рубаха сверкала в темноте.

– Кто их нашел? – спросил Зайцев. Кашлянул. Голос словно не сразу послушался его.

– Сторож ночной, – кивнул в сторону Крачкин; туда, очевидно, увели очумевшего от страха сторожа. – Говорит, около полуночи.

– Говорит, писк сперва услышал. Пошел на звук. Понял, что младенец.

Зайцев вспомнил автомобиль у моста и поскрипывающие звуки.

– Сторож ничего не трогал?

– Да он со страху сам чуть не перекинулся.

– Тебя дожидались.

– С младенцем сейчас санитарка, – вставил Самойлов.

– «Скорую» от моста развернули, – уточнил Крачкин. – Больше живых тут все равно нет.

Тон Крачкина был красноречив. Здесь, в Елагином парке, произошло нечто такое, что решили тщательно скрыть от посторонних глаз и лишних свидетелей. Нечто, ради чего Зайцева спешно очистили от каких бы то ни было обвинений и в считанные часы притащили прямо из тюрьмы ГПУ со Шпалерной.

– Младенца потом осмотришь, – перехватил разговор Самойлов. – Мы его только в тепло перенесли, чтоб не помер. Чуть не синий был уже, бедолага. Сняли прямо отсюда, как был, в рубашонке одной, – Самойлов посветил фонариком, как бы направляя взгляд Зайцева.

Центром жуткой группы была полная блондинка в тонком белом платье до самой земли. Толстая коса была уложена на голове.

Кустарник позади не позволял телу упасть. Казалось, женщина стояла в несколько обмякшей позе. На нее чуть не наваливалась еще одна, в голубом, также затейливо причесанная. Перед ними на коленях стоял труп старухи в темной одежде. Белел воротничок, в полутьме голова, казалось, парила отдельно от тела. Самойлов перевел фонарик.

И только тут Зайцев понял, что ужасный безголовый труп, который первым бросился ему в глаза, не безголовый вовсе, а чернокожий. Ноги его были подогнуты. Не падал он только потому, что обе руки упирались в большое корыто, стоявшее на траве. Будто чернокожий показывал его мертвым женщинам.

Вожатый пса сообщил, что след оборвался у воды. Зайцев потрепал Туза Треф по загривку. Тот махнул хвостом, поймал взгляд, ткнулся носом в ладонь. Только он из всей бригады и признавал их знакомство.

– В лодке ушел, гад, – высказал общую мысль Мартынов.

– Гад? – переспросил Самойлов. – Скорей уж гады. Четыре взрослых трупа перетащить – вряд ли один работал.

– Отпечатков нет. Тут везде трава да листья. Эх, жалко, пес не скажет, скольких он унюхал.

Поняв, что речь о нем, Туз Треф задрал морду вверх и издал короткий вой. Он рвал душу. Только из уважения к службе, которую пес нес со всеми наравне, его не пнули и не прервали.

– Вот пакость, – только и сказал Серафимов. – Будто нарочно.

– Животное тоже чувства имеет, – с некоторой обидой возразил вожатый собаки. И повел подопечного в сторону аллеи, к мосту.

– Не факт, что он их таскал, – задумчиво сказал Мартынов. – Может, пришли люди культурно отдохнуть. Выпить-закусить. И тут он их всех укокошил. А пальто, допустим, котиковые, или просто добротные, с баб снял. Да и у мужика куртка небось заграничная. Их в данный момент, поди, на Лиговке перешивают, чтобы завтра через комиссионку какую-нибудь толкнуть.

Крачкин отошел от них.

– Складно, – согласился Самойлов. – А выложил он их тогда зачем? Ведь не просто так, а старался, видать, гнида. Расставил. Расположил. Он это обдуманно устроил.

– А чтоб с толку сбить. Попугать, – тихо предположил Серафимов.

– Что, Серафимов, ссыкотно? – хохотнул Самойлов.

Серафимов серьезно глянул.

– Мертвых-то чего бояться? – просто признался он. – Но забирает, да. Не по себе как-то.

– Младенца пожалел, – заметил Мартынов, упрямо державшийся версии, что преступник был один.

– Пожалели, ага. Голого ночью осенней бросили. Все равно что пришибли бы. Падлы, – насупился Самойлов.

Зайцев бросил на него быстрый взгляд:

– А где младенец был? В корыте?

– Нет, у старухи на коленях.

Зайцев отошел и сквозь полумрак снова оглядел группу. Обычные уголовники младенца или пристукнули бы, как котенка или щенка, или из сентиментальности подбросили бы к больнице или детдому. Нет, тут что-то...

– Не заметили малявку, может?

– Как же. Такого крикуна.

Крачкин стоял поодаль. Зайцеву он показался посетителем в музее, сдержанно рассматривающим скульптуру: одна нога выставлена вперед, руки заложены за спину. Вот-вот снимет очки, поднесет их поближе, чтобы прочесть, кто автор работы.

Крачкин переменял позу, и впечатление исчезло.

Они вдвоем стояли на отшибе от остальных.

«Крачкин, какого черта?» – хотел спросить Зайцев. Но Крачкин, видимо, его понимал – не дал заговорить.

– Вот из-за него сыр-бор, – кивнул на труп чернокожего Крачкин. – Раз черный, значит, сторож подумал, иностранец. Оказалось, не просто иностранец. Американский коммунист Оливер Ньютон. Документы тут же валялись. Из-за него сразу Коптельцева подняли, ГПУ прискакало... – Крачкин оборвал на полуслове.

Захрустели по листьям шаги. Мартынов подошел. Сообщил, что шесть человек ушли в обход берега. Остров соединялся с городом единственным мостом, на котором стоял Копытов.

Договаривать мысль до конца Крачкину и не требовалось, все его поняли: ГПУ прискакало – и приволокло Зайцева.

Зайцев не дал себе времени испытать горечь.

– Мартынов, – твердо сказал он, – оповести речников. Пусть ближайшие набережные прочешут. Убийца лодчонку свою скинул, как только на другой берег перебрался. По карте пусть установят, где у речек самое узкое место. Там пусть и начинают искать. Если трупы нашли этой ночью, то раньше темноты они здесь появиться не могли. А раз так, времени у него было в обрез. И ошибок он наделал предостаточно.

Зайцев посторонился, пропуская Крачкина с треногой. Бледный свет вспышки окатил группу, осветив, как молния в грозу, все детали. Крачкин перенес треногу и начал снимать убитых по отдельности, не нарушая их странных поз.

– А если он не один? – настойчиво держался своей версии Мартынов.

– Если не один, то выбор у них все равно невелик. В такую погоду реку пересекать – это риск. И выбрали они, скорее всего, наименьший. Судя по этому, – он мотнул головой в сторону мертвых, – тут не вдруг действовали.

Зайцев подхватил с земли ветку. Подцепил ею пеленку, висевшую на руках убитой старухи. Серафимов дернулся от нее, как будто его по лицу мазнуло привидение. «Он прав, – подумал Зайцев, – тошнотворное в этом что-то».

– Прими. И иди осмотри младенца. Все с него сними и упакуй как улики. И дуйте срочно в больницу. Спасибо, если воспаление не схватил. Еще одной жертвы быть не должно. Мартынов, вызови санитарную машину. Да смотрите в оба, чтобы не пропустить чего.

Мартынов не спеша пошел в сторону моста.

Зайцев присел на корточки.

– Посвети сюда, Самойлов.

Он осмотрел мертвецов. Не видно ни ран, ни ссадин.

– Медики скажут точнее.

На востоке небо порозовело. В бледном свете трупы уже не выглядели жутко. Они были жалки. Лицо чернокожего казалось сероватым. Самойлов погасил ненужный фонарь.

Зайцев весь обратился в зрение. Еще раз цепко охватил группу целиком. Начал отрывисто диктовать.

– Серафимов, записывай. Осмотр места происшествия производится при дневном свете.

Рубашки женщин, воротничок старухи словно налились белизной от первых же лучей.

Зайцев внезапно запнулся.

Серафимов остановил карандаш.

Зайцев сообразил, что нет на нем шарфа. А пальто чужое, карманы пусты.

– Серафимов, платок или шарф есть?

Серафимов протянул мятый, но чистый платок.

Зайцев встряхнул его, сел на корточки. И осторожно, через платок, выбрал из травы фарфоровую фигурку пастушка.

# Глава 4



Замки в их квартире с тех пор не поменяли. Зайцев отпер дверь старым ключом. Коридор квартиры изумленно дохнул на него знакомыми запахами. Высунулся из своей комнаты один сосед, потом другой. Зайцев чувствовал их немое изумление, щекотавшее спину.

Зайцев обернулся – дверь быстро захлопнулась, как раковина моллюска. Зайцев едва успел просунуть ногу в щель.

– Катерина Егоровна, добрый вечер, – спокойно выговорил он, растворяя дверь рукой.

– А... Это... Вы тут, – давилась словами соседка. – А мы думали... Говорили... Врала небось... Вы уезжали небось.

На конце фразы повис фальшивый знак вопроса.

– Меня арестовали. Но во всем разобрались и выпустили, Катерина Егоровна, – громко и четко сказал Зайцев. – Невиновных никто не сажает. Мы же в Советском Союзе, а не Америке какой-нибудь.

Соседка замигала. Глаза бегали, как серые мышки.

– И я говорю! – нашлась, наконец, она. – Я сразу всем сказала: там разберутся, виноват или нет.

– Так и вышло, – широко улыбнулся Зайцев, надеясь, что нечистый запах тюрьмы выбило ветром, пока они шарили по Елагину острову, и что щетина его, воспаленные глаза и впалые щеки не так бросаются в глаза.

– Верно! Верно! – радостно закивала соседка. «Как-то уж слишком радостно, – подумал Зайцев. – Ничего, привыкнут».

– Я, между прочим, со службы только что, – успокоил ее Зайцев. – Во всем разобрались, видите, ошибку исправили. Даже карточки сразу выдали.

– А в вашей комнате жилец жил, – быстро наябедничала Катерина Егоровна, убедившись, на чью сторону снова переметнулась власть.

– А теперь не живет, раз его по ошибке вселили. Я снова в своей комнате прописан. Ну, до свидания, Катерина Егоровна.

– Спокойной ночи! Спокойной ночи! – залепетала соседка, кланяясь и пятясь.

Зайцев знал, что их слышала вся квартира. А завтра будет знать весь дом. Тем лучше.

Сам он, впрочем, отнюдь не чувствовал себя так, как говорил. Вещи в комнате казались ему незнакомыми.

У белой высокой печи лежали дрова, на вязанке хозяйственно пристроен коробок спичек. Зайцев открыл заслонку. Соорудил шалашик из щепы. Пламя быстро занялось. Зайцев остановился у кровати, не решаясь на нее сесть. Полосатый матрас казался ему голым и страшным. Хотя в сравнении с тюремной койкой, конечно, дышал уютом.

Зайцев подошел к окну. Несмотря на осеннюю темноту, угадывался простор над Мойкой.

Вчера он заснул в камере на Шпалерной; невозможно было и вообразить тогда, что в следующий раз ночевать он будет дома. Дома? Его комната была почти такой же, какой он оставил ее, уходя на работу июньским утром. Тогда он никак не мог представить себе, что ночевать придется уже на Шпалерной.

Или, может, его так же внезапно заберут завтра обратно?

В прежнее время, до ареста, он свихнулся бы от этого «завтра», от неизвестности и нетерпения. Но тюрьма научила его жить одним днем и не загадывать вперед.

Мебель даже стояла так, как он ее оставил. Только на косяке двери остались следы сургуча.

«Надо бы постелить», – подумал Зайцев без особой охоты. Выдвинул ящик комода. Другой. Третий. Пусто.

Он напряг мышцы и отодвинул комод от стены.

В дверь кто-то легонько стукнул.

– Паша, не заперто.

Паша вошла боком. В руках ее была стопка постельного белья.

– Ты чего в темноте сидишь? – удивилась она. Щелкнула выключателем. Экономичная лампа-уголек пролила грязновато-тусклый свет. Паша хлопнула стопку на матрас.

– Это ни к чему.

– Сам завтра, что ли, по магазинам побежишь? В очередях толкаться? Да ты завтра ни свет ни заря на службу ускочишь, что я – не знаю?.. Вот, значит, как. От тюрьмы, как говорится, да от сумы...

Паша взялась за уголки.



– Выпустили тя, главное.

– Невиноватых не сажают, – устало повторил Зайцев. Он чувствовал, что глаза закрываются сами, но слишком многое случилось за день; образы и мысли плясали в голове, и было ясно, что сразу уснуть не получится. Ему казалось, что здесь, в тепле комнаты, от него исходит особенно густой запах тюрьмы.

– Ясень пень, – охотно согласилась Паша. – А тут хорек в голубой фуражке на жилплощадь твою было вселился, – быстро доложила она, взмахивая надувшейся простыней, как парусом. На Зайцева дунуло запахом утюга.

«Это бывший жилец дрова, стало быть, запас», – подумал Зайцев. Ему захотелось, чтобы Паша поскорее ушла.

– Мы сразу все поняли, когда его сегодня засветло того. Под зад.

– Арестовали? – поразился Зайцев.

– А хер его знает. Ты отойди, не мелькай. В кресло вон сядь. А то под ногами болтаешься.

Зайцев отошел. Кресло под ним испустило свой обычный вздох. Паша подоткнула края простыни под матрас.

– Отдашь с полочки. Ты не думай, тут тебе не санатория, – хмуро предупредила Паша и оглянулась. – А это чегой-то узел? Твой?

– Не знаю. Хорька, может. Не трогай, Паша. Может, явится еще за барахлом своим.

– Чего-то он не явился, когда твои шмотки прихватил.

Паша наклонилась, выпятив гигантский круп, обтянутый юбкой, и быстро развязала узел. Подушки и одеяло. Паша издала победный вопль.

– Ты смотри, – дала она подушке тумака, – это тебе не волос пополам с соломой. Тут и пера, может, нет. Пух один.

Она принялась засовывать добычу в желтоватую, много раз стиранную и глаженную наволочку.

Зайцев почувствовал, как кресло под ним будто становится все глубже и глубже. А голос Паши пропадает где-то наверху, а сам он валится на дно темного колодца, туда, куда уже ушел сегодняшний день.

Мелькали лишь лоскуты от него. Пузатенький автомобиль с красным крестом на дверце. Трупы, вытянутые или скрюченные на носилках, как их схватило трупное окоченение: в позах, приданных

убийцей. Холодные капли, падавшие с кустов, когда он отгибал ветви в поисках улики. Широкие клавиши лестницы в здании угрозыска. ... Шикарный, сверкающий лаковыми крыльями «Паккард». Ботинки.

Его трясли за плечо. Зайцев открыл глаза. И вместо стены камеры увидел Пашу. Сегодняшний день опять вдвинулся на место, как кирпич в стену.

– Ишь, а ботиночки-то у тебя какие. С фасоном, – заметила Паша. – Жоних прямо. В тюрьме, что ли, такие выдают?

Зайцев вытаращился на свои ботинки. На носках лежал матовый блик. Новенькие. Из добротной малиновой кожи. На толстой рифленой подошве. Несомненно, заграничные.

– Ботиночки-то? – переспросил он.

С острова они все поехали на Гороховую. В кабинете началось совещание. То, что один из убитых оказался американским коммунистом, да еще чернокожим, сильно осложняло дело.

– Мировая буржуазия только и ждет, чтобы поднять вой. Мол, в Советском Союзе чернокожих убивают, как в Америке какой-нибудь, – сказал Крачкин в сторону Нефедова. Тот сидел как бы на отшибе: со всеми вместе, но и отдельно.

На стекла наваливался синий осенний вечер, изредка мимо окон проносились желтые мокрые листья. Зайцев под столом старался шевелить ступнями, окоченевшими в насквозь промокших летних парусиновых туфлях. От рыскания по Елагину парку они стали еще грязнее.

Зайцев всматривался в лица. Никто из сидевших в кабинете – ни Крачкин, ни Мартынов, ни Самойлов, ни Серафимов – не выразил ни малейшего удивления, когда он появился на острове. Никаких вопросов не задали и потом. Может, поэтому и самому Зайцеву их лица сейчас казались слегка чужими. Он списал это на те три месяца, когда видел лишь сокамерников, конвоиров, следователей.

– С временем преступления все как будто бы прозрачно, – произнес он.

Дым от четырех папирос полз клубами. Зайцев с трудом привыкал к одновременному присутствию Серафимова и Нефедова: ему все казалось, что они должны были взаимно свестись к нулю, как плюс и минус в равных величинах. Но оба сидели здесь: Серафимов, все такой же румяный, и Нефедов, все такой же бесцветный.

После длинного дня работы бригада набрасывала первую, приблизительную картину преступления.

– Трупное окоченение не сошло, эксперты говорят. Значит, убили их меньше суток назад.

– А что сторож показал? Когда последний обход был?

– А что он мог показать? – махнул рукой Мартынов. – Один сторож на весь огромный парк. Считай, что нет сторожа. Досветла трупы могли пролежать, никто бы не увидел.

Несмотря на то что времени у убийцы или убийц было немного, Зайцев ошибся: следов по себе они не оставили.

Документы убитых женщин исчезли вместе с верхней одеждой, туфлями, сумочками.

– А документ американца бросили, – сказал Серафимов.

– Ага, с черной рожей и иностранным именем. Больно заметный документик. Толку ноль. Вот и бросили.

Три жертвы по-прежнему были неопознанными.

– Пока что этот младенец – наша единственная зацепка, – сказал Зайцев.

– Так он тебе расскажет, – саркастически поддержал его Самойлов. – Годика через три-четыре.

– Он не свидетель. Он улика, – не смутился Зайцев.

– Они все – улика, – подтвердил опытный Крачкин.

– Сомневаюсь, что шлюх родственники кинутся искать, – возразил Зайцев. – А мать младенца, поди, уже город весь обежала.

– Если только одна из шлюх не мамаша его, – снова подал голос с подлокотника Самойлов.

– Серафимов, задай этот вопрос медэкспертам.

Серафимов кивнул.

В дверях нарисовался дежурный.

– Чего? – быстро спросил Зайцев, недовольный тем, что перебили. Внутри кольнула тревога: дежурные звонили, шататься по лестницам им было некогда.

– Машина внизу. Ждет, – милиционер явно знал, где три последних месяца находился следователь Зайцев. Ему было неловко. На лицах остальных пропало всякое выражение.

– Не понял, – сумел спокойно сказать Зайцев.

– Товарищи Зайцев и Крачкин, – выговорил дежурный. Все уставились на Зайцева. Крачкин заметно побледнел. Но плавно поднялся.

– Раз ждут, так поспешим. Товарищ Зайцев, – ровно выговорил он, отделяя каждое слово безупречным петербургским произношением.

Вышли из кабинета. Но коридор был пуст. Видимо, обладатели голубых фуражек не трудились подыматься по лестницам, уверенные, что жертвы никуда не денутся из здания угрозыска.

Крачкин как-то замедленно пошел вниз. Губы у него слегка посинели. У Зайцева сердце бешено колотилось. Позади шелестел ничего не подозревающий дежурный. Или подозревающий?

Вышли.

В черных лакированных крыльях автомобиля Зайцев увидел два искаженных отражения: свое и Крачкина. Бледной вытянутой лепешкой подплыло отражение дежурного.

– «Паккард», седьмая серия, – с уважением сказал милиционер и нежно добавил: – Американское производство. Игрушечка. Вот построим коммунизм, товарищи, – мечтательно пустился он, – так любой трудящийся этот самый «Паккард» в магазине купить сможет. А наши советские авто не хуже будут!

Дородный шофер в крагах проворно выскочил, распахнул дверцу. Оттуда пахнуло дорогой скрипучей кожей. Лицо шофер сделал вышколенно незаинтересованное.

– Долго вас ждать? – раздался изнутри недовольный голос Коптельцева.

Зайцев и Крачкин вопросительно глянули друг на друга. Уставились на «игрушечку», которая и не снилась простому ленинградскому трудящемуся. В ГПУ таких авто тоже не водилось.

«Паккарды» использовались в правительственном гараже.

На улицах темнота. Кое-где фонари, но именно что кое-где. Мимо дребезжали трамваи, с подножек свисали черные гроздья – не все поместились внутри, но всем хотелось ехать. В освещенную пасть кинотеатра валила публика.

Зайцев иронически подумал, что для него сегодня день знакомства с автомобильными возможностями ленинградских властей: начался в гэпэушном «Форде», а заканчивается – в ленсоветовском «Паккарде».

Коптельцев молчал. Пухлые щеки подрагивали, когда автомобиль потряхивало на мостовой. Крачкин сидел, хмуро отвернувшись к окну. На их красавец-автомобиль глазели. Вырвавшись на Суворовский проспект, шофер несколько раз нажал на клаксон – лихости ради. «Паккард» издал олений крик. Крачкин задвинулся поглубже и подальше от окна. Зайцев невольно сделал то же.

«Паккард» притормозил перед воротами Смольного. Шофер в окно подал пропуск.

В былые времена здесь помещался закрытый интернат – Институт благородных девиц. С тех пор здание стало куда более закрытым. У офицера на проходной холодной сталью блестел пистолет. Часовой был с винтовкой. Во дворце заседало городское правительство.

«Паккард», качнув нарядным рылом, перекатился за ворота и лихо по дуге вырулил к главному подъезду. Черный памятник Ленину, казалось, вышел встречать гостей. Плечи и голова мокро блестели. Здание и памятник подсвечивали прожекторы.

Опять часовой с винтовкой. Зайцев догадывался о том, что за мысль промелькнула на лице Крачкина. Тот ведь застал старые времена, мог сравнить с нынешними. Мог сам увидеть: ленинградских правителей охраняли от благодарного народа куда строже, чем в императорской столице – девичью честь барышень-институток от их собственного романтического воображения.

Крачкин выпал направо. Налево Коптельцев ловко выкатил из автомобиля свое пухлое тело.

Зайцев выскочил следом, захлопнул дверцу. Он хотел спросить Крачкина – тот уже стоял на сырых ступенях, разглядывал памятник

Ленину, бросавший на здание гигантскую тень. Но едва Зайцев двинулся к нему, тотчас отошел.

И это снова неприятно удивило Зайцева. Он сам не знал почему. Охота разговаривать пропала.

Они трое теперь словно играли, кто кого перемолчит.

В тепле Смольного застывшие ступни Зайцева сразу отогрелись и зверски заболели. При каждом шаге сырые туфли чавкали. По малиновым коврам, мимо множества дверей, портретов вождей, лозунгов и часовых раскормленный дежурный провел их на нужный этаж.

Все это было настолько нереально – особенно при мысли, что проснулся он сегодня на тюремных нарах, а день провел на мечтательном Елагином острове, осматривая трупы, – что Зайцев ничему не удивлялся.

Дежурный кивнул часовому. Растворил двери в приемную. Прошел мимо замороженного секретаря. И впустил Коптельцева, Зайцева и Крачкина в кабинет. Коптельцев шел впереди – вожак их небольшой делегации.

Зайцев смотрел на хозяина кабинета во все глаза. Лицо его было хорошо знакомо по портретам, которые покачивались над колоннами праздничных демонстраций, по газетам. Из-за стола навстречу им поднимался товарищ Киров.

– Привет, товарищ Коптельцев.

На широком крестьянском лице городского главы широко распахнулась улыбка. В своем убедительно продуманном задрипанном туалете Киров походил на потомственного пролетария с Путиловского завода, обитателя коммуналки или рабочей общаги. Если бы не наряды его супруги, известные всему городу, этому маскараду можно было бы поверить.

– Товарищ Крачкин, наш опытный следователь, – представил Коптельцев. – А это товарищ Зайцев, следствие поручено ему. Как нашему сильнейшему кадру. С него весь спрос, – добавил Коптельцев.

Киров тряхнул им по очереди руки.

– Не подведите, товарищ Зайцев.

– Не подведу, – пообещал Зайцев, не очень понимая, о чем они сейчас говорят.

– Молодец. Комсомолец?

– Да, – ответил за него Коптельцев.

Зайцев быстро глянул вокруг. В кабинете кроме них никого не было. Киров слыл в Ленинграде большим демократом. Сам – в своем сереньком уборе, пальтишке и кепчонке – посещал заводы, сам проверял магазины, столовые, больницы. Эдакий советский Гарун аль-Рашид. Их визит был явно продуман в том же духе.

Киров выскочил из-за стола.

– Идем со мной, – махнул он рукой. И прокатился по кабинету своей быстрой пробежкой. Едва не сбил даму в узкой юбке и с подносом в руке. На подносе дымился чай. Ноздри уловили ванильный запах сухарей. У Зайцева свело от голода желудок. Коптельцев держался привычно. На лице у Крачкина была разлита наивная стариковская радость. Зайцев знал его слишком хорошо и не обманывался: Крачкин оставил умиление снаружи, как вывеску, а сам сейчас словно охотник в засаде обострил чутье.

Краем глаза Зайцев по привычке быстро ощупал стол городского главы. Заметил лист со списком дел. Он был плотно отстукан на машинке. Весь в чернильных пометках «позвонить», «запросить», «заслушать», «ответить». А буквы крупные. Видно, очки прописали, но носить их Киров стесняется: советский вождь должен обладать соколиным зрением.

Киров вникал в городские дела с энергичной и страстной мелочностью, которая лет сто назад прославила императора Павла Первого. Вот только в этом городе Павла шлепнули.

А Кирова в Ленинграде любили.

– Вы, наверное, задаетесь вопросом, зачем я попросил товарища Коптельцева вас сюда пригласить?

«Еще как», – подумал Зайцев.

Широким жестом фокусника он сдернул с низкого столика бархатистое покрывало. И ликуя, объявил:

– Вот, товарищи! Глянь.

На столе раскинулся «городок в табакерке».

– На меня пала честь представить вам парк культуры и отдыха трудящихся! – не совсем грамотно возвестил Киров.

Перед обалдевшими Зайцевым и Крачкиным был Елагин остров.



Крохотные деревья и кустики были похожи на капусту брокколи. Бархатные зеленые лужайки так и тянуло погладить рукой. Тортом стоял старинный дачный дворец, когда-то не очень любимый императорской фамилией, теперь – музей старинного быта. Настоящим зеркалом блестели пруды. На многих виднелись крошечные лодочки. В них сидели искусно сделанные трудящиеся. На теннисном корте лилипуты поднимали ракетки. Виднелась раковина летнего театра. На дорожках торчали пары. Негнущиеся мамы в цветных платьях были прилажены к коляскам. Зайцев разглядел куколку младенца. Над всем высилось колесо обозрения.

Зайцеву показалось, что еще миг – и он увидит сегодняшних убитых, искусно выделанных из воска и прилаженных тут же.

Киров щелкнул рычагом – и колесо, качнув люльками, стало медленно вращаться.

Крачкин снял очки и по привычке поднес их к какой-то заинтересовавшей его детали.

– Однако, – не удержался он. Но быстро оправился и выдохнул: – Потрясающе!

Киров опять расплылся в своей знаменитой улыбке.

– Там, где гуляли паразиты трудового народа, разные там фрейлины и буржуи, будет отдыхать рабочий класс! Простые горожане! Советские комсомольцы, пионеры и школьники!

А потом смахнул улыбку, как ширму.

– Тебе понятно, Зайцев, какое внимание общественности приковано к парку? – он при этом смотрел на Крачкина.

– А ты что скажешь, Крачкин? – повернулся он к Зайцеву.

Ни один из них не взял на себя смелость говорить от имени коллеги. А потому оба изобразили потрясенное молчание.

– Так вот, товарищи, антисоветская выходка гнусного врага не должна испортить народу праздник, – воодушевленно вскинул подбородок Киров, глядя несколько поверх их голов. – Как я и сказал товарищу Коптельцеву ранее. Враг и вредитель устроил провокацию. И он должен быть наказан по всей строгости закона. А прежде – отыскан нашей милицией.

Ему, по-видимому, все равно было, слушают его три тысячи членов партии или два мильтона.

– В самый! Короткий! Срок! – рубанул он ладонью, как бы давая понять, что иначе рубить будет не слова, а головы. – Я так товарищу Коптельцеву сразу и сказал.

– И я сказал: ставим на следствие наш сильнейший кадр. Товарища Зайцева.

«Картина ясная, любовь прекрасная», – подумал Зайцев. Вот, значит, каким макаром его выдернули со Шпалерной. Арестованный ГПУ – это почти что мертвый. А с мертвых какой спрос? Раскроет убийство на Елагином – хорошо. Нет – отправят дорогой длиною. Зато в угрозыске никто больше не пострадает. Коптельцев молодец. Умно, дальновидно.

– Что молчишь? – незаметно толкнул его Коптельцев.

– Польщен честью и думаю, как оправдать доверие партии.

– Молодец. Партия поможет всеми ресурсами. Я Коптельцеву так и сказал: служба службой, а тут надо не по разрядке. Сказал я ему: я сам хочу показать товарищу следователю, что для нас уже значит бывший Елагин парк. Чтобы он проникся задачей. – Киров приложил ладони к груди. А потом постучал по грудной клетке кулаком: – Чтобы горячим сердцем на нее ответил. Вот ты, Крачкин, – внезапно переменял он тему.

Крачкин едва приметно вздрогнул.

– Я же вижу твои штиблеты.

Крачкин ошалело уставился на носы собственных сапог. А Зайцев понял, что товарищ Киров опять обращается к нему.

– Осень на дворе. А ты в летнем ходишь. Как же ты за преступниками бегать-то будешь в летней обуви?

Киров покачал головой. Подбежал к столу, нажал какую-то кнопку. Захрустел голос секретаря.

В один миг на стол товарища Кирова лег ордер на новые ботинки. А затем оттуда торжественно переплыл в карман Зайцева.

– Мы со своей стороны ресурсов не пожалеем, – сказал Киров таким тоном, что и Зайцев, и Крачкин сразу вспомнили о славе, которая дымящимся, кровью пахнувшим шлейфом тянулась за Кировым из Закавказья, откуда его перевели в Ленинград. Это он

только казался шутом гороховым. Эдаким домоуправом всего Ленинграда.

– Будут тебе, Зайцев, и сотрудники дополнительные. Будет и техника выделена. Чтобы работа велась днем и ночью, – пробурчал Коптельцев, глядя на Кирова.

Тот закончил:

– А только виновные чтобы были найдены! В кратчайший срок.

Говорить не требовалось, что будет в противном случае. Противный случай не подразумевался.

Коптельцев и Крачкин остались с Кировым. А Зайцева долго вели коридорами, лестницами. Отперли замок. По запаху картона, сукна, меха и нафталина Зайцев понял, что это склад. Стеллажи уходили в глубину, покуда хватало глаз. Они были плотно заставлены коробками, плотно заложены штуками, плотно висела одежда.

Какой-то военный, но без петлиц, присев к его ноге, ловко подпер ее рожком. И Зайцев с изумлением увидел, что теперь обе его ступни обуты в новенькие, явно заграничные ботинки.

Зайцев несколько ошалело смотрел на отражение собственных ступней в напольном зеркале. Притопнул. Сделал несколько шагов. Ноги утопали в мягком ворсе. Ковер был богатый, явно экспроприированный из какого-нибудь буржуйского особняка лет пятнадцать назад.

– Как сказала Наташа Ростова, башмачок не жал, а веселил ножку, – иронически проговорил Зайцев. Военный не ответил.

Замызганные парусиновые туфли он аккуратно упаковал в коричневую бумагу, ловко, крутя сверток пальцами, перевязал бечевкой. И подал Зайцеву.

А потом отвел к машине, где уже ждали Коптельцев и Крачкин. Зайцеву показалось, что пока его не было, они о чем-то договорились. «А какая разница», – сказал он себе. Запрыгнул, сел рядом.

И опять молчание всю дорогу.

«Паккард», толкая туда-сюда «дворники» по мокрому стеклу, высадил их на Гороховой там, где забрал, у подъезда угрозыска. А Коптельцева повез дальше.

В лужах отражались редкие фонари. Жирно блестел асфальт. В серых мокрых клочьях виднелось черное небо. Промозглый ветер тут же пробрал насквозь.

Крачкин, не оборачиваясь, словно убегая от возможных вопросов Зайцева, ринулся вверх по лестнице.

По темным улицам Зайцев шел к себе на Мойку. Он поигрывал ключом в кармане и чувствовал, как постепенно тяжелеет, намокая, пальто. Бросалось в глаза, что на домах почти нет вывесок. Еще год назад они вопили и зазывали с каждого угла, теснились. А потом вдруг разом облезли с фасадов. Без них город казался умолкшим. Беднее, строже. Темнее. Дождь заливал за шиворот, капал с козырька кепки.

Превратился в холодные струи душа.

В общей ванной было темно. Горячей воды не оказалось. Сквозь маленькое окошко под потолком видна была голова уличного фонаря. Свет Зайцев зажигать не стал.

Вонючая одежда, которую он не менял последние три месяца, валялась на полу. Зайцев стоял во весь рост в ванной. До революции она была богатой и роскошной. Сейчас – страшной: с облупившейся там и тут эмалью, как в парше. Зайцев стоял под душем, тело чуть не вопило от ледяных игл, но он чувствовал блаженство. Вода смывала тюрьму, допросы, камеру, а заодно и ночной Смольный, и товарища Кирова с его электрическим шапито, и в темноте ванной они казались уже просто сном.

По мертво спящему коридору, мимо храпа, сопения, клетота соседей Зайцев вернулся в свою комнату. Белела застеленная Пашей постель. Пальто осело на стуле тяжелой грудой и испускало нестерпимый запах псины и нафталина.

Зайцев дернул оконные шпингалеты, толкнул раму. После ледяного душа тело горело. Дождь барабанил по карнизу. Хлестала вода в водосточных трубах. Даже черная Мойка будто клочкотала. Тучи прорвало, и на миг, как око, показалась луна. Глянула и скрылась.

Зайцев размахнулся и ахнул пальто из окна. Оно полетело вниз, взмахнув рукавами, как птица, которая никогда и не умела летать. А потом тяжело шлепнулось на тротуар.

## Глава 5



Фотографии были готовы.

Зайцев отметил, что ретушер постарался. Открытые глаза выглядели живыми, даже осмысленными. Если только не знать, что снимки сделаны, когда эти люди были уже мертвы. Крачкин настоял, чтобы трупы приподняли вертикально: мол, как в жизни. Но все-таки в лицах видна была неживая неправильность черт. Запавшие губы, провалившиеся щеки, заострившиеся носы. Они напоминали английские фотографии, оставшиеся от времен королевы Виктории и тогдашнего обычая сниматься на память с уже покойными родственниками.

«А впрочем, если не знать, то, может, ничего странного и не покажется», – подумал Зайцев.

Три женщины: две молодые, лет двадцати пяти, и одна старуха. Имена еще предстоит выяснить. Что их связывало с американским коммунистом Оливером Ньютоном? Зайцев опасался, что ответ окажется простым: две шалавы и старуха-бандерша. Он снял телефонную трубку.

– Мартынов? Спустишь с фотками в картотеку. Пробей там, не числятся ли все три девушки у нас. Угу. За нетрудовой образ жизни. И старуха. Притон тоже кто-то содержать должен.

Крачкин потянулся с дивана, взял со стола снимки, посмотрел, склонив голову, словно оценивая чужое вмешательство в свою работу:

– Ничего так. Только блондинке глаза можно карие было сделать. Блондинка явно пергидрольная.

И сел обратно, заложил ногу на ногу. Там же, на подлокотнике помещался Самойлов. Серафимов, как обычно, выбрал подоконник.

Нефедов уехал опрашивать служащих Елагина острова. Работы было столько, что уже не до манипуляций было; пришлось вовлечь и его.

– Из гаража звонили, – просунулся в дверь дежурный. – Карета подана.

Товарищ Киров не обманул. Бригаде Зайцева выделили два «Форда».

– Вот это дело, – довольно сказал Самойлов. – Не то что ноги топтать.

К его неудовольствию, на машинах тотчас отправили Серафимова и Нефедова.

– А чего этого, Нефедова, на фотографию не перебросили? – поинтересовался Зайцев. Он помнил, что Крачкин всегда жаловался на эту дополнительную нагрузку, отнимавшую у него немало ночных часов.

Крачкин раздвинул губы в улыбке:

– Я разве жалуясь? Не жалуясь. На пенсии всегда приработок найду: в фотоателье устроюсь. Буду снимать дембелей, невест и младенцев.

– А, – коротко ответил Зайцев. И передал ему снимки.

– Печатаю? – переспросил Крачкин, вставая.

– Да, их надо разослать по всем отделениям и раздать участковым. Пусть обойдут население. Может, кто из соседей объявится.

Три жертвы по-прежнему оставались неизвестными.

В дверь заглянул эксперт Виролайнен и взмахнул желтой картонной папкой.

– Вскрытие.

Зайцев быстро пробежал глазами заключение патологоанатома. Две детали привлекли его внимание.

– В крови всех четверых – большая доза морфина, – вслух произнес он. – Именно она стала причиной смерти. Самойлов, проверь, обращались ли аптеки или заводские медпункты с заявлениями о пропаже наркотика.

Самойлов молча сделал несколько значков в блокноте.

Зайцев поднял на него взгляд. Самойлов сидел молча. Обычно у него всегда было что сказать. Морфин, например. Если верить статистике, больше всех злоупотребляли морфином те, у кого к нему был доступ: медики. Затем шли проститутки – главные продавщицы наркотика.

Зайцев почувствовал себя как циркач, который внезапно не обнаружил на трапеции партнера.

Он не подал виду и снова углубился в заключение.

Татуировок на трупах не оказалось. Морфий как будто поддерживал версию о притоне: баловались и не рассчитали.

Отсутствие татуировок ее опровергало: девицы, может, еще не успели обзавестись рисуночками, но на бандерше наколки точно были бы.

– Самойлов, а у тебя что? Нарыл мамаш?

– В приемной сидят.

– Много? – Зайцев поднялся из-за стола.

– Как сказать, – загадочно ответил Самойлов.

Сколько в Ленинграде пропадает младенцев за год, статистика не ведала. Врач в клинике Отта сказала, что младенцу месяца три. Самойлов собрал все заявления за последние три месяца.

– Зови же.

Из приемной робко проскользнула и тут же уставилась в пол женщина рабочего вида. За ней быстро просочился мужичок в кепке. По виду – муж и жена.

Но вид обманул.

– Я первый пришел! – напористо уточнил мужик. Женщина пугливо подалась в сторону.

– Ты тут порядки свои не учреждай, – строго приказал ему Зайцев. – Здесь очередь я устанавливаю.

Мужичок огляделся, снял кепку, пригладил ладонью седоватые жесткие волосы. Он внешне напоминал пролетарского писателя Максима Горького. Зайцев испытал мучительное желание отклеить с его лица большущие табачные усы. Женщина подняла на него утомленные глаза. Вид у нее был как у большинства ленинградских пролетарок – замученный. Зайцев дружелюбно посмотрел на нее:

– Вы, товарищ, по поводу младенца?

– Да, – ответила женщина.

– Соседки, – одновременно ответил мужчина. И тут же заговорил, опасаясь, что его перебьют: – Младенец-то не мой. У меня что. Соседка. В квартире нашей. Наташка. Наталья Петровна Шапкина. Комсомолка, – со значением подчеркнул он. – То вот она все с пузом ходила. А пузо свое все прятала. Будто соседям не видно! А то вдруг – нет пуза. И младенца нет! Куда дела? – вопрос для нашей советской милиции.

– Разберемся, товарищ, – хмуро сказал Самойлов.

– Так я ж не ради себя, – ткнул себя в грудь максим горький. – Наташку эту гнать с комнаты надо. Проститутка она, а не комсомолка. Только комнату занимает. Жилтоварищество позорит. Бросает тень.



Гнать ее надо. И с работы, и с комсомола, и с жилплощади. А комнату ейную приличным людям отдать.

Максим горький явно имел в виду себя. Квартирный вопрос очень испортил нравы ленинградцев.

Зайцев не осуждал усача. Поди, у самого дети, и жена, и родители еще наверняка – все втиснуты в одну комнатку и спят по очереди.

– А вы? – обратился он к женщине.

– Да все в заявлении изложено, – устало отозвалась она.

– Марья Герасимова, – ответил за нее Самойлов. – Вчера ребенка украли прямо из коляски. Мальчик. Оставила у булочной. На Международном проспекте.

Женщина не выдержала и заплакала.

– Фотография имеется?

Женщина, сморкаясь, покачала головой.

– Куда. Окрестить не успели. Хорошенький, как ангел. Волосики золотые.

– Вот вы советская женщина, а туда же, – мягко упрекнул Зайцев. – «Окрестить», «ангел». Сколько вашему малышу?

– Петровым постом родился.

Самойлов хмыкнул:

– Вы бы эти поповские штучки бросили, гражданка.

Зайцев прикинул: возраст подходящий.

Как знать, подумал Зайцев: для кого-то беременность была жизненной катастрофой, а кто-то тщетно мечтал о ребенке. Перепробовал врачей, попов, ворожей и знахарей. И тут – случай. Хорошенький белокурый младенец. Просто вынуть из коляски прямо в одеяльце. Международный проспект, движение оживленное. В трамвай – и ходу. Кто заподозрит неладное в гражданке с плачущим свертком?

Тем не менее Самойлов поехал с Герасимовой в клинику Отта, где найденыша лечили от пневмонии.

Максим горький, закусив за щекой язык, тщательно выводил карандашом заявление.

Зайцев смотрел в окно. Ему жаль было и эту комсомолку Шапкину. На танцах, на гулянье в парке, на садовой скамейке случилась, поди, короткая комсомольская любовь. Кавалера ищи теперь свищи. А одна с младенцем не много же сможешь. Зайцев знал наперед, как будет запирается комсомолка Шапкина: упала, тяжелое

подняла, надорвалась. И как потом расколется, рыдая и сморкаясь. Ну выгонят ее из комсомола, ну уволят – кому от этого легче? Что это за социалистическая справедливость?

– Дописал, – подал голос горький.

Зайцев быстро пробежал глазами безграмотные каракули.

– Непременно разберемся, гражданин, – Зайцев быстро сверился с листком, затем тщательно сложил его, – Сапожников. Все факты тщательно проверим. И за содействие следствию – благодарим.

– Соседи другие подтвердят. Сперва с пузом ходила. А потом – раз! – и пуза нет, – продолжал лепетать Сапожников, оборачиваясь, как усердный, но глуповатый пес на охотника. Как все тираны рабочих общежитий и коммуналок, он стелился перед начальством.

Зайцев распахнул перед ним дверь приемной. И на него тут же хлынуло гулкое рокотание множества голосов. Молодые, не очень, старухи и с виду студентки, бледные и напудренные, опрятно одетые, неказистые, работницы в косынках, конторские служащие в шестимесячной завивке – приемная была полна женщин.

При виде Зайцева они дружно умолкли. И как по команде уставились на следователя – каждая с отчаянным вопросом в глазах. Их душераздирающая надежда неслась на Зайцева, как океанская волна.

На длинном столе под стосвечевыми лампами лежали собранные улики.

В мертвом человеке есть такое, что отвлекает даже опытного следователя. Зайцев знал себя: чтобы по-настоящему увидеть место преступления, ему надо было смотреть на фотографии, на одежду убитых, выпустившую из себя мертвое тело, опавшую, плоскую.

Оранжевая рубаша американского коммуниста пылала осенним пожаром. Крачкин чуть не носом по ней водил.

Зайцев чувствовал: оба они, как юные застенчивые влюбленные избегают случайных прикосновений, избегали говорить о ночном визите в Смольный.

– Странные наряды, – сказал Зайцев вслух. – Ты что, Крачкин, думаешь?

– Ты помнишь притон на Кронверкском? – вопросом ответил на вопрос тот. – Полагаю, мы ступили в область половых извращений.

Зайцев видел, что Крачкин хотел добавить еще кое-что, но сдержался.

– А Мартынов уже приехал с Каменноостровского?

Коммунист Ньютон был прописан там в двухкомнатной квартирке. Отдельная квартира показалась бы немислимой роскошью большинству ленинградцев. Зайцев тотчас об этом пожалел: от глаз соседей по коммуналке американец уж точно бы не спрятал свою личную жизнь. Отдельная квартира не обещала свидетелей. Но зато обещала улики: за своими дверями счастливые обладатели отдельной жилплощади чувствовали себя в безопасности и бросали где попало то, что нервно перепрятывали от чужих глаз обитатели коммуналок.

Крачкин помотал головой.

– Интересно, – промолвил Зайцев. – Если ты прав, Мартынов нам расскажет.

– Я не настаиваю, что прав. Просто предлагаю трактовку событий, – уточнил Крачкин, как будто спохватившись.

Зайцева это задело на миг. Но затем его внимание привлекло длинное массивное ожерелье.

– Это что еще за золотая цепь на дубе том? – пробормотал он, взяв снимки с места преступления и быстро шлепая на стол ненужные.

Зайцев сверился с фотографией. Но и так помнил: ожерелье было на блондинке, тело было прислонено к кустам так, что казалось, будто женщина стоит и глядит на старуху, Ньютона, младенца. Оно охватывало тело женщины почти как португепя.

– Материал везде очень качественный. Шелк, батист, – подсказал Крачкин. – Все чистое. Понюхай.

– Бывшие нэпманы?

Зайцев тоже наклонился над столом. Тяжелый душный запах.

– Что это?

– Какое-то ароматическое масло.

Ожерелье подле этой одежды выглядело грубо, аляповато.

– Это ведь не металл. – Зайцев показал ему на ожерелье.

– А ты что, золото найти ожидал? – с едва заметной иронией вскинул бровь Крачкин. – Эдакую цепь по нынешним временам давно бы в ломбард снесли. От греха подальше. У честного советского человека таких побрякушек водиться не может.

– Нет, ты возьми ее в руку: это не медь, не позолота, не латунь.

Крачкин осторожно взвесил в руке цепь через платок. Хотя на отпечатки все давно уже проверили, инстинкт следователя был непобедим.

Крачкин помолчал, то ли раздумывая, то ли вовсе не желая говорить.

Но ее бутафорская легкость говорила сама за себя.

Зайцев снял трубку.

– Соедините меня с театром. С каким? – он повернулся к Крачкину. – Одну минуточку, – и прикрыл трубку ладонью. – Где сейчас идут пьесы на историческом материале?

Пауза затянулась.

– Черт возьми, Крачкин, некультурное мы впечатление создаем о нашей милиции, – недовольно пробормотал Зайцев.

– Когда тут по театрам еще бегать, – проворчал Крачкин.

– Перезвоним, – сказал в трубку Зайцев и нажал рычаг. Набрал номер.

– Серафимов? Нет, это успеется, закончи. А потом составь список театров. Возьми фотокарточку вещицы одной, Крачкин тебя

сориентирует, и дуй на «Форде». Может, опознает кто реквизит свой.  
Роскошная золотая цепь с камнями была бутафорской.

Щедро выданные товарищем Кировым «Форды» разъехались по заданиям. Из обшарпанного, но все-таки помпезного центра города на заводскую Выборгскую сторону Зайцев поехал на трамвае. Вагон то бежал, тренькая, то полз, скрежеща колесами: путь был не близкий. Зайцев хорошо понимал недовольство рабочих. Советская власть решила воздать всем поровну и переселила их в барские квартиры в центре, запихнув по семье в каждую комнату. С бывшими буржуями наравне. Вот только телепаться на работу каждый день приходилось теперь через весь город, а вставать – в ночи. С бранью и проклятиями трамваи брали штурмом.

Полон он был и сейчас. Зайцев сперва повис на подножке, потом ввинтился внутрь. Пахло дегтем, невымытым телом, влажной шерстью. Пассажиры заводили вялые перебранки, но, гавкнув раз-другой, умолкали. На желтовато-серых лицах была написана усталость. Даже недавние деревенские жители, которых массово переманил город или силой перевело на заводы начальство, быстро обрели нездоровый местный окрас. Уже и не понять, кто местный, кто приезжий. «У, вылупился, черт, – сердито процедила какая-то баба. – Сглазит ишшо».

Зайцев отвел взгляд и по примеру Крачкина попробовал смотреть в окно. Небо над Невой тоже было желтовато-серым. Вода напоминала мятый свинец. На другом берегу высились кирпичные трубы. Низко висел дым. Он постепенно переходил в тяжелые низкие питерские облака. Выборгская сторона была рабочей окраиной: Балтийский завод, резиновый «Красный треугольник». Американец Ньютон служил на бывшем заводе Нобеля – «Русском дизеле».

Едва трамвай перевалил по мосту через Неву, Зайцев начал медленно вывинчиваться ближе к дверям; проклятия пассажиров стлались за ним, как шипящий кильватерный след. И спрыгнул у красной, будто каленой и прокопченной, громады. Зайцев задрал голову. Безо всяких украшений кирпичное здание завода было по-своему импозантным. Оно говорило о силе.

У проходной переступала на каблучках-копытцах девушка в секретарской блузке с галстучком. Обеими руками она обнимала себя за плечи. Красный носик и красная помада на губах равно бросались в

глаза. Увидев Зайцева, она нерешительно подняла руку: махнуть или нет?

– Это вы из милиции? – неуверенно спросила она.

Видимо, следователь угрозыска рисовался ей персонажем книжечек из пинкертоновской серии в мягкой обложке. Зайцев в своей кепке и обдерганном старом пальто мало чем отличался от рабочих «Дизеля». «Ботинками разве», – подумал он, проследив за взглядом девицы.

– Вы бы внутри подождали, – мягко сказал он. – Зачем же мерзнуть на улице.

Он видел, как девушка в мгновение ока произвела сложные тонкие вычисления, позволяющие ленинградкам занести любого представителя мужского пола в одну из категорий, высшей из которых была «женихи». И по взгляду секретарши понял, что он в нее не попал. Просто никак не мог попасть. Как не может инфузория быть отнесена в раздел крупных хищников или хотя бы дойных парнокопытных.

Он почти пожалел, что швырнул в окно дородное пальто с гэтаушного плеча. То, что он купил на толкучке, было явно пролетарской породы.

– У нас директор строгий, – сухо сказала секретарша.

На проходной был часовой. Зайцева это не удивило: «Русский дизель» работал над оборонными заказами. Дежурный, тщательно сличив милицейское удостоверение с физиономией Зайцева, принялся выписывать пропуск. Он важно клевал ручкой в чернильнице и поглядывал на Зайцева через каждое слово, будто опасаясь, что тот может внезапно переменить облик. Оборонный профиль явно усиливал нервозность здешних обитателей.

Только секретарша скучающе плавала взглядом по сторонам.

С пропуском в кармане Зайцев был переведен в кабинет директора.

Сначала ему показалось, что в просторном кабинете заседают сразу три человека. Впрочем, третьим оказался огромный Ленин: на портрете вождь сидел за столом вровень со столами двух других. Но эти двое были из плоти и крови. Один – с совершенно пролетарской рожей. При виде нее Зайцев вспомнил знаменитый плакат «Папа, не пей». Глаза у него были ушлые. Привстав, он быстро сказал что-то политически выдержанное. По его хитрым глазам было ясно, что он

сказанному ни на грош не верит. Это был так называемый красный директор.

– Леночка, спасибо, – кивнул он секретарше.

Второй человек, лет сорока на вид, сиял гладко выбритым черепом. Недостаток волос на макушке компенсировали четкие черные брови и густые усы.

– Фирсов, – негромко представился он. Из рукава показался ослепительный белый манжет, когда Фирсов протянул руку. – Афанасий Осипович.

Яркие карие глаза выдавали уроженца южных губерний. В глазах жарко блеснул ум. Это был директор настоящий, как бы там ни называлась его должность в действительности.

Костюм у него был английский.

– Зайцев.

Они пожали друг другу руки. Рука Фирсова была мягкой, интеллигентской. Одной этой руки с ее белым манжетом Зайцеву было достаточно, чтобы достроить биографию Фирсова: богатая русская купеческая семья, университет за границей, инженерная карьера, после революции остался служить стране. Не попал под красный террор только потому, что гиганты вроде «Русского дизеля» одной классовой сознательностью не управляются. Фирсова сохранили при драконе, с которым новые правители не умели сладить. А красного директора выдвинули из местных митинговых крикунов.

Красный директор одернул пиджак. Под пиджаком была косоворотка.

– У нас политинформация в цеху, – сказал хитроватый мужик. – Рад бы вам помочь, да занят. Дела, дела. Не присесть. Вот Афанасий Осипович на вопросы ответит. Потеря товарища Ньютона потрясла наши сердца. Капитализм дотянулся своей лапой в самое сердце Ленинграда и нанес удар.

Но тут красный директор спохватился, не перехлестывает ли. Осторожная мужицкая смекалка подсказала ему: еще не известно, чего тут рыщет этот мильтон, да и что там натворил этот американец, прежде чем отбросил коньки. «На черта с иностранцем связались», – так и пронеслось у него на лице. И выкатился из кабинета.

– Я вас слушаю, товарищ Зайцев, – Фирсов сцепил руки на столе. – Присаживайтесь. Может, чаю?



– Не буду отнимать ваше время.

– Спасибо, – честно сказал Фирсов. По-видимому, он был вполне уверен, что без него здесь не обойдутся: держался внушительно. Не так, как другие представители отживших классов, которые не успели сбежать в эмиграцию или напрасно понадеялись, что заваруха 1917 года ненадолго. А теперь были лишены всяких прав: «лишенцы». Они норовили закатиться в какую-нибудь щель, стать невидимыми и неслышными. Фирсов подобных забот не знал. Он был видным и слышным. Он чувствовал себя под защитой своего образования, опыта, знаний. А может, и покровителей на самом партийном верху.

– Товарищ Фирсов, и вы мое время тоже не отнимайте, сделайте милость. Расскажите мне про Ньютона.

И Зайцев встал со стула. Принялся задумчиво мерять шагами кабинет, оглядывая шкафы, задерживаясь у портретов и плакатов. Глядя в окно. Обычных начальников такая смена мизансцены всегда выбивала из себя. На это Зайцев и рассчитывал.

– Пожалуйста. Что вас интересует? – спросил его в спину Фирсов.

– На заводе его любили?

Инженер подумал, глядя на собственные руки.

– Его НЕ любили, – ответил он. – Рабочим нравилось, что он черный. Он улыбался. Был любознателен, добродушен. Старался освоить русский, – Фирсов помолчал, подбирая выражение. – Это тоже забавляло. К нему были очень снисходительны, – добавил он, провожая Зайцева взглядом.

– Над чем он работал? – спросил Зайцев у окна. А потом сел на подоконник.

– Он числился инженером, – выразительно не ответил на вопрос Фирсов и закинул ногу на ногу, переведя сцепленные руки на колено.

– То есть он не мешал людям работать? – в лоб спросил Зайцев.

– Тем, кто хотел работать, – нет, – отрезал тот.

– Но и помощи от него не было. Так вас понимать? – Зайцев подошел к самому столу, оперся на него руками. Фирсов ни на йоту не переменял положения. Не сделал и попытки отодвинуться. Зайцев уловил запах его одеколона.

– При чем здесь я? – Фирсов вскинул острую темную бровь. – Багаж образования у товарища Ньютона был минимальным.

– Вот как?

– А как вы себе представляете ситуацию с правами чернокожих в Североамериканских штатах, товарищ Зайцев? К школам и университетам их на пушечный выстрел не подпускают. Вины товарища Ньютона в этом нет. Что касается наших рабочих, то у большинства, уверяю вас, понятия куда более дремучие, чем у этого несчастного американца.

Фирсов все же не выдержал и громыхнул стулом. Отодвинулся.

– Но Ньютон получал инженерский оклад и карточки.

Фирсов пожал плечами:

– Партия хотела подать пример иного отношения к чернокожим у нас. К тому же чернокожим коммунистам.

Зайцев сел на стол: Фирсова надо было как-то раздражить, взбесить, но вывести из этой его невозмутимости. Дать наговорить лишнего.

– А как к этому относились на заводе?

Фирсов, однако, и бровью не повел.

– Поймите, к Ньютону никто не относился как к обычному русскому ваньке. Он был диковинкой. Почти цирковым артистом. Его оклад казался всем нормальным.

– Друзья? Подруги у него были?

– Это вам надо спросить в комсомольской организации завода. Она над ним шефствовала.

Фирсову явно не понравился вопрос. И Зайцев это заметил.

– Он что, самостоятельно не мог завести друзей?

– Он почти не говорил по-русски. А впрочем, парень он был славный и добрый. Мне очень жаль, что его постигла такая участь.

Из этого Зайцев сделал выводы, что сам Фирсов по-английски говорил великолепно.

– Вы в Америке учились?

Инженер обжег его карими глазами.

– Это как-то нужно для дела?

«Да, такому палец в рот не клади», – подумал Зайцев.

– Просто мое любопытство, – искренне признался Зайцев. Фирсов чуть смягчился:

– В Германии. И это не секрет для нашей партийной организации, если вы об этом.

– Бросьте, товарищ Фирсов. Я милиционер, а не гэдэушник, я убийц и бандитов ловлю, а не шпионов и классовых врагов. У Ньютона была семья?

– Н-нет. Нет. Он жил один.

– Почему вы не вполне уверены? – небрежно бросил Зайцев, а внутренне моментально собрался.

– Я вполне уверен, – бормотнул инженер. – Просто... мне кажется, он был не очень счастлив. Поймите: он приятный, жизнерадостный, общительный парень. Молодой, с замечательной открытой улыбкой...

Опять повисла пауза. Зайцев ее не нарушал. Фирсов попробовал подступить еще раз:

– Но без русского языка. И потом... У нас, конечно, не Америка, отношение к Ньютону было замечательным. Но...

Он явно начал спотыкаться. Зайцев заметил: он смутился.

– Все-таки... Вы поймите, комсомольцы наши старались. Но у нас контингент рабочих... Вдобавок в последние годы он сильно пополнился жителями деревни. Для них чернокожий...

Фирсов снова умолк.

Но Зайцев его понял. Недавним деревенским паренюкам бедняга Ньютон казался лесным дикарем. Забавным, только пока он крутился подле станков и смешно коверкал русские слова, широко улыбаясь. Но рабочие быстро зверели, если чернокожий приближался к девицам. Или девицы приближались к нему, учитывая, что оклад у иностранца был инженерский, а квартира – отдельной. Дрались и убивали на Выборгской стороне и за меньшее. Особенно приняв горячительного. А большинство принимало каждый день.

Зайцев поднялся.

– Спасибо, товарищ Фирсов.

– Простите, не смог оказать вам хоть как-то полезен, – развел руками истинный директор «Русского дизеля». Тряхнул Зайцеву кисть, прощаясь. – Вы думаете, что беднягу прикончили товарищи по цеху? А, тайна следствия, наверное.

Зайцев так не думал.

– Она самая, – улыбнулся он. И добавил: – Спасибо.

Зайцев понимал, что если бы Ньютона убил поддатый рабочий, то убил бы он кулаком, камнем, бутылкой. Пырнул бы ножом.

Одинокий и чернокожий. Без языка. Без друзей, семьи или хотя бы возлюбленной. Оливер Ньютон был легкой добычей. Его можно было заманить куда угодно всего лишь лаской.

Хоть бы и покупной.

След чернокожего американского коммуниста уводил с Выборгской стороны совершенно не понятно куда.

Лаской. И еще хотя бы небольшим умением изъясниться по-английски. Пока это было единственной зацепкой.

Отправиться завтра в контору «Интуриста» с фотографией Ньютона Зайцев поручил Самойлову.

– Если только... – встрял тот, но тут же умолк.

– Что? Возьми «Форд», чтоб не бегать, – добавил Зайцев.

Мартынов, Крачкин, Самойлов и Серафимов застыли немymi фигурами, но Зайцев ясно почувствовал некую общую волну, которая пробежала между ними – и обошла его.

– Я с партийной линией следствия не спорю, – добродушно произнес Самойлов, поднимая обе раскрытые ладони. А в глаза Зайцеву не глядел.

– Ты чего, Самойлов? – не сдержал изумления Зайцев. «Это же я!» – хотелось воскликнуть ему. – На что это ты намекаешь? – голос Зайцева сделался жестким.

– А что я? Я не знаю, какие указания дали товарищи из Смольного, – завертел головой Самойлов. Все молча глядели на Зайцева. Как будто не было с ним и Крачкина в тот вечер.

– Если только мы уверены, что линия Ньютона – главная, – примирительно сказал Крачкин. И посмотрел на остальных, как бы приглашая.

– Я думаю, шлюх надо трясти, – подал голос Мартынов. Из картотеки он вернулся ни с чем.

– Вот именно! Прихватили американца – обрадовались, думали, интурист. А оказался наш советский человек. Вляпались девушки.

– Если они вообще шлюхи, – бросил Зайцев.

– Никто их что-то не хватился, – возразил Серафимов.

– Это вопрос хороший, – согласился Зайцев.

Каждый человек в городе оплетен семейными, родственными связями. У каждого есть друзья и сослуживцы. Каждого кто-то искал бы.

– Шлюхи и есть, – настаивал Мартынов.

– Ты же сказал, нет их в нашей картотеке, – неожиданно возразил Серафимов.

– Нету, – согласился Мартынов. – Это значит, просто они еще советским органам не попались.

Зайцев вспомнил встречу на заводе: крестьянское пополнение последних лет.

– Или девушки эти просто-напросто из деревенских. Приехали в город, на завод. Их никто не хватится. Семья осталась в деревне, завод решил – уволилась, кавалер – сбежала с другим. А соседки по общежитию только обрадуются освободившейся койке.

Он видел, что слушают его без энтузиазма. За окнами промозглая тьма, ветер иногда с размаху врзался в стекло лбом. А лампочка под потолком тусклее и желтее, чем была. Серафимов проглотил зевок.

– Хорошо. Самойлов, ты завтра дуй в «Интурист». Сверкни фотографией американца. Послушай, что скажут. Много ли американцев в тот день было в городе, чем занимались. А ты, Мартынов, покажи наших девочек в венерологической больнице Тарновского. Может, к ним обращались, ежели промышляли этим делом. И в профилакторий на Большой Подьяческой тоже сунься. Может, они опознают.

Он уловил, как те вскользь обменялись взглядами.

«Что тут происходит?» – подумал он.

– Ладно, орлы, – сдался Зайцев. – До завтра. Утром все сюда – свежие и выспавшиеся.

Все молча поднялись.

– Идешь, Крачкин? – уже выходя, спросил Самойлов.

Зайцев услышал голос Крачкина в коридоре. Ему ответил Серафимов. Мартынов заржал. Зайцев уловил название пивной. Весело переговариваясь, они все отправились пропустить по кружке на улице 3 Июля, прежде чем разойтись по домам.

Все, кроме него. Его подчеркнуто не позвали.

Зайцев выглянул в коридор.

Послушал удалявшиеся голоса. Лестница усиливала их эхом, заодно смешивая звуки так, что ничего было не разобрать.

Голоса пропали.

Зайцев с трудом верил случившемуся.

В приоткрытую дверь кабинета напротив виднелся свет. Нефедов сидел там среди каталожных ящиков, опустив нос, и прилежно строчил, макая дешевенькое перо в чернильницу. Зайцев попытался вспомнить, какое задание дал Нефедову. Мысли его взбаламученно

кружились, взметая едкий ил. Он не смог вспомнить и бросил. Прямо сейчас это было совсем не важно.

– Готов рапорт, Нефедов? – бодро осведомился он, как будто ждал этого рапорта целый день.

Нефедов исполнительно вскочил и обратил на Зайцева свое свиное личико. Он глядел без издевки, без злобы, без холода. Но и без сочувствия.

«Добро пожаловать в мой клуб», – говорил его взгляд.

## Глава 6





– Мне мешок картошки, – протянул сложенные трубочкой деньги Серафимов. – А если нет, то свеклы. А если нет, то...

– Отлезь, моя очередь.

– Товарищи, не все сразу! – радостно заорал Мартынов.

Он бесцеремонно растолкал их всех, сел на край стола. Выдернул из машинки чистый лист бумаги и принялся карандашом записывать фамилии. Напротив каждой – сумму. Все окружили стол, и перед Мартыновым быстро образовалась горка мятых денег.

Самойлов положил сверху три катушки ниток. Остальные недоуменно уставились на него.

– Нина моя передала. Сменяй на муку.

– Ты чего, Самойлов? Я тебе там что, целый день на рынке околачиваться буду? – обиделся Мартынов.

– Да ты, Мартышка, эти нитки достать не успеешь – колхозники с руками оторвут. Нина говорит...

– погоди ты с нитками. Ты записал: если не картошку, то свеклу, – не унимался Серафимов.

– Все, засосало мещанское болото. Говорили тебе, Сима, не женись.

Такую картину застал Зайцев, войдя.

– У тебя что, Сима, есть жена? С каких пор? – не сдержался он.

– Да так, – замялся тот.

И по всеобщему неловкому молчанию Зайцев понял: подругой жизни Серафимов обзавелся, когда он, Зайцев, сидел на Шпалерной.

Мартынов, шевеля губами, листал бумажки – пересчитывал общую сумму.

– Это что еще за визит фининспектора к нэпману? – сменил тему Зайцев.

– Собираем командировочного в дальнюю дорогу, – ответил за всех Самойлов.

– Не понял.

– А чего казенный транспорт порожняком в такую даль гонять? – объяснил Самойлов. – Пару мешков на заднее сиденье кинет для товарищей. В кои-то веки «Форд» посылают.

– Мартынов, что-то я удивлен малость. Растолкуй-ка мне, непонятливому. Мы вчера о венерических профилакториях говорили, –сел на стол рядом с ним Зайцев. Повернул к себе список: – Да тут целый продовольственный склад!

– Говорили, – отодвинулся с усмешкой Мартынов. – Я спорю разве?

Тон их общий совершенно не нравился Зайцеву. Но он понимал: открытого спора лучше избегать. Пока возможно.

Его товарищи, по-видимому, подумали о том же. Они старались вести себя как ни в чем не бывало. Хотя бы где возможно.

– Тот венерический с Подьяческой перевели, – пояснил Самойлов, – в Лодейное поле. И не профилакторий это больше, а режимная колония. В монастыре бывшем.

Порхнули смешки.

– Двести пятьдесят километров от Ленинграда чесать.

– А по пути посетить ряд дружественных колхозов, – уточнил Серафимов.

– С какой целью?

– С целью подкормить городских жителей, – добродушно объяснил Мартынов.

– Мне вон жена нитки сунула: сменяет пусть на жрачку, говорит. Чем тут в очередях стоять да еще по карточкам.

Но Зайцева сейчас интересовало другое:

– Когда перевели?

– Летом, – коротко ответил Крачкин. Что означало: пока ты сидел. Зайцев хмыкнул.

– Хорошо, Мартынов. Не забудь командировочные выписать. Заночевать у лодейнопольских товарищей придется.

– Да я постараюсь до ночи обратно прискакать.

– Ты время не экономь. – Он обвел глазами их всех. – Но не на рынки колхозные его употреби. Ты местных товарищей расспроси хорошенько. Девкам фотографии тоже показать неплохо бы: может, вспомнит кто подружек своих.

– Они тебе маму родную в них опознают, если надо, – презрительно произнес Мартынов. – Шлюхам этим все развлечение.

– Не шлюхам, Мартынов, а нетрудовым элементам, вставшим на путь исправления, – рассердился Зайцев.

– Как скажешь.

Они с неохотой отошли от стола. Крачкин чуть задержался подле Зайцева, в руке его дымилась толстая папироса. Губы растягивались в иронической улыбке.

– Хорошо тебе, Вася, ты человек одинокий. Как Диоген. А мы все люди семейные. Вон даже Серафимов сдался. – Он затянулся папиросой, выпустил дым. И добавил тихо и уже совершенно серьезно: – Не осуждай. Они сами гореть на службе готовы. А дома жена на темя каплет: добудь да добудь мешок картошки. Ты прояви понимание...

– Товарищ Зайцев, нас в театре ждут, – напомнил Серафимов.

– О, Сима, у кого-то работа не волк. «Мы все немножко театралы, спешим чуть вечер в залы», – фальшиво пропел Самойлов. – В какой театр хоть?

– А один черт. Не на спектакль же. В мастерскую, – ответил Серафимов.

– Приравнивается к культпоходу.

– Сейчас, Сима, – отозвался Зайцев. – Ты одевайся, я сейчас. Крачкин, отойдем малость в сторонку, – пригласил его Зайцев. – Показать тебе кой-чего надо.

Они вышли в коридор.

– Сюда, – Зайцев открыл дверь.

Крачкин заглянул внутрь. Зайцев бесцеремонно втолкнул его.

– А ну давай, выкладывай. Что это за новое поветрие? Что это вы за хороводы вокруг меня водите?

Крачкин оттолкнул его руки.

– Ты это, не очень-то распускай руки. А то я тоже распустить могу.

– Ты никак мне угрожаешь?

– Да что вы, товарищ Зайцев! В своем уме? Я же советский человек. Как я могу угрожать своему товарищу по угрозыску? Я сигнализирую.

– Вот что, Крачкин. Комедию вашу я заметил. Только что-то немного односторонняя она. На прием к товарищу Кирову, помнится, не один я ездил.

Крачкин пожал плечами:

– Товарищ Зайцев, мне ведь разговоры по душам вести некогда. Мне рынки и комиссии обойти надо. Вы сами задание дали.

– Ты к чему клонишь?

– Как бы потом не вышло, что вы сейчас меня разговорами останавливаете, а потом меня же за это и в саботаже обвините.

Зайцев на миг онемел.

– Ты, Крачкин, чего? – сквозь зубы произнес он. – Ну!

Крачкин хмуро отодвинулся:

– Пустое это.

Отвернулся. Вынул коробку «Норда», прихватил зубами папиросу.

Зайцев вырвал у него изо рта папиросу, бросил на пол, растер.

– Мне теперь как? Увольняться со службы прикажете?

– Это уж не мое дело.

– Очень даже твое. Ваше. Я служить не стану, коль на меня собственная бригада как на врага смотрит.

– «Увольняться». Да кто теперь тебе даст? – устало произнес Крачкин и все-таки запалил новую папиросу. Зайцев ждал. Но Крачкин не собирался говорить.

– Выпустили, потому что не виноват я ни в чем. Разобрались – и выпустили, – сказал Зайцев.

Крачкин кивнул, затягиваясь, так что щеки впали. Мол, хорошо, как скажешь, только отстань.

– Я не стукач, – внятно произнес Зайцев. Он, видимо, верно угадал вопрос. Потому что Крачкин тотчас вскинул на него пристальный взгляд. Зайцев не отводил глаз.

Он понимал, что от этого разговора сейчас зависит многое.

– Да ведь если я не докажу этого ребятам, то нельзя мне в угрозыске больше ни минуты оставаться, Крачкин, – медленно проговорил он. – Ведь они слово лишнее при мне вымолвить опасаются. Помоги.

– Послушай, Вася, я ведь не обвиняю. Я знаю, что любого можно поставить в безвыходное положение. Любого. Меня тоже. И застучишь, как миленький.

– Я не стукач, Крачкин, – снова тихо и серьезно повторил Зайцев.

– Но выпустили же тебя.

– Что же мне теперь – идти обратно в тюрьму проситься?

Крачкин опять пожал плечами и на миг прикрыл веки.

– Но ты-то меня вроде не боишься, а, Крачкин?

– А я свое пожил. Я и революцию, и «красный террор» пережил. Я и так уже лет десять лишних хожу. Это они люди молодые. А тебя за что, кстати, арестовали?

– А тебя почему в 1920-м не шлепнули?

Крачкин засмеялся.

– Волчонок ты, Вася. Только ты меня, пожалуйста, в антисоветские разговоры не вовлекай, – ядовито улыбнулся Крачкин. – Я к тебе с пониманием, но и ты не безобразничай.

– Я тебе как есть говорю. Я человек прямой, ты знаешь.

– Ты прямой? – усмехнулся Крачкин.

Зайцев не стал углубляться в тему.

– А ты не подумал, Крачкин, что, может, это Коптельцев меня у ГПУ отбил в виду чрезвычайного преступления на Елагином?

– Это он тебе сам сказал? – быстро спросил Крачкин. – Ладно, Вася. Нам и этого сучонка Нефедова по горло хватает. И тургеневскими разговорами задушевными тут не поможешь. Если ты спрашиваешь, будут ли ребята работать под тобой аккуратно, на совесть, то ответ: будут. – Он взялся за ручку двери. – А о большем не проси.

– Крачкин...

– Не проси.

– Я знаю, как Нефедову жало-то вырвать. И вырву. Его я беру на себя.

Крачкин, не ответив, вышел. Но Зайцев видел: последние слова его задели.

Зайцев вышел за ним.

В коридоре стоял Серафимов, размаянный, в пальто. Кепка в руках.

– Серафимов! Рысью за Мартыновым! Командировочные задним числом оформим. Шлюх всех чтобы просеяли. Он пусть про девок расспросит, а ты про старуху. Бандерши – народ приметный. Да и картошку грузить поможешь, – весело добавил он. Хлопнул Серафимова по плечу.

Вынул из нагрудного кармана мятые купюры.

– На вот. Мне тоже жрачки какой-нибудь прихватите. По обстоятельствам. Если этого не хватит, потом отдам.

И сунул их Серафимову в руку.

– Мы же...

– А в театр со мной пойдет Нефедов. Нефедов! – гаркнул Зайцев так, что эхом отдалось в коридоре.

Совиное личико вынырнуло на зов.

– Одевайся! Культпоход.

Крачкин обернулся. В глазах его мелькнуло удивление. И тут же спрятал взгляд, как отдергивают руку.

Цепь с камнями опознали в Государственном академическом театре оперы и балета.

Стоял он на отшибе от некогда парадных улиц царской столицы: там, где селились небогатые вдовицы, студенты, пенсионеры. Между Мариинским театром и Невским проспектом с его шикарными Морскими улицами сочилась главная городская клоака – Сенная площадь в сети грязненьких переулков.

Шли пешком. Говорить Зайцеву не хотелось. А Нефедов и не пытался. Зайцев это отметил: на откровенность пробить не старается. Знакомство накоротке завязать – тоже. Что это за стукачок такой? То ли дурак, то ли, наоборот, искусный гад. Зайцеву стало тошно, будто его заперли в банку с осой. А воздуха все меньше. Они вышли на Сенную.

В советском Ленинграде разница между парадной частью города и его дном как-то сгладилась. Парадные улицы обтрепались и просели, Коломна опустилась. А Сенная с ее переулками по-прежнему гнила и кишела. По-прежнему страшно торчала Вяземская лавра – длинный трехэтажный доходный дом, а на самом деле притон преступников всех мастей. Над Сенной площадью все время висел, как туман, человеческий грай: ругались, пели, покрикивали, зазывали, рывкали. Здесь торговали с рук старьем, толкали ворованное. Здесь по тротуарам среди дня валялись пьяные и валандались пьяненькие. Таскались нищие. Просили милостыню калеки. Из облупленных темных парадных дышало сыростью и мочой. Дома уныло глядели давно, вернее, никогда не мытыми стеклами. Прохожие торопливо месили вечную грязь. На всем лежала печать бедности, убожества, преступления.

Уж насколько серой была толпа на Невском, то бишь проспекте 25 Июля, а и там попадались то свеженькое розовое личико, то бобровая шапка, то нежное заграничное пальто. На Сенной все было серым, обтерханным, безнадежным.

Зайцев задрал голову. На бывшей Вяземской лавре, стуча молотками, грохоча досками, монтировали леса. По крыше сновали рабочие. Собирались надстраивать этажи. В Ленинграде катастрофически не хватало места и жилья.

– Че рот разинул, – тут же ткнули его в бок. Останавливаться на Сенной было не принято.

Рокот человеческих голосов прорезал женский визг:

– Сумка! Сумка моя!

По бурлению толпы можно было видеть, куда бежит воришка, расталкивая тех, кто сам не успел посторониться. Ввинтился свисток постового.

На Зайцева, теряя равновесие, с размаху налетела какая-то женщина с сумками. Зайцев ощутил локтем пистолет в кобуре под пальто. Он успел только уловить движение сбоку. Кто-то поднырнул мимо них. Нефедов сделал неуловимое движение рукой. И прежде чем кто-либо успел понять, что случилось, вор брыкнул ногами в воздухе и, потеряв опору, плашмя рухнул на спину.

Лицо Нефедова осталось все таким же сонным. А рука крепко стискивала лежащего за запястье.

Зайцев быстро подскочил и схватил вора как бы в объятия.

– Смотри, Нефедов, в оба! Как бы он сумку не сбросил!

Вокруг них быстро образовалось плотное кольцо зевак. Расталкивая толпу, пробирались двое постовых в форме и касках. Щеки у одного, что помоложе, как два яблока. «Тоже, видать, деревенское пополнение», – подумал Зайцев.

– Мы из угрозыска, – просипел Зайцев. Вор в его руках бился, как рыба, и извергал матерные проклятия. – Взят на месте, с сумкой. Принимай клиента.

Нефедов сверкнул удостоверением. Милиционеры заломили вору руки и повели в отделение. Обокраденная женщина семенила за ними.

– Молодец, Нефедов. Реакция отменная, – Зайцев одернул пальто. – В армии так насобачился?

Он по-прежнему делал вид, что не знает, где Нефедов служил прежде.

Тот вдруг покраснел. «Колись, голубчик», – с неприязнью подумал Зайцев.

– В цирке.

– В цирке?

– Сбежал из дома пацаненком. Я ловкий был и малой совсем.

– И чего ж ты там делал? В цирке? Только не свисти, что французской борьбой занимался.



– Нет-нет, – еще гуще заалел Нефедов. – Номер такой был – «Икар и сыновья». Может, помните? Вроде гимнастики. Акробатический. Я был которые «сыновья». Вы только не говорите никому.

– Да ладно. Вот удивятся все. Артистов у нас еще не было.

– Правда, не надо. Ко мне и так отношение... не очень.

Зайцев хмыкнул. Или Нефедов был не только акробатом в прошлом, но и актером драмы в настоящем, но только его простодушный тон показался Зайцеву искренним.

– Это тебе, друг ситный, померещилось. Отношение, я имею в виду. Это угрозыск, а не клуб по интересам. Тут настроением драгоценным никто ни у кого не интересуется. А отношение ко всем равное.

Нефедов не ответил.

Они прошли мимо ломбарда к горбатенькому деревянному мостику. Оголившиеся тополя роняли в Крюков канал последние бурые листья. О гранитный оклад канала бился мусор.

– Алексей! – крикнул кто-то за спиной.

Зайцев ступил на мостик. И тотчас обернулся, почуяв близкое дыхание за спиной.

– Алексей!

Перед ними стоял человек. На вид ему можно было дать любой возраст от двадцати до тридцати: лицо молодое, но усталое, как бы высосанное изнутри. Клетчатое пальто явно знавало лучшие времена. Но одежда чистая. Он слегка запыхался от бега. Из рта в холодном октябрьском воздухе вырывался парок. Пальто нараспашку. В руке он все еще держал ломбардную квитанцию.

– Вот так так, – на лице мужчины плавала ошеломленная улыбка. Нефедов равнодушно изучал незнакомца. – Я тебя через окно увидел! И ринулся сразу.

– Вы, товарищ, обознались. Я никак не Алексей, – сказал Зайцев, пока улыбка незнакомца съеживалась и гасла. – И вы мне тоже не знакомы. Ну, бывайте.

И снова шагнул на мост.

– Постойте! – привязался клетчатый. – Не сочтите за назойливость. Вы напомнили мне одного человека. Может, вы его родственник?

– Товарищ, – всем телом развернулся Зайцев, теряя терпение, – родственники у всех есть. И кого вы имеете в виду, я не знаю. И по правде говоря, нет у меня времени выяснять.

– Погодите, – схватил его за рукав человек с квитанцией.

Зайцев увидел, как взгляд Нефедова окрасился опасным интересом. Его снова охватило чувство, что он в стеклянной банке.

– Гражданин, – рявкнул Зайцев, – я не прогуливаюсь тут, а по службе нахожусь, и вы меня задерживаете. А если вам побеседовать охота, то я вас провожу в отделение и с вами там побеседую.

Клетчатый стусебался, отступил.

– Извините, товарищ, – пролепетал он. – Я обознался.

Перейдя мост, Зайцев искоса глянул на тот берег. Но человека в пальто уже смыла и замешала в себя толпа Сенной.

– Что за придурок? Где я ему возьму тут родственников? – пробормотал Зайцев, но так, что Нефедов бы слышал. По лицу Нефедова, впрочем, невозможно было этого понять.

– Вы сами не из Питера, товарищ Зайцев? – спросил Нефедов.

– А как же, – энергично ответил Зайцев. – Только родственничек у меня один, детдом его зовут. Не додумался я, видишь, в свое время в цирк поступить. И потому беспризорничал. Если бы государство советское меня с улицы не вырвало, не вскормило, Нефедов, то неизвестно, как бы кончилась моя жизнь молодая. Вернее, известно.

Приземистый, с низко надвинутым потолком подъезд, казалось, принадлежал не театру, а какому-нибудь захолустному заводу. Впрочем, подъезд этот был служебным. Он помещался на боковой стороне здания. Длинный тесный коридор без окон уходил вглубь.

Тускло поблескивала вертушка.

Зайцев сунул удостоверение вахтеру.

– Что, Нефедов, ожидаешь увидеть Уланову? – поинтересовался Зайцев, пока вахтер звонил кому-то по внутреннему номеру.

За Нефедова ответил вахтер – голос его дышал надменной строгостью:

– Галина Сергеевна Уланова давно прошла на утренний класс.

Зайцев сделал Нефедову гримасу: понял, мол?

В храме искусств было не до шуток. Удостоверение через маленькое круглое окошко вернулось к Зайцеву вместе с картонным квадратиком пропуска.

– За вами спустятся, – буркнул вахтер.

– Товарищи, вы в костюмерный?

В коридоре стояла полноватая немолодая женщина. Седеющие волосы коротко острижены по моде, из-под синего халата виден край узкой юбки. А на ногах тапочки. Зайцев толкнул вертушку. Нефедов, толкаясь коленями в железные крылья, прошел следом.

– Это вы из милиции? – строго спросила она. В театре, по видимому, всех остальных считали чужаками и таковых били холодом.

– Зайцев. А это товарищ Нефедов.

– Кукушкина, – выдавила женщина, держа руки в карманах халата. – Идемте, – она не оборачиваясь пошла по коридору, уверенная, что за ней следуют.

– Наделали вы здесь переполоху с вашей цепью, – сказала женщина тоном завуча, распекающего старшеклассников.

– Извините, гражданочка, – осадил ее Зайцев. – Цепь эта не наша, а пропала она из театра. И каким образом это случилось, мы и хотим выяснить.

У Кукушкиной дрогнули ноздри.

– Я совершенно уверена, что случилось недоразумение, – быстро ошетибилась она.

– С этим мы разберемся, – не дал ей продолжить Зайцев.

В костюмерных пахло утюгом и крахмалом. Пушистым ворохом лежали слоистые балетные юбки, сложенные одна на другую. Портниха с полным ртом булавок стояла на коленях перед манекеном в черном камзоле с белой грудью. Низко наклонившись над столом, хрустела ножницами другая – Зайцев видел только худую спину, обтянутую трикотажной кофточкой, и локти; со стола полз скользкий шелк.

Кукушкина щелчком сбила на кончик носа очки. Выдвинула ящичек, плотно набитый карточками. Ногти у нее были длинные, но желтоватые, птичьи. Зайцев с отвращением смотрел, как она этими когтями перебирает карточки.

В дверь просунулось милое, удивительно юное личико.

– Аллочка! – звонко позвала вошедшая. – Я пастораль из «Пиковой» мерить пришла.

– Потеше, пожалуйста, здесь работают, – шикнула Кукушкина.

– Пастораль, – неуверенно повторил Нефедов как человек, который пытается запомнить новое иностранное слово.

Кукушкина удостоила его взглядом, каким смотрят на таракана.

– Сцена, – отдельно произнесла она. – Под названием «Искренность пастушки».

Девушка звонко засмеялась и, разворачивая врозь носки, быстро порхнула мимо. Прямая спина, узкие плечи и мускулистые ноги не оставляли сомнений в ее принадлежности к балетной труппе. Портниха за столом отложила ножницы и, перекинув платье через руку, прошла за ней.

Наконец Кукушкина выдернула нужную карточку.

– Вот. «Украшение нагрудное, – прочла Кукушкина. – Мужской костюм. «Иван Сусанин». Бал».

– Когда его в последний раз видели на месте?

Кукушкина пожала плечами:

– Когда последний раз давали «Сусанина»? Надо по афише смотреть. Так не вспомню точно.

– Вы уверены?

– Насчет спектакля? Конечно! Все костюмы и реквизит костюмерши принимают по списку после каждого спектакля.

– А где само украшение хранилось?

– В гардеробе. Где же еще, – процедила мегера.

– У кого есть доступ к гардеробу?

– У меня, – снова раздула она ноздри. – У костюмерш. У артистов.

– То есть кто угодно мог его оттуда позаимствовать, правильно я вас понимаю?

– Неправильно, – вскинулась Кукушкина. – У нас пропускной объект.

Зайцев доброжелательно улыбнулся.

– Что вы, я имел в виду: кто угодно в коллективе театра. Так ведь можно сказать?

– Можно, – поджала губы Кукушкина. – Уж не подозреваете ли вы, что они могли взять это украшение и снести в ломбард? – ядовито поинтересовалась она. – О, поверьте, они прекрасно понимают, что это бутафория.

– Сколько у вас костюмерш и портних?

– Сегодня здесь две: Бочкина и Петрова.

– Товарищ Нефедов, побеседуйте с гражданкой, – Зайцев кивнул на женщину с булавками во рту. Она испуганно смотрела на них, занеся руку с булавкой над камзолом. Осторожно вынула булавки изо рта, поднялась.

– Бочкина, – сказала она.

Они с Нефедовым уселись за стол, на котором лежал разрезанный шелк. Он так и горел в свете ламп. Зайцев вспомнил роскошную рубаху на убитом американце. Постучался в дверь примерочной.

– Можно! – звонко ответил голос балетной девушки.

Зайцев приоткрыл дверь.

Танцовщица стояла перед зеркалом в нежном платье с розами и вся напоминала сливочное пирожное.

У Зайцева застучало сердце: он увидел перед собой что-то, чего еще не понимал сам. А только уже знал, что это очень важно.

– Товарищ, вам кого? – спросила костюмерша, держа натянутый сантиметр вдоль подола.

– Товарищ Петрова? – припомнил он. И тут же забыл ее имя.

Голова его шла кругом, по кругу неслись сливочные розы, словно он сам бежал по спиральному лабиринту, в центре которого было что-то очень важное. Что-то надо было вспомнить. Что?

Костюмерша смотрела на него в зеркало. Она оказалась очень молодой. Ясные глаза под четкими черными бровями, черные вьющиеся волосы сколоты сзади. То ли она испугалась, то ли принадлежала к типу, который называется «английская роза», то ли все дело было в черной бархатной шторе позади нее, но лицо ее казалось ослепительно белым.

Зайцев уставился на шелковую розу. Спираль лабиринта все сужалась. Он был тогда, тем вечером в балете. Верно. Супрематический балет, или как они там это называют. Не важно. «Щелкунчик», да. Танец пастушков. Пастораль из «Пиковой», «Искренность пастушки». «Мой миленький дружок, любезный пастушок», – запело в голове. «Пастушок», – сказал в его голове голос Нефедова. «Пишите, Нефедов, рапорт, и мне на стол».

Нефедов говорил...

– Простите, мне бы побеседовать с вами, – слышал он собственный голос как издалека.

– Я только...

Он почти вспомнил.

– Ничего, Аллочка! Иди к товарищу. Мы закончили! – весело воскликнула танцовщица. И с чрезвычайной быстротой пробежав пальцами по крючкам, стащила с себя платье, сверкнув голым плоским телом.

Зайцев, чуть не рухнув, путаясь ногами в портъере, служившей дверью, ринулся вон из примерочной.

Выскочил.

Он видел Нефедова, беззвучно разевающего рот, в который смотрела костюмерша Бочкина. Видел Кукушкину, видел угли, оранжево тлевшие в черном уютге. Видел все сразу и одновременно не видел и не слышал ничего, потому что только одна деталь теперь была важна.

– Товарищ! Вы что?

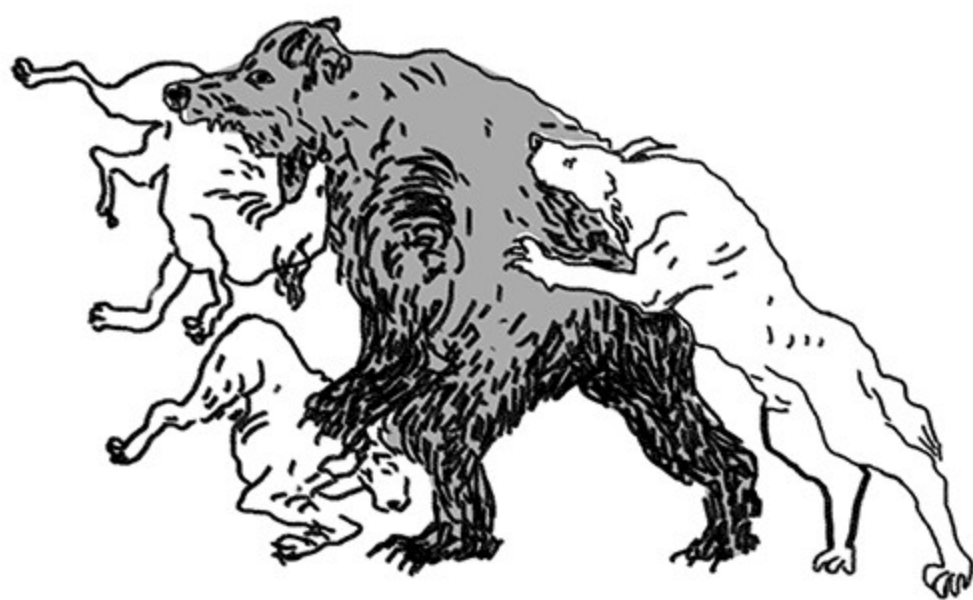
Зайцев не отвечал.

Пастушок и пастушка.

Верная фарфоровая парочка. Навеки разлученная в комнате Фаины Барановой.

А теперь воссоединившаяся на складе улик ленинградского угрозыска – но уже как улики по двум совершенно разным делам.

# Глава 7





Зайцев много раз слышал о том, что мужчины пугаются и теряются, когда плачет женщина.

Слезы Ольги Заботкиной не произвели на него ни малейшего впечатления. Ее большое сырое тело, казалось, источало влагу без усилий. Она сняла очки, как будто они мешали. Зайцев терпеливо дождался, пока она высморкается.

– Извините, – сказала Заботкина все еще в нос и подняла на него свои розоватые кроличьи глаза – без очков они показались непривычно маленькими. – Просто все, что связано с Фаиночкой, так ужасно... Так ужасно...

Ее грудь опять начала вздыматься в преддверии всхлипов. Шерстяной платок сполз с полного плеча, она поправила, не глядя.

– Вы совершенно уверены, что это та самая статуэтка, что пропала из комнаты вашей соседки?

Заботкина покосилась на фотографию и кивнула.

– Вы ее нашли? Где?

Зайцев не ответил. И тогда Заботкина заговорила снова:

– Она купила их парой. Я так и сказала вашему товарищу. Который потом приходил.

Она испугалась, что сказала не то и не тому «товарищу»:

– Он удостоверение показал. Такой, на финна или на эстонца похож. Только с русской фамилией. Разве он вам не сказал? – всполошилась Заботкина.

– Все в порядке. Я просто уточняю факт, – мягко успокоил ее Зайцев. Что факт не дошел до него, так как он сам сел в тюрьму, он, разумеется, Заботкиной сообщать не стал.

– А не могла соседка ваша ее, например, подарить? Или продать? Без вашего ведома.

– Она передо мной не отчитывалась во всем, конечно, – Заботкина принялась теревить конец вязаного платка. – Но, я думаю, нет. Нет.

– Вы точно помните, что она их купила?

– Конечно. На аукционе общества А... А... «Аполлон»? Ах, нет, «Аполлон» – это журнал такой был. «Антиквариат»? Или все-таки

«Аполлон»? – Заботкина посмотрела на него своими водянистыми глазами сквозь толстые стекла.

– А, – с энтузиазмом подхватил Зайцев, – значит, вы с вашей подругой – любительницы искусства. Что же, часто вы там бывали?

Лет семь-восемь назад, насколько помнил Зайцев, на аукционах нередко распродавали безделушки и картины из дворцов, особняков, богатых квартир. То, что не погибло во время революции, но и не пошло в пролетарские музеи. Потом поток несколько ослаб. Но не иссяк вовсе. На аукционы собиралось множество коллекционеров и просто таких, кому охота было поглазеть на еще недавно закрытый для них мир богатых, знатных или хотя бы знаменитых. Обыватели. «Говноеды», – называли их опытные антиквары.

Зайцев представил себе двух старых дев, Заботкину и Баранову: две нелепые фигуры в шляпах горшочком. Сентиментально вглядываются в осколки чужой красивой жизни. Провожают взглядом уплывающие вещицы. А тем временем аукционные девицы все выносят и выносят лоты. Покачиваются бирочки. Фаина Баранова протягивает вверх руку в заштопанной перчатке. Падает молоточек. Удача! – фарфоровая парочка досталась ей.

Заботкина слегка порозовела.

– Вы тоже любите прекрасное? – с чувством спросила она.

Зайцев кивнул:

– Люблю. Вы часто бывали на таких аукционах?

– Ну, я ходила только за компанию с ней. Я больше музыкой интересуюсь, – тихо добавила она. Конец фразы звучал несколько вопросительно: «а вы?» – словно приглашая.

Зайцев внимательно посмотрел на нее. У Заботкиной заалели кончики ушей.

– У Фаины были знакомые иностранные граждане?

– Что вы! Нет! – вскрикнула Заботкина, отшатнувшись и прижимая пухлую белую руку к груди. В глазах ее метнулся ужас. Контакты советских граждан с иностранцами уже начали привлекать неодобрительное внимание партии, советской прессы, а главное ОГПУ.

– Откуда у нее родственники за границей? – всполошилась Заботкина. – Только сестра в Киеве.

Возможно, Фаина Баранова, одинокая сентиментальная женщина средних лет, отнюдь не все рассказывала своей некрасивой

чувствительной подруге и соседке. Парочка пастушков говорила, что надежды Фаине Барановой были не чужды.

Зайцев кивнул.

– Да я не сомневаюсь. Посмотрите на эти фотографии, Ольга Бенедиктовна.

Зайцев положил рядом снимки женщин с Елагина. Заботкина низко наклонилась. Потом выпрямилась.

– Они больны? – осведомилась она.

Видимо, ретушер, «открывший» глаза трупам, все же не сумел придать лицам живость. В наблюдательности Заботкиной было не отказать, отметил Зайцев.

– Вам кто-нибудь из них знаком?

Та медленно проползла носом от одной фотографии к другой. Снова выпрямилась.

– Нет. Я их никогда не видела. А если видела, то совсем коротко, потому что я таких не помню. Если только в кооперативе, где Фаиночка служила, спросите. Может, они по кооперативной линии.

Заботкина была не так уж глупа. Зайцев на миг подумал, как несправедлива жизнь: заключила ее в это полное сырое тело, и кому теперь какое дело до ума и души Ольги Заботкиной, если губы у нее цвета сырой котлеты?

Он попробовал быть не как все – и ей улыбнуться. Но тоже не смог. Ему стало досадно.

– Спасибо, товарищ Заботкина, – проговорил он, вставая.

Больше с ней говорить было не о чем. В кооперативе, где работала Баранова, он уже был, убитых на Елагином там не опознали.

Мысленно он уже называл убитую Фаину Баранову Пастушкой.

Теперь предстояло проверить Пастушка.

В октябрьской мороси здание «Русского дизеля» выглядело угрюмым, тяжело осевшим у мостовой, как больное чудовище.

От желтого электрического света внутри сразу устали глаза.

– Гражданка, – с напором произнес Зайцев, сверкнув раскрытым удостоверением: – вы, наверное, не в своем уме. Я вам тут что, накладные выписывать приехал? Уголовный розыск с вашим директором поговорить хочет. И ждать у следствия времени нет. Быстро сюда директора.

Секретарша чуть скосила глаза в удостоверение. Дрогнули жирно покрашенные губы и модно выщипанные брови-ниточки. В приемной при словах «следствие» и «уголовный розыск» повисла морозная тишина. Посетители поджали портфели к себе поплотнее, на лицах смесь любопытства и опаски.

– Обождите, товарищ, – бросила секретарша, вставая и оправляя юбку. – Я спрошу директора.

Зайцев не стал дожидаться, пока она выпростает свои ноги, стараясь не зацепить шелковым чулком деревянный конторский стул. Он быстро обошел ее стол и толкнул дверь уже знакомого ему кабинета.

– Товарищ, вы зачем? Вам назначено? – сердито залопотал своим пролетарским говорком красный директор, поднимая лобастую, но совершенно недоходную голову от газеты.

Соседний стол был пуст.

– Мне с товарищем Фирсовым поговорить надо.

Сзади дробно застучали копытца-каблучки.

– Леночка, все в порядке. Я приму товарища, – крикнул через плечо Зайцева красный директор.

За то время, что они не виделись, он словно успел слегка облезть. Уже не катался веселым колобком из образцовой комедии фабрики «Совкино».

Он подошел к двери, послушал. Тихо задвинул замок и обернулся к Зайцеву.

– А кто им интересуется? – тихо спросил он.

– Уголовный розыск.

– Видите ли... Его... э-э-э... нет.

Зайцев начал терять терпение.

– Вот и разыщите товарища Фирсова. Скажите, его следователь в кабинете дожидается.

– Он... э-э-э-э... выбыл.

– В командировке? Где? Как с ним связаться?

Красный директор удивленно на него вытаращился.

– Вам лучше знать, – вымолвил он.

И не успел Зайцев задать вопрос, как тот понизил голос до шепота и ответил:

– Товарища Фирсова сегодня утром арестовали.

«Вы разве не знали?» – спрашивало его лицо.

Зайцев почувствовал, что его застали врасплох. А на лице директора уже расплзлось подозрение.

Утром – как раз когда он беседовал со свидетельницей Заботкиной.

– Разрешите вашим телефоном воспользоваться? – спросил Зайцев.

– Пожалуйста, товарищ следователь. Это конфиденциальный звонок?

Директор сказал: «конфиденциальный». И услужливо взялся за ручку двери, демонстрируя готовность оставить своего посетителя наедине с телефоном, сидевшим на обширном столе, как черная лакированная лягушка. Зайцев сделал рукой знак: не надо. Снял трубку.

– Дежурный? Зайцев говорит. Я насчет задержанного Фирсова...

Имени он не помнил. Прикрыл трубку ладонью. Вскинул глаза на красного директора.

– Имя-отчество? Афанасий Осипович.

– Афанасия Осиповича, – повторил Зайцев за директором.

– Они удостоверения показали. Все чин чинном, – продолжал болтать красный директор, словно боялся тишины еще больше, чем визита милиции.

– Спасибо за содействие, товарищ, – оборвал его Зайцев.

Он выслушал ответ дежурного. Повесил трубку. И, забыв попрощаться с красным директором, вышел, провожаемый гробовым молчанием секретарши и посетителей приемной.

Дежурный сообщил, что такого задержанного в угрозыск не доставляли.

Зайцев быстро шагал, словно пытаясь нагнать собственные мысли; они так и пустились вскачь.

Удостоверения, думал он. Удостоверения. И в угрозыск никакого Фирсова не привозили. Уж не ряженые ли они, эти загадочные люди с удостоверениями, которые сегодня утром утащили товарища Фирсова прямо из-под его носа?

А что, если в удостоверениях и кроется разгадка того, как оказались жертвы на Елагином острове – на злополучной поляне, в стороне от парковых дорожек и людских глаз? Как? Да пришли своими собственными ногами! Не протестуя, не сопротивляясь. Парализованные страхом и недоумением. Оглушенные словами «вы арестованы».

Трамвай быстро прокатился по рабочей окраине, затем ход его стал замедляться. И в центре уже едва полз. Раздраженное нетерпение пассажиров распирало его изнутри. Не получая выхода, взрывалось внутри трамвая ссорами и бранью.

Зайцев любил такие вот моменты вынужденного безделья. А крикливый шум обычно помогал сосредоточиться. Только не сейчас.

Если он прав, то нужно искать бандитов с фальшивыми удостоверениями.

Они наверняка отметились не только на «Русском дизеле». Однажды отведав силу, которую дает бумажка с печатью, советский человек остановиться не может. В этом смысле у Зайцева не было классовых предубеждений: даже бандиты в его глазах были все-таки советскими людьми прежде всего.

Трамвай скрежетал по рельсам. Сбрасывал оранжевые искры на стыке проводов. Долго стоял на остановках, беспомощно тренькая: толпа с бранью вывинчивалась или ввинчивалась в его и так уже набитое брюхо, и на сигнал отправления никто и ухом не вел.

Зайцев бесился. В конце концов не выдержал и, когда трамвай опять пополз, словно издыхая, прыгнул на ходу и пошел пешком. Почти побежал.

К счастью, ленинградцы на тротуарах всегда зорко следили за тем, чтобы не то что не столкнуться, а даже не задеть друг друга. И Зайцев быстро лавировал в толпе на проспекте Володарского. Промчался мимо лавочек, лотков, раскладушек, на которых букинисты предлагали свой товар; подле них всегда стояли любители, листая приглянувшийся томик.

«А если все-таки нет ошибки? – на бегу соображал он. – Если сейчас все разъяснится на Гороховой?»

Тогда арест Фирсова был дурным знаком. Если Фирсова арестовал угрозыск, то он, Зайцев, об этом не знал. Кто же тогда распорядился через его голову? Неужели Крачкин? Или Самойлов? И кто дал санкцию? Сам начальник угрозыска Коптельцев? Кто же еще.

Все это пахло скверно.

Зайцев приказал себе не забегать вперед: не давать выводам скакать, опережая факты. Сперва надо выяснить все точно.

Он приказал себе замедлить шаг. Но получилось это лишь ненадолго. Ноги сами несли его. Он шел так быстро, что во рту появился металлический привкус.

– Здорово, – наклонился он через стойку к дежурному. – А ну-ка припомни. Доставили сегодня утром человека. Бритая голова. Роста примерно такого, одет хорошо. Костюм явно иностранный. Припоминаешь?

Дежурный пожал плечами.

– Никак нет.

– Уверен? А без костюма?

Помотал головой.

– Чего тут припоминать. Не было такого. Точно.

– Интересное кино, – пробормотал Зайцев. Слова дежурного его в некотором роде успокоили. Значит, не свои.

Значит, преступники.

Зайцев решил исключить последнюю возможность.

– Слушай-ка, – он снова обернулся к дежурному, – а какое у нас ближайшее отделение милиции к «Русскому дизелю»? Соедини меня с ними.

– Тебе в кабинет перевести звонок? – спросил дежурный, сосредоточенно водя пальцем по списку городских отделений милиции.

– Я здесь подожду.

Зайцев машинально хлопнул себя по карманам, но вспомнил, что сигарет нет. Оглянулся, у кого бы стрельнуть, и тут же себя одернул: бросил, значит, бросил.

Дежурный тем временем повторял в трубку анкетные данные. Зайцев, опершись локтем на стойку, делал вид, что на стене позади дежурного изучает портрет вождя, обрамленный красными лентами. Потом взгляд его переплыл на пыльный фикус в углу. Дежурный положил трубку.

– Нет у них такого, говорят. Ни по имени, ни по приметам.

– Ясно. Спасибо.

Значит, ряженые. Как он и предполагал.



– Еще одолжение сделай, а? Набери мне «Русский дизель». Приемную директора.

Дежурный передал трубку.

– Зайцев, – коротко представился он в чуть потрескивающую тишину, – по поводу Фирсова опять. А сколько их было?

Двое.

– Как выглядели?

Директор забубнил: обычно.

– В форме? В штатском?

– Да польты. Кепки.

– Какие?

– Обычные. Серые. Пол-Ленинграда в таких ходят.

Директор говорил «пОльты» и «ходят».

Зайцев повесил трубку.

На лестнице его осенило: секретарша. Он вспомнил ее мгновенно оценивающий взгляд. От такого не ускользнет ни одно мужское двуногое. Вот кто способен внести исчерпывающую ясность. Вот кого надо спрашивать. Вот кто опишет преступников в деталях, о которых не подумали даже они сами.

Он взялся за перила лестницы, обернулся к дежурному, точно невзначай:

– А Коптельцев у себя?

Дежурный кивнул:

– Вроде не отлучался.

Зайцев кивнул и быстро побежал по лестнице. Итак, некто выдает себя за милиционеров...

То есть, рассуждал Зайцев, появляется ответ на вопрос «как». Как убийцы заставили своих жертв переместиться на Елагин.

Но почему? Зачем? Точно ли ради шубок и женских сумочек?

Вопрос этот был самый классический, старинный, надежный: «почему?».

Иными словами, мотив все еще был неясен.

– Зайцев! – эхом отскочило в лестничном пролете. Зайцев перегнулся через перила, посмотрел вниз: дежурный стоял в квадрате света, задрав голову:

– С «Русского дизеля» опять звонят. Перевести в кабинет или спустишься?

Зайцев прикинул: до кабинета теперь уже ближе.

– Переводи.

И в несколько скачков перемахнул оставшиеся ступени.

– Зайцев, – сказал он в трубку и услышал щелчок: дежурный отключился.

– Але? Але? Вы тут, товарищ милиционер? – Зайцев узнал говорок красного директора.

– Говорите, – коротко приказал он, чувствуя раздражение. Каково-то Фирсову было бок о бок с такой бестолочью?

– Я это, того... Может, важно, может, нет. Я чтобы не было недовзаимопонимания...

Зайцев молчал, давая тому еще больше занервничать. Пусть скажет больше, чем хотел бы.

– Товарищи, что Фирсова забрали, – вдруг понизил голос красный директор; звук превратился в какую-то щекотку в ухе.

– Я вас не слышу, – отрезал Зайцев.

– Вот ведь как оказалось, – сказал красный директор громче. – Я звоню сказать: я подозрения испытывал, да. Костюмчики эти его. Старорежимный специалист опять-таки. В Англиях-Германиях учился, в Америках бывал. Я сигналы куда следует подавал.

Зайцев подавил раздражение и заставил свой тон окраситься восхищением:

– Ну? Значит, подтвердились опасения-то? Вот наш человек! Какие?

Прием сработал.

– Ну да! – почти обрадовался красный директор. – Раз товарищи из ОГПУ забрали, значит, точно: вредитель.

– ОГПУ? Вы уверены, что ОГПУ? Не милиция?

– Я не успел рассказать. Да. Черным по белому. Удостоверения, все чин чинком. Политическое управление. Вот я вам и звоню – сигнализирую: уж не знаю, по какой линии он у вас нахулиганил, а только знайте, товарищ милиционер, Фирсов этот не просто хулиган. А вредитель и затаившийся враг.

Зайцев испытал мгновенный приступ бешенства.

– Что же вы сразу не сказали?

– Ну дак... Вы не спросили.

Зайцев поблагодарил за ценные сведения и повесил трубку.

Сел на стул. Мысленно обругал тупого партийца всеми мыслимыми словами. Но делать-то теперь что?

У ГПУ своя повестка.

А у него – своя. У него Фирсов – ценный свидетель по делу, расследованием которого интересуется сам товарищ Киров. От успеха которого его, Зайцева, свобода зависит.

Имя Кирова давало широкий мандат.

И Зайцев решился.

Обсуждать это с Крачкиным не имело смысла. Тот решит: провокация.

Оставался только один возможный собеседник.

Коптельцев, однако, не растерялся. Не разозлился. Он только вынул платок и промокнул им лоб. Он выглядел так, будто ему нездоровилось. Большое жирное лицо его словно из последних сил держалось на черных, близко поставленных бровях да на выступавшем шишкой подбородке. Он опустил свое тело в кресло, помолчал. Полнота его сегодня показалась Зайцеву не здоровой, а бледной, с одышкой и испариной.

– Хорошо, – сказал он, записывая себе в блокнот полное имя Фирсова, год рождения и место работы. Зайцев бросал быстрые ответы. А сам внимательно наблюдал за Коптельцевым.

– Хорошо, – повторил он. И на миг прикрыл глаза, как будто его кольнула боль.

«Да что это с ним?» – отметил Зайцев.

Коптельцев открыл глаза.

– Раз ОГПУ, то он либо на Шпалерной... На Воинова, – тут же поправился он, быстро глянув на Зайцева: заметил ли тот оговорку – дореволюционное, не советское название улицы.

В глазах его мелькнула... опаска? Нет, тут что-то другое.

А Коптельцев тем временем перечислял:

– В Крестах тоже может быть. Или в Пересыльной. Вася, найдем. Я узнаю.

– Послушай, Александр Алексеич, – заговорил Зайцев. Тон и быстрые действия Коптельцева развеяли опасения, даже приободрили его. «Я ведь не враг», – захотелось сказать ему. Но вместо этого он сказал: – Тут еще какая штука.

И рассказал об убийстве Фаины Барановой. О том, что между делами, возможно, есть связь.

Коптельцев сидел, сцепив руки на столе перед собой. Он помолчал, разглядывая свои большие пальцы, будто не вполне узнавая.

– Что скажешь? – не выдержал Зайцев.

– Вася, не распыляйся.

– То есть как?..

– То есть так! Товарищ Киров крайне заинтересован в быстром и успешном расследовании убийства в Елагином парке. В ответах. А

вовсе не в изысках твоей умственной деятельности и нюансах. В точных и ясных ответах!

– Но ведь эти, как ты говоришь, нюансы...

– Болтовня! – стукнул Коптельцев по столу пухлыми ладонями. – Нам выделены исключительные ресурсы. И как я буду отчитываться перед Смольным? Ура, товарищи, раскрыли убийство какой-то там бухгалтерши, причем давнее и в архив подшитое? А с Елагиным, мол, извольте подождать, пока наш товарищ Зайцев плетет умственные кружева.

– Чем же эта бухгалтерша хуже? – с вызовом поинтересовался Зайцев. – Разве советский закон не один для всех?

Коптельцев издал тюлений вздох:

– Если надо такое объяснять, значит, объясняться бессмысленно.

Зайцев хотел возразить. Но поскольку Коптельцев глянул в ответ настороженно, готовый к обороне и удару, то Зайцев умолк. Махнул рукой.

– Мы устаканили вопрос? – с нажимом переспросил Коптельцев.

– Ладно.

– Вот и славно. Иди, Вася. Я рапорт по «Интуристу» жду, между прочим.

В коридоре заухал хохот, зазвенели голоса. Что-то уронили. Что-то потащили по полу.

На шум стали выглядывать из дверей.

Мартынов и Серафимов, казалось, волокли пьяного. Это был большой серый мешок. Он бугрился: внутри была картошка.

– Принимай провиант, бригада! – радостно заорал Серафимов.

– Подходи по списку, ребзя, – Мартынов задницей ударил в дверь кабинета и за горловину втащил мешок. – Первый.

– Ну чего стоите, барышни! – крикнул он вместо приветствия. – Слуг в семнадцатом году упразднили. Как и эксплуатацию человека человеком. Машина внизу стоит: разгружайте сами, что назаказывали.

Мартынов выпустил из рук горловину мешка. Выпрямился.

– Ох, спина, между прочим, не казенная.

– А что в мешке? Свекла? – оживленно обернулся к нему Крачкин.

И тотчас все они, как по команде, обступили мешок. Серафимов, присев, тербил пальцами бечевку, развязывая узел.

Из-за спины Серафимова показалась милицейская каска:

– Зайцев, там внизу к тебе посетительница. Пропустить?

– Хорошенькая? – быстро поинтересовался Самойлов, подмигнув Зайцеву.

Перед посторонними они держались как одна дружная и абсолютно счастливая команда, отметил Зайцев.

– Ну-у-у, – протянул милиционер.

Зайцев как-то сразу понял, что это Заботкина. «Старая дура», – сердито подумал он. Опыт Заботкиной в отношении противоположного пола явно был чисто литературным.

– Вася, не промахнись! – подбодрил Крачкин. – Твоя последняя возможность!

Зайцев, не глядя, обошел их и вышел в коридор.

– А ты чего скалишься, Крачкин? За своей жрачкой топай вниз сам!

– Из уважения к моим заслугам и опыту, – задрбезжал Крачкин.

– Папаша, да на тебе пахать можно!

– Да, скажу вам, в сельской местности продукты питания – это вам не кооперативная лавка. Серафимов не даст соврать.

И Мартынов принялся расписывать их поездку, приукрашивая такими отчаянными и завиральными подробностями, что все покатывались.

– А шлюхи-то что, Мартышка? Шлюхи? – добродушно напомнил Самойлов. – Оpozнал кто фоточки?

Мартынов и рта не успел раскрыть.

– Погоди, про это дай я расскажу! – толкнул его Серафимов.

Зайцев быстро проскочил вестибюль, решив про себя, что отчитает Заботкину там же, при дежурных.

Но женщина, поднявшаяся ему навстречу, была не Заботкиной.

– Товарищ милиционер...

Среди замызганных стен, крашенных казенной краской, среди обшарпанной мебели ее лицо сверкало. А тусклые, усталые лица милиционеров и посетителей подле нее сразу показались не лицами, а рьями, мордами, рожами, рылами.

Она глядела на Зайцева во все глаза. Ошибки быть не могло: это она хотела с ним встретиться. Портниха из театра. Еще бы такое лицо забыть. Вот только как ее звать?

– Вам чего, гражданка? – осведомился Зайцев. И вспомнил: Алла.

– Петрова. Алла Петрова. Из театра, – напомнила она. Вид у нее был растерянный. Странно. Такая банальная фамилия – и такая броская красота. Зайцеву казалось, что такие красавицы никогда не грустят и не теряются, а, гордо задрав подбородок, несут себя сквозь жизнь, позволяя другим поспешно убирать препятствия с королевского пути. Но Алла Петрова явно чувствовала себя неловко.

Зайцева тронула поспешность, с которой она напомнила о себе. Как человек, который привык, что о нем забывают.

– Вы?..

– Я по делу. Личному, – запнулась она, щелкая сумочкой и оглядываясь на угрюмых посетителей, сидевших напротив стойки, и на шлемы дежурных милиционеров.

– Выйдемте, – предложил Зайцев, пропуская ее вперед.

В вестибюле она сразу заговорила вновь.

– Видите ли, я хотела... Извините.

– За что? – удивился он.

– Вы извините... Просто я... Я видела, что вы... Когда приходили в театр... Понимаете, просто они такие. Она не специально. Она не хотела вас смутить или напугать. Когда она... – Алла жестом растегнула невидимый костюм. – Балетные. Они совсем не понимают, что такое быть голым. Когда мускулы по всему телу. Они же почти спортсмены. Я не хотела, чтобы вы подумали...



Зайцев поймал себя на том, что не слушает Аллу, а смотрит на нее. И рассердился.

– Ясно, товарищ Петрова. Только какое уж смущение? Здесь уголовный розыск, а не институт благородных девиц.

И добавил мягче:

– Здесь, если хотите знать, иные гражданки, которые паразитического образа жизни, они и не такое вытворяют. Всего хорошего!

Он взялся за перила лестницы, давая понять, что разговор окончен.

– Я просто хотела... – Алла опять принялась теревить застежку на сумочке.

– Вы вспомнили что-то о том бутафорском ожерелье?

– Да. Нет. Я не знаю...

В этот момент входная дверь распахнулась. Самойлов и Крачкин втащили с улицы тяжелый, чуть пахнувший сухой землей мешок. Они обрушили его на пол.

– Все, я грыжу заработал, – задребезжал Крачкин.

– Товарищ Зайцев, а ты свое продовольствие тоже сам из авто вытаскивай, – поучительным тоном пригласил Самойлов, пялясь на Аллу Петрову.

– Какое еще продовольствие? – буркнул Зайцев. Он увидел, что в глазах Крачкина блеснул знакомый ликующий огонек: был ли Зайцев насадкой или нет, провокатором, подосланным ГПУ, или все тем же их верным товарищем, это сейчас было не важно – упустить такую возможность Крачкин просто не мог.

– Товарищ Зайцев замечен в контактах с организациями, – радостно оповестил он.

Его остроумие срочно требовало выхода, понял Зайцев. А значит, Аллу Петрову надо было быстро выводить из-под огня.

Самойлов тоже сложил один плюс один в любовную пару. Красота Петровой явно впечатлила и его. Но повел он себя благородно:

– Не обращайтесь внимания, гражданка. Мы старые боевые товарищи этого монаха. И просто за него рады. Это картошка, которую мы закупили в колхозе. Он вам, наверное, не сказал. Вот она, современная романтика. Есть у вас авоська с собой? Сетка? Что же вы

сетку дома оставили? Как же вы домой понесете? Она грязная же, картоха.

Алла Петрова глядела на него ошеломленно. Она открыла рот:

– Я... Мы... Мы не...

А Самойлова осенило:

– Знаете что? А пусть ваш мешок здесь полежит. Вася его сам вечером притаранит. Верно, Вася? Ведь подходит? Подходит? – пристал он к ней.

– Подходит, – пролепетала Алла, беспомощно глядя на Зайцева.

– Зайцев? Так ведь лучше? – не унимался Самойлов.

– Да-да, – раздраженно бросил Зайцев.

– Я пойду. Мне пора. – Алла схватилась за ручку двери.

– Он, может, даже на авто картоху закинет, – все продолжал Самойлов. – Если авто свободно будет.

– А вы заходите к нам еще! – крикнул ей Крачкин.

Дверь хлопнула.

– Мерси, – протянул Зайцев, изничтожая Самойлова взглядом. – Рыцарь печального образа.

– Чего?

Крачкин уже все понял и захохотал. Он перешагнул через мешок и стал подниматься по лестнице.

Но Самойлов был полностью занят таинственной незнакомкой.

– А ты что, другой бабе картоху эту отволочь должен был? – донимал Самойлов.

– Это не баба, Самойлов, а свидетельница. По делу.

Зайцев взялся за мешок. Он, казалось, был набит чугунными болванками.

– А бабец ничего.

– Картошку ей отсыпать не забудь! Зайцев! – крикнул с лестницы Крачкин.

– Да помоги мне хоть этот мешок с дороги отволочь.

– Куда?

– Самойлов, – позвал Крачкин с лестницы. Тот лишь повел головой на звук.

– Ты куда хочешь, Вася? Под лестницу? Сопрут, – убежденно заявил Самойлов. – Давай хоть в дежурку.

Они взялись за мешок вдвоем.

– А бабец ничего, – опять повторил Самойлов, пыхтя. – Хотя для нашего брата, конечно, слишком. Такие бабцы – им больше народные артисты, или вот как были нэпманы богатые, или начальники подходят. Не шобла типа нас.

– Самойлов!

– Да чего?

Коптельцев осторожно стукнул. Приоткрыл дверь. Так и есть – никого. Лабораторию перевели в подвал. От стены к стене тянулись шнуры. На них, прикрепленные обычными бельевыми прищепками, сохли фотографии – какие-то морды, очередной мордобой на рабочей окраине: на черно-белых снимках кровь казалась пролитыми чернилами.

Коптельцев быстро метнулся к картотеке. У Крачкина во всем был медицинский порядок. Негативы расставлены по датам. Коптельцев быстро нашел пальцами май. А дата? Дату он не помнил. В Ленинграде убивали. Вот и все.

Ладони вспотели. Что ж он так потеет, не лето ведь. А Зинка ноет: к врачу. К черту.

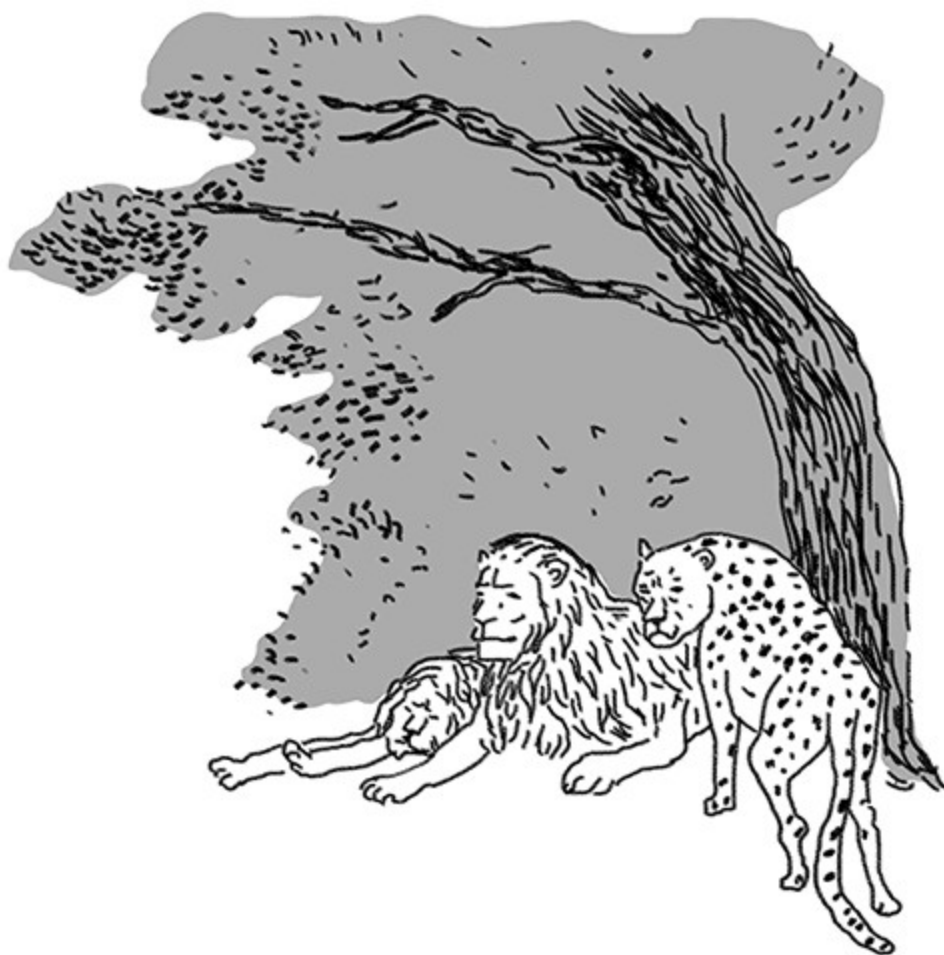
Наконец нашел нужное. На негативе занавеска казалась светлосерой. А женщина – чернокожей. Проклятый негр-коммунист, как будто без него всем тут головной боли мало.

Коптельцев нашел общий план комнаты. Быстро сунул негатив в карман. Проверил, глядя каждый негатив на свет, где еще попала в кадр злополучная этажерка. Вот, еще один: хорошо видна статуэтка – пастушка с цветами в подоле, кокетливо приподнятом фарфоровыми пальчиками. И явно пустое место рядом с ней.

Коптельцев сунул в карман и этот негатив. Быстро втокнул ящик обратно.

И вышел спокойно. Шел вальяжно. Бегают только те, кому есть чего скрывать. Чего бояться.

## Глава 8



Все пошло наперекосяк уже на пароходе. На пароходе, который – как предполагалось – нес шестерых юных американских коммунистов навстречу светлому будущему в стране, победившей классовые и расовые предрассудки.

Так думал Оливер Ньютон. Но так не думали остальные пятеро.

Самойлов сверился с блокнотом: Аманда Грин, Кэтрин Барроу, Майкл Браун, Патрик О’Нил и Мартин Макдонах.

– Местонахождение их нынешнее известно? – быстро поинтересовался Зайцев.

Самойлов кивнул.

– А Мартынов где застрял? – вдруг перебил Зайцев.

Крачкин дернул плечом.

– Пошел пострять и провалился, – ответил обычной присказкой Серафимов.

– Ладно. Давай что у тебя там дальше, Самойлов?

Тот продолжил.

...Вернее, они сами толком не представляли, что их ждет: будущее расплывалось в радужном тумане. Расовые предрассудки уж во всяком случае они не спешили стряхнуть с себя вместе с нью-йоркской пылью. Как оказалось.

Затрещал телефон.

– Да? – крикнул Зайцев.

– Проститутку привели.

– Молодцы, – буркнул Зайцев и повесил трубку.

– Ну, Самойлов. Они что, сами вот так все тебе и выложили? – не поверил Зайцев.

– Она. Аманда Грин.

– Интересно. Значит, ей это в порядке вещей показалось. Не секрет, значит. Вот и выложила как на духу. – Зайцев стоял перед окном. Но видел перед собой лишь пароход, океан. Мертвое лицо чернокожего.

– Американские нравы, – резюмировал Самойлов.

– Между прочим, товарищи, я читал в прессе, что в Америке негров до сих пор линчуют, – вставил Серафимов. Он, как всегда,

занимал диван. И, как всегда, исправно посещал комсомольские собрания.

Аманда Грин была теперь студенткой Ленинградского университета. Остальные американцы отправились из Ленинграда дальше – в Москву. «Интурист» дал Самойлову адрес товарища Грин, оказавшейся совершенно русской на вид девкой с коротко стриженными волосами. Только хороший трикотажный костюмчик был явно не советским. И еще акцент, конечно. В остальном товарищ Грин говорила по-русски довольно бойко.

«А Оливер Ньютон – нет», – отметил себе Зайцев.

– Она русский уже здесь выучила?

Телефон опять издал трель. Зайцев поднял и бросил трубку на рычаг.

– Говорит, еще в Нью-Йорке. Там полно евреев, которые бежали от царских погромов. У них и выучилась. Когда вела коммунистическую работу.

– Ну-ну, так и что на пароходе? – напомнил Зайцев.

Оливер Ньютон, по-видимому, решил, что для него светлое будущее уже наступило. Прямо на пароходе. Он пригласил потанцевать даму. Белую.

Свои же товарищи-коммунисты отозвали его в сторонку.

– Рыло начистили, в смысле? – уточнил Зайцев.

– Нет, рыло пока не трогали. Внушение сделали.

С этого же первого вечера отношения между американцами не то чтобы напряглись. Но чувствовалось, что теперь Ньютон плывет сам по себе, а остальные пятеро – сами по себе.

– Несознательные какие товарищи. А еще коммунисты, – заметил Серафимов.

– Американцы, – пожал плечами Крачкин. – Двести лет предрассудков в один миг не вытравить.

Ситуации, как назвала это Аманда Грин, продолжились и в Ленинграде. Пошли сигналы по партийной линии. Предубеждения белых американцев стали расползаться по студенческому коллективу, как это дипломатично назвал Самойлов. Советские студенты – вчерашние дети рабочих – оказались более восприимчивы к дремучим идеям, чем к прогрессивным. И в конце концов вмешалось отделение Интернационала. Оно, однако, продолжало смотреть на рабочий класс

идиллически – как на источник прогресса, а не предрассудков. Да и кто бы позволил смотреть не идиллически? Кто бы рискнул?

Со студентами провели мягкую беседу – ознакомили с положением чернокожих в Североамериканских штатах.

Четверых американцев от греха подальше перевели в Москву.

А Ньютона засунули на «Русский дизель». Чем только ухудшили дело. Аманда училась в университете, Ньютон там только числился. Ситуации загасили. Но они теперь тлели на глубине, как тлеет ленинградский торф. Чтобы однажды прорваться на поверхность пламенем пожара.

Зайцев понял, что Аманда Грин рассказала Самойлову не все.

Или она просто не все знала?

– Вот что, – сказал Зайцев. – Самойлов, собирайся в Москву.

– А я при чем?

– Как это ты при чем? Раз ты эту линию разрабатываешь, ты и поговори с остальными американцами.

Зазвонил телефон.

– Ну? – рассердился в трубку Зайцев.

Коптельцев.

– Вас где носит? Почему только Мартынов здесь?

– О, черт, – сказал Зайцев.

– О, черт. О, черт. О, черт, – отозвались Крачкин, Серафимов и Самойлов.

– Уже идем, – пообещал в трубку Зайцев.



Первое, что увидел Зайцев, войдя в кабинет Коптельцева, был зад. Мосластый зад, обтянутый юбкой цвета взбесившейся фуксии. Женщина была одета одновременно бедно и вульгарно. Она перегнулась над столом.

Коптельцев и Мартынов стояли у стола и наклоняли лица туда, куда показывала женщина.

– Вы чего? Начали уже? – спросил из-за спины Зайцева Самойлов.

Женщина выпрямилась, обернулась. Это была агент Савина. Она и была той «проституткой», которую, по словам дежурного, привели. Савина работала под прикрытием: была внедрена на Лиговку. Поговорить с ней, не разбивая легенду, можно было одним-единственным способом: арестовав ее. Задержание прошло весьма правдоподобно. Левый рукав жакета зиял свежей прорехой. Левый глаз Савиной начал опухать.

Зайцев поздоровался. Она только кивнула и снова наклонилась к столу, выпятив зад.

Зайцев подошел. На столе лежала карта города. Обе руки Савиной, как две каракатицы, унизанные дешевенькими колечками, лежали на ней. За столом сидел сам Коптельцев.

Карандашом он отметил место, куда Савина уперлась пальцем. Ноготь на пальце был грязным.

– Еще здесь. Здесь. И здесь, – быстро показывала она.

Палец водил по карте, словно спиритическая стрелка:

– Здесь. Еще здесь. Здесь.

– Моховая? – переспросил Коптельцев, вытягивая жирную короткую шею.

– Пестеля.

– Ясно, – Коптельцев быстро отмечал себе на листке бумаги. – По четверо на каждую точку? Что думаешь?

Савина покачала головой.

– Сюда если только, – она постучала грязным ногтем где-то возле Невского, то бишь 25 Октября. – Тут народ интеллигентный ошивается. Двое перекрывают черный и парадный. Двое трясут. Они сразу лапки поднимут – и бери их тепленькими. Тут четверыми

обойдешься. А здесь, – перевела она грязный палец через Неву на Выборгскую сторону, – дюжину надо, не меньше. Тут рабочие. Молодняк в основном. Тут сразу мордобой начнется.

Зайцев понял, что речь идет о подпольных борделях.

Операция была общегородской. Да, на дело об убийстве на Елагином, как и обещал товарищ Киров, бросали все ресурсы.

Три убитые женщины, предположительно паразитки трудового фронта, до сих пор не были опознаны.

– Слушайте, а не быстрее будет всех этих шлюх по отдельности перетягать на разговор? – спросил над картой Зайцев.

– Шлюх? – усмехнулась Савина. Зайцев ожидал длинной и яркой непечатной тирады – виртуозный мат агента Савиной был в числе ее прочих профессиональных доблестей.

– Проститутки, товарищ Зайцев, искоренены в Ленинграде, – строго произнесла она, как будто читая по листу на часе политинформации.

«И она тоже», – внутренне поморщился Зайцев. Агент Савина была доставлена в угрозыск не более часа назад, а уже вела себя так, как все. Ее уже просветили. И она уже провела между собой и Зайцевым непроходимую линию.

С быстротой, которая стоила жизни в ее деле, Савина прочла по лицу Зайцева – или просто догадалась, о чем он мог сейчас подумать. Брови ее чуть смягчились.

– Дело в том, – обычным, своим человеческим тоном заговорила она, – что проституция в обычном понимании действительно почти исчезла. Или полностью взята под контроль. Но есть и проститутки, так сказать, замаскировавшиеся. Днем это обычные работницы, служащие, домохозяйки. А вне работы, так сказать, предаются нетрудовому заработку. Ни татуировок. Ни кликух. Увидишь – никогда не скажешь.

– Сечешь теперь, Зайцев? – торжествующе подмигнул Мартынов.

– Похоже, наши девушки, – произнес Крачкин.

– Да, возможно. Похоже, – согласился Зайцев, глядя на многочисленные крестики, нанесенные Коптельцевым на карту.

Их было много. Удушающе много.

Карта города походила на схему кладбища.

Зайцев вспомнил: профилакторий с Подъяческой перевели в Лодейное Поле. Подальше от Ленинграда. И превратили в колонию строгого режима. И это новое веяние женщины распознали сразу. И приспособились к нему с чудовищной быстротой. Пока он, Зайцев, сидел в камере на Шпалерной, картина в городе полностью поменялась. Да, можно было сказать, что проституцию искоренили. Теперь она не пускала корни. Она расползалась вширь и по поверхности. Из притонов на Лиговке и вокруг Сенной – по обычным квартирам, комнатам, пристройкам. Масштаб операции впечатлял. Количество задействованных милиционеров тоже.

О цели операции рядовым ее участникам решено было не говорить. Убийство на Елагином не попало в газеты. Со всех свидетелей брали подписку о неразглашении. Была надежда, что в городе о нем так никто толком и не узнает.

Слухов, сплетен, паники – а в перспективе нехорошей славы своего детища, парка трудящихся, – товарищ Киров боялся больше всего. Зайцев его прекрасно понимал: в Ленинграде дурная репутация застаивалась. Если бы Елагин раз прослыл диким полем, он им бы вскоре и стал, притягивая, как магнитом, всякую шваль, хулиганье, подонков общества, а не пролетарских мамаш с колясками и улыбчивых трудящихся.

Коптельцев водил глазами по крестикам.

«Да ведь он не знает, что сказать!» – осенило Зайцева.

А Самойлов как ни в чем не бывало рассуждал:

– Если рассуждать логически, мужик идет к шлюхе чаще всего в выходной. Это раз. Два: у всех шестидневка, значит, выходные у всех плавают со дня на день. Что, веером будем накрывать? Один день в этом районе, другой день в другом. – И сказал сам себе: – Халтура.

Опять все зависли над картой. Зайцев слишком хорошо знал Крачкина – видел, что тот нарочно ждет: не желает прослыть слишком умным. Но пауза затянулась, и Крачкин разлепил губы:

– Половину распугаем, если за всеми зайцами сразу погонимся. Тут бы ударить в один район, затем подождать, время им дать – пусть успокоятся. Лягут на дно, потом снова всплывут. И тут мы опять ударим, – предложил Крачкин.

На взгляд Зайцева, все это выглядело как рыбалка рваной сетью.

Крестики, казалось ему, образовывали узор. Закономерность. Он только не мог понять какую.

– Суббота, – решительно предложила Савина. И объяснила: – Шестидневка шестидневкой, а старые привычки держатся. Народ до сих пор норовит залить за воротник в воскресенье, рабочий это день или выходной – не важно. И если поход по шляхам обдумывает, то пойдет, скорее всего, в субботу.

– Я думаю, – наклонился над картой Зайцев: он хотел показать остальным, что увидел.

– А да, тебе суббота неактуальна, – добродушно перебил его Коптельцев. А все остальные посмотрели – словно давно ждали, когда же Коптельцев это скажет. «Ишь ты, уже, значит, не новая метла», – ядовито подумал Зайцев.

– То есть?

Коптельцев стукнул ящиком стола и перебросил Зайцеву твердый картонный билетик.

– Радуйся: с комфортом поедешь. Как буржуй. Ночным мягким.

Зайцев посмотрел на Самойлова. Тот изучал карту.

Ночным мягким в Москву ездили в основном артисты, иностранные туристы, ответственные работники, командировочные.

– Зачем? – Зайцев взял билет: купе первого класса.

– То есть? – словно передразнил его Коптельцев. – Коммунистов американских опросишь. Ты же ведешь дело.

Но показывал Коптельцев совсем иное: что сам перехватил руль.

– Свидетели важные. Кто как не ты?

– А второй билет? – спросил Зайцев.

– Ну ты, Зайцев, вконец обнаглел, – засмеялся Коптельцев. – Второй билет. Без попутчиков в купе, знаешь ли, ездят только недобитые советской властью нэпманы. Даже писатель товарищ Алексей Толстой ездит по одному билету.

– Сомневаюсь, – тихо пробормотал Крачкин.

– Я хочу, чтобы Нефедов со мной поехал, – с вызовом ответил Зайцев. Обвел их взглядом. Да, он намерен придерживаться правил товарищества. Даже если они готовы повернуться к нему спиной; уже повернулись.

– А это без надобности, – неожиданно ответил Коптельцев, глядя Зайцеву в глаза.

Они все смотрели Зайцеву в глаза.

– Товарища Нефедова я перевел в архив, – и добавил выразительно: – Он там незаменим.

– Ребята, кончай болтать, – нарушила затянувшееся молчание Савина. Она явно чувствовала себя актрисой в чужом спектакле.

– Да, пора товарища Савину на улицу возвращать, к ее прямому заданию, – согласился Коптельцев и кивнул Мартынову.

Савина отклонилась.

– Да ну тебя, Мартышка. ...Самойлов, давай!

Выставила подбородок, прикрыла глаза.

Самойлов бережно примерился – и со всей дури хряснул кулаком ей в лицо. Остальные едва успели подхватить вскрикнувшую Савину.

Зайцев молча взял билет, повернулся и вышел вон.

Вернулся к себе в кабинет. Запер дверь. Набрал код сейфа. Папка с делом Фаины Барановой лежала там, где он вчера ее оставил.

Зайцев шмякнул ее на стол, поверх остальных бумаг. Принялся рывком перелистывать страницы, быстро пробегая глазами в поисках нужного рапорта.

Странно.

Он был уверен, что рапорт Нефедова был подшит к делу.

Взял фотографии с места преступления – из комнаты Барановой. Стал отбрасывать одну за одной. Иногда пристально всматривался в белесое пятнышко, поднося снимок ближе к глазам. Но и эти отбрасывал.

Тщетно. Ни одно пятнышко не было фарфоровой статуэткой. Но ведь Крачкин совершенно точно снял общие планы места преступления. Да и детальные, с этажеркой.

Ни рапорта, ни нужных фотографий в деле Фаины Барановой теперь не было.

У Зайцева похолодели ладони.

Он сел на стул, тупо глядя на раскрытые страницы и разбросанные фотографии. Рука потянулась к телефонной трубке. Опала.

А что толку? Что он скажет? Товарищи, кто изъял и скрыл материалы по делу?

Теперь даже не доказать, что такие материалы в деле Барановой вообще были.

Но кто? Кишкин? Самойлов? Любой мог.

Видно, здорово тряхнул их товарищ Киров со своим пламенным коммунистическим желанием получить ясные ответы. Да поскорее.

Зайцев понял, что ему больше не верят. Не верят уже профессионально. Думают, Зайцев тащит следствие в сторону. В тупик. Только бригаду подставляет. Понимают: в случае неудачи товарищ Киров одним лишь Зайцевым не насытится. Опять вспомнится всем дело Петржака. Опять полетят головы. Ведь верно. Что терять какому-то Зайцеву – он и так почти покойник. А Коптельцев? Вот вам и новый начальник угрозыска:

опростоволосился. Не справился, мол, на новой должности, порядок не навел, не оправдал доверия. Терять свой пост Коптельцев явно был не готов. В лучшем случае – пост. Товарищ Киров с врагами не церемонился.

Коптельцев войти и забрать материалы мог очень запросто. Зайцев вдруг представил себе это.

Ему стало тошно.

Он придвинул к себе фотографию убитой. Фаина Баранова в кресле: цветочек, метелочка, усталое, навеки успокоившееся лицо. Никому не больно-то интересная при жизни, она так же мало интересовала окружающих и после своей трагической, жестокой смерти. Бедняга.

Фарфоровый пастушок пропал из ее комнаты – это факт.

Но факт единственный.

Кто притащил пастушка на Елагин?

Убийца Фаины Барановой?

Чернокожий коммунист Оливер Ньютон?

А что, если Оливер Ньютон и есть убийца Барановой? Советский Отелло.

Но кто тогда убил самого Ньютона?

Поговорить с Фирсовым следовало во что бы то ни стало. Он единственный на «Русском дизеле», кто мог объясниться по-английски, а значит, говорил с американцем.

«Mary had a little lamb», – внезапно запело в голове. Зайцев на миг увидел старательные губы, выпевающие слова. Губы и валик волос надо лбом, как носили тогда, давно-давно...

Зайцев сидел за столом, вертя в руках карандаш. Пытался сосредоточиться. Пристальнее взглянуться в туман: туда, куда уводили расходящиеся дороги версий.

И не мог. В голове его, как на заевшей пластинке, крутилась лишь английская песенка про Мэри и ее барашка.

Дело Фаины Барановой теперь касалось только его одного. Зайцев чувствовал, что должен ей это.

А песенка все зудела в голове:

What makes the lamb love Mary so?  
The eager children cry.

Oh, Mary loves the lamb, you know.  
The teacher did reply.



– Так, а картоху свою забирать думаешь, товарищ Зайцев? Она корни тут уже пустила.

Черный мокрый город в раме двери казался особенно неприветливым. Дождь стекал с козырьков, лился с зонтов. Жирно блестел асфальт, шуршали автомобили, оранжевые окна ласково подгоняли тех, кто был еще не дома. Тех, кого дома никто не ждал, их свет заставлял еще острее почувствовать одиночество.

Зайцев постоял в дверях.

– Думаю, думаю, Свиридов, – успокоил он дежурного.

Быстро взбежал по лестнице обратно в свой кабинет. Нашел блокнот, нужную страницу, нужный адрес, торопливо выдернул листок и сунул в карман. Проходя мимо кабинета Коптельцева, он услышал за дверью шумные голоса. Тянуло табачным дымом: городская операция планировалась с размахом, вбирая в себя все новых и новых участников.

– А вон мешок твой, в углу, – дежурный кивнул туда, где притулился мешок. Он явно успел несколько обмякнуть: уже не выглядел таким тугим и полным. Дежурный заметил взгляд Зайцева, понял:

– Подтибрили малость на ужин, – честно сказал он.

– Да о чем ты, Свиридов? – дружески воскликнул Зайцев. – Еще возьми!

Дежурный отнекивался недолго. Запустил обе руки в мешок, потом еще, прижимая картофель горстью к животу.

– Кончай миндальничать, – распорядился Зайцев. – Лавочку скоро закрою.

Дежурный выдвинул ящик стола, переложил папки и газеты прямо на пол. В пустой ящик со стуком посыпался картофель.

– Сыпь, сыпь. Полный мешок мне все равно одному не допереть.

Дежурный заржал.

– Пока, Вася. Мерси за картоху.

– Бывай, Свиридов.

Зайцев закинул похудевший мешок на спину и вышел вон.

Дождь сразу принялся за него. От мешка потянуло рогожей и землей. Соваться с ним в переполненный трамвай нечего было и думать.

Мешок постепенно наливался тяжестью, ладони горели. Намокшую кепку хотелось сорвать с головы и метнуть подальше.

На Морской Зайцев перехватил мешок одной рукой, другой выудил из кармана бумажку. Проверил номер дома и квартиры. Квартира оказалась на самом верхнем этаже. Зайцев несколько раз нажал кнопку. Лифт не отозвался. Видимо, дворник отключил его – надоело убирать за новыми пролетарскими обитателями дома, для которых лифт был вроде туалета. Зайцев потопал на шестой этаж пешком. Двери квартир глядели на него множеством почтовых ящиков, табличек с именами жильцов: с десяток на каждой двери.

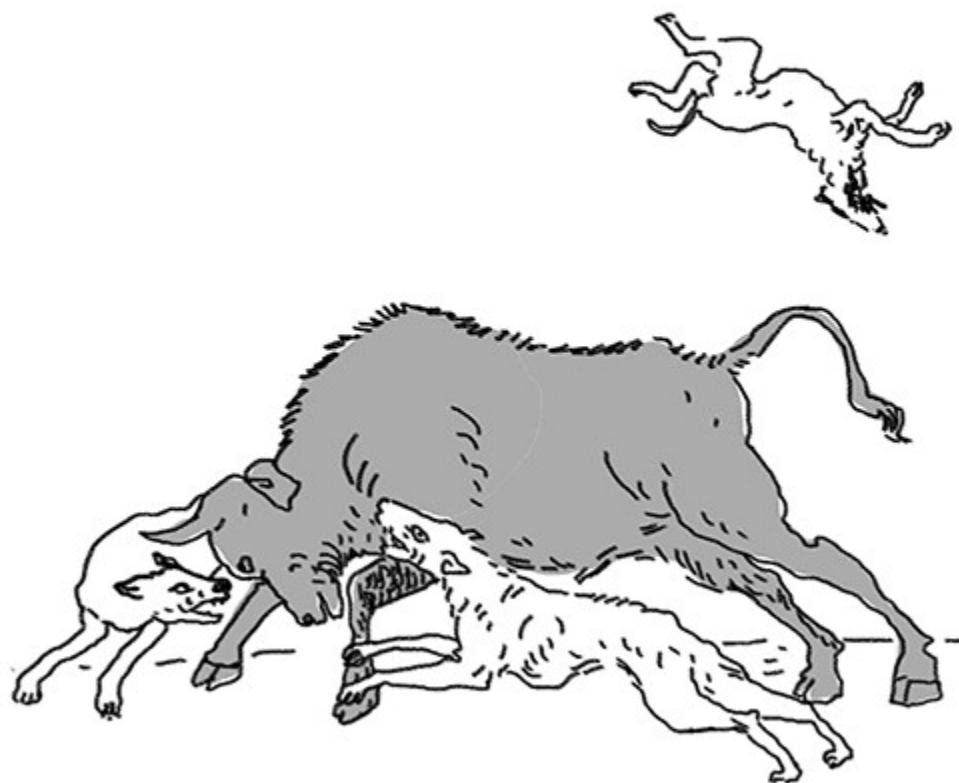
Наконец Зайцев скинул мешок с нывшей спины. Нашел табличку с нужным именем. Она была картонной. Чернилами было выведено: «три коротких». Все вместе таблички эти являли типичную азбуку Морзе типичной коммунальной квартиры со всеми ее позывными: три коротких – один длинный, два длинных – короткий, длинный – во всех мыслимых комбинациях.

Зайцев коротко нажал три раза на медную пуговку звонка. Послушал. Тихо. Может, нет дома. «Глупо», – только и успел подумать он. Уже собрался уйти. Дверь внезапно щелкнула, открылась. Блеснула цепочка. В темноте сияло лицо.

– Вы? – удивилась Алла Петрова. Она явно пыталась и опять не могла вспомнить, как его зовут.

– Я же вам обещал картошку.

# Глава 9



Ленинградский вокзал в Москве оказался почти точной копией Московского в Ленинграде, так что еще несколько минут пассажиру могло казаться, что он никуда не приехал, а просто провел ночь под стук колес и храп попутчика.

Воздух на перроне пах гарью, но приятно освежил Зайцева после ночи в жарко натопленном купе. Разморенные пассажиры высыпали из вагонов. У большинства были помятые лица. Зайцев вспомнил звон стаканов и пьяную болтовню за стенкой своего купе. Очевидно, большинство воспользовалось первой ночью в командировке для изнурительного «отдыха». Попутчиком Зайцева, к счастью, оказался необщительный толстяк, который повесил на крюк пальто и шляпу, задвинул вниз учрежденческий портфель из свиной кожи, подозрительно покосился на Зайцева с его сумкой от противогаза, в которой помещался весь багаж: явно соображал, не перевести ли бумажник для безопасности под подушку.

– Успокойтесь, товарищ, я из милиции, – равнодушно сказал Зайцев, затылком ощущая лакированную прохладу стенки купе. И снова прикрыл глаза.

Толстяк смущенно пробубнил что-то извиняющееся. Быстро переоделся во фланелевую пижаму и завалился спать.

От жары Зайцев несколько раз просыпался ночью. Мимо проносились черные столбы. В голубом свете толстяк, с головой укрывшийся ломкой крахмальной простыней, казался айсбергом. Мысли донимали Зайцева. Они были темные, быстрые и бесформенные, как тени, криво проносившиеся по стенам купе. В конце концов стук и качка убаюкали его. Очнулся Зайцев от того, что стук колес прекратился.

Толстяк уже сверкал вымытыми прилизанными волосами. От него сильно пахло мылом и мятным зубным порошком. Не глядя на Зайцева и его бедную залатанную одежду, он так же молча переоблачился в доспехи советского управленца и быстро смешался с толпой на перроне: пассажиры ленинградского поезда почти все были в шляпах, почти все несли портфели. В этом потоке были почти одни лишь мужчины чичиковского возраста и округлости.

На выходе из вокзала уже сомнений не было: Москва.

Огромная чаша площади трех вокзалов кишела самым красочным людом. В Ленинграде ходили медленно: даже заводские рабочие, подчиняясь общему ритму, фланировали. В Москве – бежали. Зайцева быстро подхватило и понесло, отволокло на несколько метров, прежде чем он сумел вырваться и выбраться из потока. Он отошел к самой стене вокзала.

Пассажиры ленинградского поезда – безошибочно опознаваемые по портфелям, шляпам и озабоченно-деловому выражению, которое они придали своим лицам, – тем временем устремлялись к автомобилям московского такси, ведомственным «виллисам» и «паккардам». Зайцев стал высматривать, кого бы спросить в толпе, как отсюда дойти до Лубянки. Пешком, конечно. Московских трамваев он все равно не знал, да и на город взглянуть было любопытно.

Но тут к нему подошли двое в фуражках с голубым верхом. Это так напомнило ему арест, что на миг Зайцев ощутил холодный кулак под желудком. Оба взяли под козырек.

– Товарищ Зайцев? – уточнил старший по званию. Получил кивок и тотчас показал рукой: – А мы вас встречаем. Пожалуйста.

Имя Кишкина ни разу не прозвучало. Гадая, не московская ли эта манера арестовывать, Зайцев прошел с ними. Прохожие быстро зыркали на него. И тотчас прятали глаза. Человек в бедной гражданской одежке с двумя добрыми гэдэушными молодцами по бокам не мог быть никем иным, как арестованным. Зайцев сел в черный автомобиль. Дверца хлопнула. Страх все сидел где-то под желудком.

Машина летела по широкой столичной улице. Оба молодца приветливо молчали, готовые в любой момент рассыпаться объяснением, и лишь добродушно поглядывали на него. Цвет лица у обоих был не питерский – яркий, здоровый.

Автомобиль лихо вырулил на Лубянку.

– Это к Кишкину. Товарищ из Ленинграда, – вместо пропуска бросил молодец на бегу в окошко. Часовой кивнул. Железные ворота поехали в разные стороны. Автомобиль вкатил.

Первым делом Зайцева отвели завтракать. Столовая тоже была новенькая, приветливая. И очень-очень сытная. Оба молодца поели за

компанию: перебрасываясь шуточками и всюду заигрывая со статными официантками в кружевных наколках.

Потом долго вели его коридорами по пухлым коврам. Осенний день в Москве был рыже-солнечным. И Зайцева не покидало ощущение, что он вовсе не в главном замке ОГПУ, а в загородном санатории. После сытного завтрака и беспокойной ночи в поезде клонило в сон. Зайцев подумал, что если он заявит своим спутникам, что настроен поспать, то его в самом деле отведут в спальные чертоги. Он бы не удивился.

Прошли приемную. Прошли двойную, обитую звукоизоляцией дверь. Бывший революционный матрос и питерский чекист первых послереволюционных лет, Кишкин взлетел высоко.

– Зайцев! – радостно воскликнул он. – Чего уставился, как неродной?

Молодцы бесшумно испарились. Так же бесшумно сомкнулись жирно смазанные двери.

– Сморю, не вырос ли второй глаз, – ответил Зайцев, обнимаясь.

Оба хлопнули друг друга по спине. Кишкин был все так же по-питерски худ. Насколько Коптельцев походил на какого-нибудь бухгалтера, настолько Кишкин отвечал всем стереотипам о следователе: он был поджар, сух и энергичен, как легавая собака.

Кишкин приподнял черный кожаный кружок и показал, что глаз все так же пуст.

– Слушай, ты прямо с поезда? – радостно закричал он. – Мои соколы тебя голодным притащили? Сейчас поправим. – И уже снял трубку.

Зайцев заверил, что соколы его накормили.

Кишкин нажал на рычаг, но трубку не повесил.

– Видок у тебя, Зайцев. Питерский шик. Такое ощущение, что тебя здесь внедряют в притон собираются. Надо поправить.

И принялся накручивать диск телефона.

– Страшно рад, что ты... Алло. Кишкин. Человечка тут одеть надо. Да, полностью. Физкультурной комплекции, роста... – он глянул на Зайцева. – Роста метр восемьдесят пять примерно.

– Какой размер обуви? – спросил он, прикрыв трубку ладонью. Зайцев показал малиновые американские ботинки имени товарища Кирова.

– Куда ты в этих бальных туфельках? – удивился Кишкин. – Тут зима скоро. Да-да, обычная лапа. Не знает он размера. Сами разберетесь.

Он брякнул трубку на рычаг.

– Идем.

Телефон издал трель.

– Кишкин. Да, прямо сейчас.

Он увидел, что Зайцев глядит с сомнением.

– Машина внизу. Так что обернемся туда-сюда пулей.

В машине Кишкин болтал без умолку. Голос его был таким полновзвучным, таким веселым, что Зайцеву это показалось чересчур. Он почти не успевал ничего сказать. Но Кишкин то ли не замечал, то ли не хотел замечать.

– Арбат мне нравится, – вещал он. – На Питер не похоже вообще. Сплошные коленца, переулочки. Но мило, мило. Только до управления далековато. А впрочем, на машине не важно. Но! Арбат – это старая застройка. Понимать надо. Есть еще новые дома, специально для сотрудников. Центральное отопление, паркет во всех комнатах, ванная, горячая вода – все дела.

Зайцев опять не успел вставить слово.

– Машина, да. Тут к машине привыкай. Это не Питер, где все пешком бегает. Тут расстояния другие, размах другой. Столица!

И снова Зайцев ничего не успел сказать.

– Снабжение хорошее. Паек. Рестораны опять-таки. Общепит поставлен. В Питере не то. Тут, знаешь, народ поесть умеет по-русски. А мадам Зайцева в проекте имеется? – быстро поинтересовался он и тут же засмеялся.

Зайцев отрицательно покачал головой.

– Напрасно. Семейный и моральный облик сотрудников имеет большое значение.

– А мадам Кишкина? – Насколько Зайцев помнил, у этого аскетичного солдата революции просто не было ни времени, ни свободной зоны в мозгу, чтобы думать о прочном быте, семье. Быт и семья для Кишкина были мещанством.

Вместо ответа Кишкин захохотал.

«Что это ржет он чуть что», – недовольно подумал Зайцев. В прошлые, питерские годы он едва мог припомнить, сколько раз ему

доводилось увидеть, как Кишкин улыбался. Да и то: улыбка его была ядовитой, ехидной и относилась обычно к поверженным врагам трудового народа и советской власти.

– Представь, имеется.

И не успел Зайцев рта раскрыть, как тот уже воскликнул:

– А какая в «Елисейском» ветчина! – и кивнул подбородком в окно: мимо проносилась Тверская улица с ее магазинами. Местный Невский проспект. НЭП облез и с Москвы, но там, где в Питере проступили взамен бедность и ветхость, в Москве виден был какой-то новый уют, сытость. Зайцев Тверскую сразу возненавидел.

Наконец приехали. Кишкин позвонил в глухую, ничем не примечательную дверь. Их впустили, и только внутри Зайцев увидел опрятную табличку: «Распределитель». Простым смертным он не предназначался. Здесь никогда не было очередей, а ордера принимали как бы невзначай – как плату в дорогом ресторане: как будто чтобы не обидеть важных клиентов. У зеркала стояла дама и кисло оглядывала свое отражение через спину. С плеча свешивалась черная лиса. Две служащие терпеливо ожидали вердикта. К даме быстро подошел директор, что-то шепнул. Она надменно обернулась. Но при виде сухощавого одноглазого человека в форме ОГПУ и со знаками отличия, говорившими о высоком звании и чине, как-то сдулась. Служащие, еще недавно лебезившие перед дамой, почуяли смену магнитного притяжения и ловко и твердо задвинули ее куда-то за занавески, а потом и вон отсюда.

– Кого одеваем? – к ним подошел лысоватый человек с сантиметром на шее. Он приветливо переводил взгляд с Кишкина на Зайцева. Оба были высокими, оба были «физкультурного сложения».

– Догадайся, Аркаша, – ответил, улыбаясь, Кишкин.

– Одну минуточку, – щелкнул пальцами тот.

Тотчас вокруг Зайцева забегали. Лента сантиметра обнимала его то тут, то там. Выносили костюмы, рубашки, джемперы. В примерочной Зайцеву стало неловко за свое ветхое, много раз стиранное и чиненное Пашей исподнее. «Питерский шик», – вспомнил он презрительные слова Кишкина. С каких это пор Кишкин стал щеголем? А мужем? Новое белье приятно холодило тело.

– Ну все. Прямо бери и женись, – всплеснул руками Кишкин, когда Зайцев вышел из примерочной.



– Вы довольны, товарищ? – заискивающе вился Сантиметр. – Сукно английское, высший сорт.

Зайцев кивнул. Ему было не по себе. Новый костюм казался жестким, как двустворчатый шкаф.

– Люблю физкультурное сложение, – пел Аркаша, одергивая на нем одежду, снимая невидимые пылинки. – Все само садится. Никаких хлопот. Вот с товарищами кабинетной работы, конечно, повозишься иной раз.

Барышня уже держала наготове пальто. В руках у другой были кашне и ладная шерстяная кепка.

– Пальто еще зимнее надо. И сапоги. И шапку зимнюю. И перчатки, – распоряжался Кишкин.

– Все изобразим в лучшем виде, – кивнул Сантиметр.

К ногам Кишкина вскоре положили два свертка в суровой бумаге. Один побольше, один поменьше.

– А это что? – ткнул носком сапога Кишкин тот, что поменьше. Зайцев впервые заметил, что сапоги у него новенькие, ослепительно блестящие.

– Это прежнее пальто-с, – словно извиняясь, пояснил Сантиметр.

– Смеешься, что ли? В печь, – распорядился Кишкин.

Завтрак все еще плотно стоял в желудке. Зайцев наотрез отказался от «второго завтрака».

– Хоть кофе выпьем, – не отстал Кишкин. – В одиннадцать я пью кофе в «Метрополе». Этого даже конец света не может изменить, уж извини. – И сказал шоферу: – В «Метрополь».

«Метрополь» был роскошной гостиницей до революции, превратился в общежитие со столовой после. А теперь, как с изумлением отметил Зайцев, начал отвоевывать себе прежнее положение.

Немолодой официант, казалось, пересидевший турбулентное время, матово блистал старорежимными, дореволюционными манерами. На синеватую от крахмала скатерть поставил серебряный поднос с кофейником. Тоненькие чашечки светились насквозь в солнечном свете. Коньяк в хрустальном графине казался янтарным. Кофе дымился. В окно был виден Большой театр. Кишкин заметил взгляд Зайцева.

– А вечером в Большой пойдем! В ложу, – он приподнял рюмочку. Опрокинул, показав тощий кадык.

«Как-то многовато московского гостеприимства», – подумал Зайцев. Но ему было так радостно, что хоть кто-то из его бывших товарищей не косится, не шарахается, не замолкает при его появлении, что он ответил Кишкину широкой улыбкой:

– Отлично. Надо культурно расти. Только сперва...

– Фу, какой ты скучный, – Кишкин откинулся в кресле, закурил. Табак был душистый, явно заграничный. Кишкин по-своему понял его взгляд:

– Хочешь? Уж не питерское сено курить.

– Бросил.

«Да что он все завел: питерский, питерский», – подумал Зайцев.

– Да ну?

– А я, Кишкин, все еще ногами за бандитами бегаю. Мне, знаешь, дышалка своя в исправности нужна.

– А, это толстый намек на тонкое обстоятельство, что я тут обабился, в кабинете засел, – Кишкин сквозь синеватый дым прищурил единственный глаз. И вдруг сказал: – Кстати, ты знаешь, что в Большом танцует наша питерская Семенова сейчас? Заскучаешь по болотам – так сразу и в театр: ностальгию как рукой снимет.

И Зайцев понял: Кишкин нарочно раскидывал перед ним московскую скатерть-самобранку. Демонстративно показывал щедроты своего нового ведомства. Он звал Зайцева в Москву. К себе, в ОГПУ. Интересно, знает он, что его ведомство заводило на Зайцева дело?

– Что ты вытаращился так? – спросил Кишкин.

И подлил кофе.

– Вообще, знаешь, спешить с вердиктом не стоит. Москва не такой противный город, как поначалу кажется некоторым товарищам из Ленинграда, – неожиданно мягко добавил он. – К ней присмотреться надо. Ты присмотришь.

Зайцев поспешно отвел глаза.

– Кишкин, мне просто необходимо закрыть это дело. Понимаешь, не глухарек в архив спустить, а именно поймать убийцу Барановой. Я просто должен.

Кишкин помолчал. Зайцев знал: он понимает.

– Баранова эта... знакомая какая-нибудь? – деликатно сформулировал Кишкин.

Зайцев покачал головой:

– Я просто должен.

– Кому? – задал ненужный вопрос Кишкин.

– Себе, – ответил Зайцев, хотя знал, что ответ не требуется. Знал: Кишкин понимает.

– Только это последнее дело, – пообещал ему Зайцев. Что он, в самом деле, терял в Ленинграде?

Кишкин был не слишком доволен, но слишком уж хотел, чтобы Зайцев перебрался в Москву поскорее. Он дернул какой-то там административный стоп-кран. Машина ГПУ притормозила, затем завертелась в обратном направлении.

Зайцев знал, что зубчики ее вращаются, пока он приближается к Ленинграду, и поэтому ночь в пути спал на сей раз хорошо.

В утренней темноте Зайцев нетерпеливо прыгнул на перрон. Темными тенями маячили мимо пассажиры. Воздух был теплым и влажным: вдруг откуда ни возьмись на Ленинград дунуло атлантическим теплом. Новое зимнее пальто сразу стало неповоротливым и громоздким, а зимние ботинки отяжелели и раскалились. Командировочные текли и текли: опять портфели из свиной кожи, опять опухшие, бледные после ночного «отдыха» лица. Зайцев двигался в сивушном облаке их дыхания.

Американские студенты, с которыми он поговорил в Москве, дружно изображали буддийских обезьянок. Одна – ничего не слышит. Вторая – ничего не видит. Третья – ничего не скажет.

Аманду Грин, впрочем, они дружно называли «девушкой с воображением». Все трое подчеркнули, как многое изменил в их взглядах Советский Союз. Тем не менее из мелких недомолвок было ясно, что Аманда Грин рассказала правду.

«Ясно», – только и сказал Зайцев. Расколоть каждого из троих было бы нетрудно. Они просто не интересовали его. В драме Оливера Ньютона они были горсткой злобных статистов. Он с нетерпением ждал нового допроса Фирсова.

Это ради него Кишкин сделал несколько звонков.

– Товарищ Зайцев! – вскрикнул женский голос и словно оборвался.

Зайцев обернулся: к нему, ступая по влажному перрону в легких туфельках, шла Алла. Руки ее были чем-то заняты.

– У нас неожиданно потеплело. И я подумала... – она запнулась. Несмело протянула то, что держала в руках.

– А вы уехали в зимнем, – сказала она. – И я подумала...

Она снова запнулась. Дорогое пальто Зайцева бросалось в глаза. А в руках у Аллы был старенький, но прочный макинтош на клетчатой английской подкладке.

– И отлично подумали! – воскликнул Зайцев. – Я чуть не изжарился в этом ящике.

Как всякая обычная ленинградская пара, на людях они друг к другу обращались на «вы».

Он быстро скинул новенькое, но теперь казавшееся дубовым пальто. Сунул руки в прохладные рукава. Алла быстро и ловко свернула его пальто – движением, привычным ей на работе, когда после спектакля укладывать приходится несколько десятков костюмов.

– Зайцев! Вон ты где! Карета подана!

Зайцев издали увидел у начала перрона Серафимова.

Алла тотчас словно окаменела.

– Ничего страшного, – хотел было успокоить ее Зайцев.

Алла не протянула ему даже руки. Обернулась и, как чужая, как незнакомка, молча пошла по перрону обратно к зданию вокзала, из пасти которого струились потоки людей, дышало светом и слегка вонючим теплом.

Серафимов помахал рукой, думая, что его не заметили. Зайцев махнул в ответ.

Он полагал, что Алла как-то слишком дичилась. Да к чему было говорить, если и так было понятно, что вечером они встретятся. Тем не менее Зайцев почувствовал себя задетым.

– Да вы присядьте, товарищ. Ноги-то не казенные, – ласково предложил Зайцеву дежурный.

– Ничего.

Стены здесь были до половины выкрашены охрой. Никакого щегольства – все административное щегольство осталось за закрытыми дверями в кабинетах. Свет ламп под металлической сеткой казался все желтее. Потолки все ниже. Зайцев почувствовал, как кровь шумит в висках.

– Где же задержанный? – нетерпеливо спросил он дежурного.

– Да ведут его. Может, чаю вам?

Зайцев не ответил. Голубой верх фуражки дежурного снова наклонился над бумагами.

Так странно. Несколько месяцев назад он сам входил в это самое здание с руками за спиной.

– Товарищ Зайцев?

Скрипя новенькими сапожками при каждом шаге, вошел офицер ОГПУ:

– Идемте.

Этого горбуна с перхотью на плечах новенького френча Зайцев уже видел. Такого забудешь. Горбун приветливо махнул узкой обезьяньей рукой. Зайцев пошел следом. От горбуна душно пахло одеколоном. Никак не мог вспомнить его фамилию: следовательно... следовательно... Никак. Это был следователь, который вел дело Фирсова.

Они прошли лестницей, коридором, лестницей.

– Тесновато у нас. Но скоро переедем в новое здание. На проспекте Володарского, – светски болтал горбун.

Опять коридоры. Страшно знакомые. Зайцеву казалось, что с каждым шагом стены делаются все уже. К счастью, остановились; горбун уже отпирал железную дверь.

– Чаю, может? – спросил он.

– Нет, спасибо, – выдавил Зайцев. Есть или пить в этих стенах казалась ему невыносимым. Вспомнил фамилию.

– Спасибо, товарищ Апрельский.

Посреди кабинета на табуретке спиной к нему сидел, скрючившись, человек.

– Четверть часа и ни минутой больше, – напомнил горбун и вошел следом. Видимо, магия имени Кишкина распространялась только на чай.

Зайцеву это не понравилось.

– Я допрашиваю товарища Фирсова в рамках уголовного дела, – напомнил он горбуну. – ОГПУ...

При звуках голоса Фирсов дернул головой, но не повернулся.

– Хотите говорить – говорите. Не нравится – мы вас не задерживаем, – горбун облизал свои шелушащиеся губы. Прошел вперед и плотно уселся за столом. Зайцев стоял у Фирсова за спиной. Свободных стульев в кабинете не было.

Зайцев обошел Фирсова, тот медленно поднял подбородок. Зайцев оторопел. На лице у Фирсова была свежая ссадина. Нос разбит. Губа тоже. Фирсов сидел, бережно держа на весу собственное тело. Как человек, у которого ушиблены внутренности. Одним, незаплывшим глазом он посмотрел на Зайцева. Мелькнула искра. Узнал. Разбитые губы дрогнули.

– Товарищ Фирсов, – начал Зайцев.

– Гражданин. Гражданин Фирсов, – поправил горбун.

– Я хочу поговорить с вами об Оливере Ньюtone. Помните ведь такого? Имейте в виду, беседа официальная. Допрос свидетеля называется.

Фирсов молчал. Зайцев видел, как взгляд его постепенно прояснялся, твердел.

– Чего молчишь? – встрял горбун.

Фирсов прочистил горло.

– Я убил Оливера Ньютона, – отрывисто просипел он.

Глазки горбуна метнулись. Секунду они с Зайцевым глядели друг на друга. Оба, похоже, были равно поражены.

– Это я убил Оливера Ньютона! Да! – Фирсов пытался кричать, но из горла вырывался только сип. – На почве ревности.

– Я все подписал. Я еще подпишу. Я убил!

Горбун не спеша принялся наливать воду из графина в стакан.

– Гражданин Фирсов, – терпеливо начал Зайцев.

– Не веришь мне? Это я! Я!

– Расскажите по порядку, как убили. Все свои действия.

– Это я! Сперва его! Потом ее! Потом его! Всех!

Горбун быстро плеснул из стакана воду Фирсову в лицо. Крик оборвался.

– Расстрелять тебя, сука, всегда успеют. На тебе диверсионно-вредительского материала целая папка, – спокойно заметил Апрельский. – Тебя товарищ из милиции по делу спрашивает. Ты тут ваньку не валяй. Продолжайте, товарищ, – кивнул он Зайцеву.

– Нет. Этот разговор мы продолжим в уголовном розыске, – твердо оборвал его Зайцев.



Идея чрезвычайно не понравилась товарищу Апрельскому. Один звонок Коптельцеву. С четверть часа ожидания. А затем уже товарищу Апрельскому объяснили прямо из Смольного, на какое содействие уголовному розыску с его стороны рассчитывают.

Уши товарища Апрельского сделались малиновыми, когда он повесил трубку.

Приезд свидетеля со Шпалерной на Гороховую переполошил всех. Вернее, теперь уже не свидетеля – подозреваемого.

Сам Фирсов сидел на стуле прямо и глядел перед собой решительными глазами. В них Зайцев опять видел волю, самообладание, ум, которые заметил в нем при их первой встрече. Они словно бы возвращались к Фирсову с каждым глотком горячего чая, который ему дали перед допросом. Кончик носа у него покраснел, на нем стала собираться прозрачная капля, Фирсов промокнул ее рукавом. Снова выпрямился.

Коптельцев захотел присутствовать при допросе. Это был прорыв в деле – все понимали. Зайцев по-прежнему чувствовал холодную стену между собой и бригадой. Но теперь сквозь нее впервые проходили теплые потоки. Стена будто начала подтаивать. Да, они держались с ним все еще настороженно, как стараются держаться подальше от больной бешеной собаки. Но вернулась она с добычей в зубах – это факт.

Если не дружбу, то уважение он себе вернул.

Фирсов назвал свое имя, год рождения. Было слышно, как шуршит карандаш по бумаге, – Серафимов вел протокол. Крачкин держал во рту папиросу, которую так и не зажег. Самойлов глядел исподлобья. Коптельцев выглядел так, будто он тут вообще ни при чем. Всем им Фирсов отвечал взглядом холодным и ясным. Взгляд этот не понравился Зайцеву.

– Я убил Ньютона, чего тут болтать.

– До этого мы еще дойдем, – пробормотал Зайцев. Взял листок из дела. – Когда и как вы познакомились с гражданином Ньютоном?

– Не знаю когда. Не помню, – раздраженно ответил Фирсов.

– Как это не помнишь? – встрял Самойлов.

– А так. Я не придавал этому важности. «Когда». Он на завод прибыл. На работу поступил. Вернее, был направлен. Тогда и познакомились. В документах все есть. В отделе кадров. Мне это помнить ни к чему.

Зайцев видел, что Крачкин вынул изо рта папиросу и теперь мусолил ее в пальцах. Он внимательно смотрел на Фирсова. Зайцев испытующе глянул на старого следователя: тот явно был поглощен своим ходом мыслей. «Penny for your thoughts», – вдруг громко сказал в голове у Зайцева давний, знакомый, забытый, внезапный голос. Зайцев отвернулся от Крачкина, заставил себя снова перевести взгляд на Фирсова.

– Ты, может, и женщин остальных не помнишь? – не выдержал Коптельцев.

Зайцеву захотелось шарахнуть его по голове пепельницей. Затолкать в рот ему бумагу.

Поздно. Он это понял.

Фирсов это понял. Зайцев словно видел, как опытный ум инженера быстро пересчитал новую комбинацию.

Фирсов кивнул.

– Не помню. Я не помню, как убивал женщин. Все было как в дыму. В тумане.

По всем в комнате словно пробежала волна.

Внутри у Зайцева кольнуло.

– Убил. Вот и все.

– Так, – протянул Коптельцев. Его большое пухлое лицо покрылось испариной.

В мгновение ока Фирсов из подозреваемого стал обвиняемым.

Допрос пополз по всем формальным правилам. Коптельцев уже прочно перехватил инициативу допроса, сам вел, задавал вопросы. Фирсов отвечал. Шуршал карандаш.

Фирсов говорил, говорил, говорил. Закруглял и выравнивал ветвистые фразы, в которых ясно слышались и запятые, и тире, и двоеточия, и точки с запятой, от которых у всех появилось чувство, что голову набивают песком.

– Поконкретнее, гражданин Фирсов, – не выдержал Коптельцев.

Фирсов вскинул на него темные глаза. Кивнул. И опять полилась цементная масса слов.

Он говорил охотно и много, но при этом у Зайцева было чувство, что Фирсов плетет словеса и сам же угрем скользит между ячеек собственной сети.

Зайцев смотрел во все глаза на Крачкина. Но тот молчал, теребя папиросу. Фирсов рассказывал о своих взаимоотношениях с американским коммунистом, о похождениях чернокожего, о своих визитах к проституткам, о пьяной ссоре, но с каждым словом крепло у Зайцева чувство, что все происходящее каким-то непоправимым образом неправильно. Чем больше Фирсов говорил, чем глубже заталкивал сам себя в это кровавое дело, тем меньше Зайцев ему верил. И тем охотнее кивал Коптельцев.

– Но почему? Почему? – нетерпеливо перебил он Фирсова.

– Он, негр этот ваш, попытался наброситься на меня. Сексуально.

В комнате словно застыло время. Даже папиросный дым, казалось, перестал подниматься от окурков в пепельнице.

– В каком смысле? – проговорил в тишине Коптельцев.

– В извращенном, – отчеканил Фирсов, прямо глядя на начальника угрозыска.

Папироса сломалась в пальцах Крачкина.

– Это тоже описать в деталях? – поинтересовался Фирсов.

Коптельцев хмыкнул:

– Не нужно.

Фирсова отвели в камеру. Скоропись протокола отправили в машинописное бюро.

С того самого момента, как Фирсов упомянул «проститутку», Зайцев знал совершенно точно, не по собственному чутью, а по факту: он знал, что подозреваемый врал. По всему выходило, что Фирсов во что бы то ни стало хотел, чтобы его арестовал ленинградский угрозыск. Вот только зачем?

Коптельцев и Крачкин тихо разговаривали у стола. Зайцев не стал подходить ближе.

– Выгораживает он кого-то. Как пить дать, – расслышал он слова Крачкина. Ответ Коптельцева было не разобрать.

– Мы не можем его арестовать, – не выдержал Зайцев.

Коптельцев вдруг посмотрел мимо него.

– Ведь свистит он все.

– Свистит, чтобы на себя несколько убийств повесить? Интересная у тебя теория, – холодно ответил Коптельцев.

– Он просто нам бошки дурит. Время тянет.

– Допустим. Тянет. Чтобы что?

– Мы не можем его арестовать, – повторил Зайцев.

– Очень даже можем, – заметил Крачкин. – Признание налицо.

Протокол своего допроса Фирсов подмахнул не читая.

– Но улики не подтверждают, что...

– Они и не опровергают.

Это была правда. Улик у них попросту не было. Ни отпечатков пальцев, ни волосков, ни конвертов с адресом, ни записок. Ничего. Только груда слов, наваленная Фирсовым.

Зайцев хотел было сказать, что о «проститутках» на Елагином Фирсов узнал, собственно, от него, Зайцева. Во время их первого разговора в кабинете, на заводе.

Но не стал.

Дождь лил с таким видом, будто говорил: «Вы думаете, я перестану? Я не перестану». С Невы пронизывало. От дождя огни на улицах казались косматыми.

Зайцев шел сам не зная куда. Не обращая внимания на то, что дождь вымочил его насквозь. С кепки капало. Он мысленно пытался составить предстоящий разговор с Кишкиным. Ничего не выходило. Потому что он думал о черной пропасти, которую сам Кишкин, похоже, пытался засыпать чем только мог: ветчиной и ботинками, новенькими шмотками и авто, театральными билетами, икрой из «Елисеевского» и коробками с едой из распределителя ГПУ, комнатами на выбор (когда больше ни у кого в Москве выбора не было). Вон даже жену туда нахлобучил. Но в пропасть эту Кишкин все равно соскальзывал и только поэтому пытался ухватиться за его, Зайцева, руку.

Зайцев теперь понимал, что помочь ему не сможет. Скорее Кишкин его самого утащит вниз. Товарищ Апрельский. И имечко-то какое... Словно там у них не могло быть нормальных человеческих имен. Или могло – и в этом как раз и состояло самое жуткое.

Зайцев не знал, что и как он скажет Кишкину. Он только понимал, что, как ни трудно здесь, он никогда не переедет в Москву, никогда не переведется в ГПУ. Он прикидывал свои ответы на разные лады: прямые, обтекаемые, завуалированные, извинительные, осуждающие, извиняющиеся.

Фирсов врал. На допросах врут почти все и всегда. Кого-то выгораживают. Себя, например. Отводят подозрения. Пытаются сказать меньше, чем знают.

А Фирсов не знал ничего. Не выгораживал и не отводил.

Его там били. Он едва дышал сломанными ребрами. Держал на весу вывороченные пальцы. Ему выбили зубы. Зайцеву ли не знать, как там бывает. Только вот он, Зайцев, раньше думал: это с ним одним так – на исключительных основаниях. А теперь вот и с Фирсовым. Там, на Шпалерной, сидевший перед Зайцевым кусок мяса был совершенно не похож на Фирсова – директора «Русского дизеля», на Фирсова прежнего – элегантного, надменного, неуязвимого.

И этот новый Фирсов готов был на все, лишь бы только его вырвали из камеры ГПУ, пусть и на время. Пусть и в камеру обвиняемого в убийстве. Только бы передохнуть. После допросов в ГПУ считаться «всего лишь» убийцей казалось Фирсову облегчением.

Что там бухтел товарищ Апрельский? Диверсант-террорист?

Мысль о том, что Фирсов, скорее всего, так же виноват в шпионаже и террористической деятельности, как в убийстве Ньютона, то есть никак, поразила Зайцева. Он даже остановился.

В чем же виноват был Фирсов? Неужели только в своей семье да берлинском дипломе? В правильной речи и хорошем костюме?

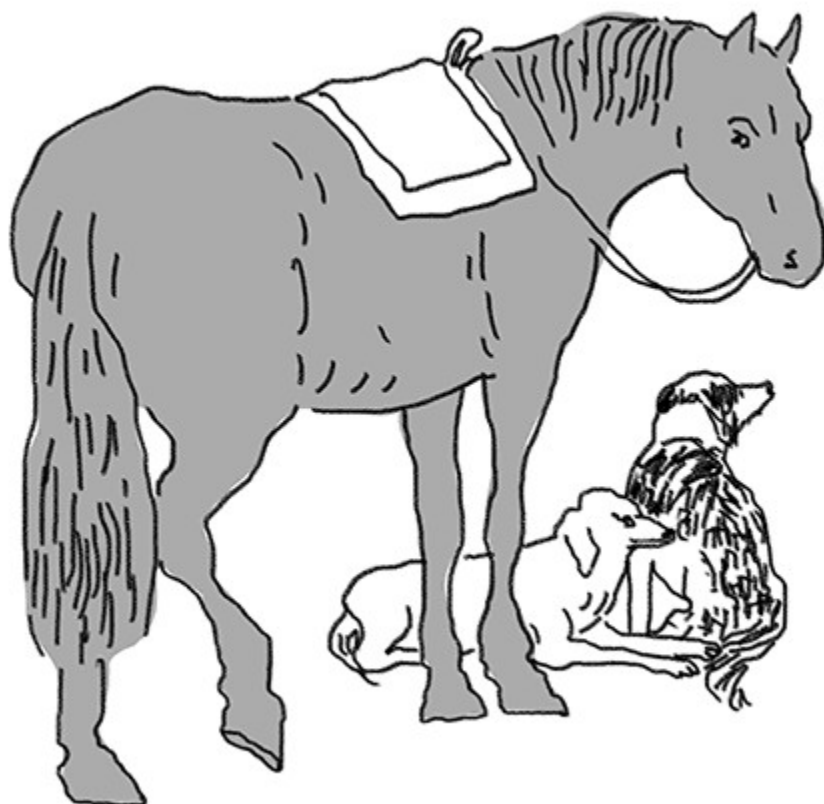
Что же теперь делать?

Если сейчас схватят невинного, то товарищ Киров, может, и похвалит за расторопность, четкость, ясность. А убийца так и останется бродить на свободе.

Но делать-то – что?

Он вдруг заметил, что забрел совсем не туда. Вдруг заметил и дождь, и ветер, и холод, пробиравший до костей. Алла жила совсем в другой стороне.

## Глава 10



Зайцев смутно помнил начало зимы. Город просто накрыло снегом, и уже на следующий день казалось, что так было и будет всегда. Смутно помнил, как праздновали Новый год: розоватое пятно разлитого вина на скатерти, мозаика салата, похрипывающий патефон и лампа, накрытая шалью для уюта.

А как его оттерли от расследования дела об убийстве на Елагином острове, уже и не мог сказать. Незаметно оттерли. Но твердо. Сунулся раз-другой, а третий уже не полез. Иногда бригада уединялась в кабинете у Коптельцева, и тогда Зайцев знал: обсуждают дело на Елагином. Судя по тому, что перед его носом продолжали захлопывать дверь, дело все еще вели. Странно. Неужели товарищ Фирсов продолжал выдавать на-гора красочные подробности? Называть новые и новые имена?

Зайцев ездил на вызовы. В перенаселенные коммуналки в центре и в рабочие бараки на окраинах. Вдыхал влажный запах псины в милицейском автобусе, когда с собой брали Туза Треф. По пути обычно дремал, засунув руки под мышки, пока остальные перекидывались замечаниями. Допрашивал. Осматривал. Жмурился, когда Крачкин, снимая место преступления, нечаянно захватывал магниевой вспышкой и его. Брал через платок пустые бутылки (они были непременной деталью едва ли не каждого ленинградского убийства). Писал протоколы и рапорты.

А еще теперь была Алла. Куда это все идет и каковы их «отношения», Зайцев не задавался вопросом. Они оба как-то молчаливо признали, что не будут следовать общепринятому кодексу: расписываются, съезжаются, потом покупают матрас на пружинах, потом... Про потом Зайцев тоже не думал, а Алла не заговаривала. Они оба сновали между комнатами – его и ее. Алла никогда не жаловалась на то, что он работал допоздна; вечерами она и сама была занята в театре, до ломоты в спине таская костюмы, глядя, подшивая, укладывая обратно.

Когда они, наконец, встречались, в квартире уже стояла спящая тишина. И казалось, что они не только в комнате – во всей квартире одни. Сидели перед печкой и смотрели на угли, в которых пеклась



картошка, Алла вилкой выкатывала горячие, в серебристо-серой пудре картофелины одну за другой; ужинали, сидя на полу. И Зайцев предпочитал думать, что их обоих это устраивало. Паша тоже молча признала новый порядок. Вернее, держалась так, будто никакой Аллы и не было. А Алла только раз спросила: кто это? Зайцев ответил: «Паша, соседка». Тем дело и кончилось. Алла вовсе не горела желанием энергично взять зайцевский быт за два угла и хорошенько встряхнуть. И Зайцев был втайне ей за это признателен.

Так они и плыли по течению. И зима уже начинала подтаивать по краям, все серее становился снег, все влажнее и теплее – ветер, насквозь продувавший город.

Убийство произошло на Петроградской стороне.

Когда автобус подъезжал к мосту, вдруг пошел снег: крупные тяжелые хлопья. Сразу как будто небо стало ниже, притянутое к земле мокрыми веревками.

– Смотри, гэпэушники какой себе дворец строят, – кивнул подбородком шофер, когда они остановились на перекрестке. Зайцев повернул голову: сквозь пелену на проспекте Володарского, который по-старому горожане привычно называли Литейным, видна была гигантская стройка. Зайцев хотел сказать на это, что... Обернулся, увидел, что лица у всех стали отсутствующими, замкнутыми. Только Туз Треф в ответ на движение вопросительно поднял морду и посмотрел Зайцеву в глаза. Зайцев промолчал и снова стал смотреть в окно.

На мосту уже и вовсе казалось, что земля и небо куда-то провалились и автобус тряско ползет в сероватом, мельтешащем пространстве, где нет ни верха, ни низа. Темным привидением прошел мимо трамвай. Ленинградский февраль привычно показывал свои лучшие фокусы.

В мокрой пелене Зайцев не видел, куда они едут, сворачивают. Наконец, машина остановилась, мотор заглох. Собака вскочила, радостно потягиваясь всем телом после тряской езды лежа на полу, натянула поводок. Серафимов и Самойлов спрыгнули, снег чавкнул под их ногами. Завозился со своим оборудованием в дверях Крачкин. Зайцев вышел последним.

Невольно остановил взгляд на выразительных фигурах, которые обрамляли портал дома, лепились по углам. До революции Петроградка считалась модным районом. Здесь, как и в центре, Зайцева всякий раз поражал контраст между стройностью дореволюционных домов и жизнью, которая скрывалась за их нарядными, но ветшающими фасадами: жизнью послереволюционной – бедной, тесной, вонючей, в криках и кухонном чаду коммуналок.

У парадной топтался управдом в едва накинутом на плечи полушубке. Дворник с деревянной лопатой стоял рядом и угрюмо посмотрел на собаку:

– Ишь, пес тоже, стало быть, мильтон.

– Сюда, товарищи, – мелко побежал, быстро распахнул дверь управдом. Мертвый лифт в клетке. Заколоченный черный ход. Запах кошек, несвежей еды и мочи. Все как в тысячах ленинградских подъездов в некогда богатых домах, отданных советской властью простому народу. Повалили вверх. Туз Треф тыкался носом то вправо, то влево, стеля хвостом по загаженным ступеням. Бронзовые шашечки по краям говорили, что до революции здесь когда-то лежал ковер.

Дверь квартиры была распахнута настежь. Соседи, растревоженные происшествием, выглядывали на площадку. Зайцеву казалось, что он опять разыгрывает на смерть знакомую сцену: будто и соседи всегда одни и те же. «Смотри, собака». По команде вожатого пес сел, обернув вокруг себя хвост, и тут же вывалил розовый язык.

Прошли длинным, загроможденным старыми вещами коридором. У Зайцева опять появилось чувство, что всякий раз это одна и та же коммуналка. Просто вынесли, допустим, высокое зеркало из прихожей, а поставили сломанный шкаф. И перевесили иначе корыто, и вздыбили возле другой стены старый велосипед. Убрали коробки, добавили коробки. Даже запах казался одним и тем же.

Управдом показал комнату. Крачкин быстро осмотрел замок.

– Следов взлома не видно. Ну те-с, посмотрим.

Вошел в комнату. За ним Серафимов, Самойлов. Комната большая, просторная и полная света – насколько это вообще возможно в Ленинграде с его вечно мутным небом. Зайцев ступил через порог. И обмер.

Весь посторонний шум для него как бы умолк. Призрак Крачкина беззвучно расставлял треногу. Бесшумно раскрывали рты привидения

оперативников, сквозя мимо.

Убитая была одета в алый шелковый халат с широкими рукавами. Труп сидел в кресле прямо, только голова чуть свешивалась – словно под тяжестью жемчужных бус, обвивавших лоб; концы нитей уходили куда-то в прическу. Белые кулаки казались восковыми на фоне шелка. Они лежали один на другом. Из правого торчал цветок. Ярко-красный даже на фоне красного халата.

– Гвоздика, – вдруг обрел голос Крачкин. Он наклонился, несколько раз взмахнул ладонью над цветком, по всем правилам безопасности подгоняя воздух к ноздрям, а не вдыхая напрямую. И сообщил: – Причем живая. В отличие от гражданки.

– В феврале? – отозвался Самойлов, стучавший ящиками комода. – Оригинально.

– А вот и документики, – Серафимов показал им дамскую лаковую сумочку. Щелкнул застежкой. Вынул твердую книжечку удостоверения и прочел вслух, бросив быстрый взгляд – на убитую, на фотографию:

– Карасева Елена Петровна.

Управдом подтвердил личность убитой. Вспышка окатила мертвую женщину.

Карасева Елена Петровна, работница аптеки.

Серафимов и Самойлов пошли говорить с соседями. Зайцев внимательно ощупывал взглядом комнату.

Ему сегодня все казалось повторяющимся сном. Может, поэтому кажется и сейчас, что он это уже видел?

Зайцев смотрел на бледное лицо убитой, с усталыми, будто подернутыми ржавчиной веками. Это кресло. Эта странная прическа. Этот крупный, несомненно, ненастоящий жемчуг. Эта раздражающе живая, вернее, конечно, уже мертвая – срезанная, но все еще свежая гвоздика. Она огоньком горела над мертвым холодным кулаком.

Зайцев изо всех сил отталкивал от себя эту мысль. «Я устал», «не выспался просто», «весь день сегодня как во сне». Но все-таки сдался и признал: убитая Карасева странно напомнила ему Фаину Баранову. А обе они – странно разодетых женщин, убитых на Елагином.

Или убитых – а потом разодетых?

– Крачкин, – позвал он.

Но тут внесли и положили на пол носилки. Тело Карасевой, застывшее в трупном окоченении, с трудом вынули из кресла. Санитары все никак не могли взяться за него сподручнее. Наконец схватились, подняли, перенесли. Накрыли простыней. Оно висилось отвратительной горой.

Зайцев закончил рапорт. Тоскливая однообразно тяжкая жизнь породила такие же тоскливо-однообразные преступления. Они либо раскрывались по горячим следам (потому что, как правило, виновный валялся тут же, сам пьяный, или по глупости своей тотчас волок краденое продавать), либо повисали мертвым грузом, пополняя статистику нераскрытых, которые не раскроет уже никто и никогда, потому что расследование заглохло и было прекращено. Гр. Вяткин по распитии спиртных напитков ударил бутылкой по голове гр. Башмакова. Гр. Спицына, состоящая на учете как занимающаяся проституцией, пригласила к себе гр. Свечкина, после совместного распития спиртных напитков...

Зайцев потянулся, зевнул. Вынул рапорт из машинки.

– Вася, не занят? – Крачкин вошел, не спрашивая разрешения войти. Даже не встречаясь с Зайцевым глазами.

– Занят, конечно. Странный вопрос.

Крачкин не поддержал его тон.

– Еще вот. Развлекайся.

Шлепнул на стол четыре папки. Зайцеву показалось, что голова у него от одного вида этих папок сразу наполнилась песком.

– А совещание? – спросил он Крачкина в спину.

– Какое еще совещание? – недовольно спросил тот, не оборачиваясь. Но остановился, уже хорошо.

– Да по Карасевой, убитой с Петроградки. С цветочком.

– Цветочки-грибочки...

– Крачкин, ты чего? Человека же убили, – опешил Зайцев совершенно искренне. Крачкин обернулся:

– А то, что есть сейчас дело поважнее для благополучия советских граждан.

«Ага, значит, Елагин», – понял Зайцев.

– Закроешь эти – и снеси все в архив, понял?

– Да понял, понял.

Крачкин вышел.

Зайцев сказал себе: нет. На обиженных воду возят. Эта мысль не больно утешала, но лучшей у него все равно не было. Подтащил к себе

папки. Глухари, значит. Он без интереса, просто чтобы занять руки и унять раздражение, раскрывал, закрывал и перебрасывал в сторону папку за папкой. Ну, какой там гр. другого гр. после совместного распития спиртных напитков... Следствие прекращено. Следствие прекращено. Следствие прекращено. И замер. Предпоследней папкой оказалось дело убитой Карасевой. Женщины с гвоздикой в руке.

В архиве пахло старой бумажной пылью. Даже запах подвала здесь не чувствовался, заглушенный. У старой бумаги скверного качества свой неповторимый дух. В 1920-е Петроград голодал, потом перебивался необходимым, бумага была хуже некуда. Сейчас она медленно разлагалась, стиснутая в папках. Их блеклая желтизна перекликалась с тусклой желтизной слабой лампочки. Деревянные стеллажи, плотно забитые папками, уходили в глубину, едва виднелись в полумраке. За деревянной стойкой, отполированной тысячами нетерпеливых или скучающих локтей, никого не было.

Зайцев тряхнул колокольчик. Ошибка: был кто-то. Из-под стойки вынырнуло свиное личико.

Нефедов молча смотрел на него.

– А Овечкин где?

– Мы с ним посменно.

Зайцев не нашелся с новым вопросом.

– Ты что, спал там?

– Читал.

Нефедов, видимо, еще не исчерпал на сегодня своей способности удивлять. Читал. Скажите пожалуйста.

– Привет, в общем, Нефедов. – Зайцев вспомнил, что сюда, в архив, Нефедова сослали согласно тому же заговору холодного дружного молчания, которым его самого, Зайцева, держали в бригаде – но вне ее. Впрочем, Нефедова хотя бы поделом.

– Здравствуйте.

– Принимай глухари.

Странно только, что Нефедов, похоже, так и тянул ляжку в архиве угрозыска, а не перевелся обратно к себе, в ГПУ. «На его месте, – подумал Зайцев, – я бы давно...» Но на лице Нефедова не отражалось ничего, как у лунатика, спящего наяву. Могло ли быть так, что Нефедов не думал ничего? А может, просто Зайцев интересовал его так же мало, как клоп, ползущий по старой папке?

Еще можно было все отыграть назад. Но именно в этот момент Зайцев понял, что ему этого вовсе не хочется. И опустил руки, сжимавшие папку с делом Карасевой.

Хуже уже не будет. Справится он с Нефедовым, если что. Не с такими справлялся.

– Вот что, Нефедов, ты рот на замке держать умеешь?

В мутных сонных глазках блеснула искра.

Зайцев принялся объяснять.

Откуда ни возьмись, на стойке появились чернильница, ручка, лист бумаги. Нефедов старательно клевал пером в чернильнице, выводил фиолетовые буквы, внимательно следя за строчкой. Тонкая шея старательно вытягивалась из обтрепанного воротника. Зайцев понял, что грамоте тот научился уже взрослым. Его взяло сомнение: бегло ли Нефедов читает? Иначе никогда он столько дел, сколько нужно, не просмотрит.

– А вообще... – остановил его Зайцев. – Да не пиши ты это все. Я и сам не могу толком сказать, что искать надо. Что-что. Странное. Любые странности. В одежде. В положении тел. В этом самом...

Зайцев покрутил руками у головы, как бы показывая замысловатую дамскую прическу.

– Предметы опять-таки в руках. Не бутылка когда, не лоскут, у убийцы из одежды вырванный. А странное. Что? А черт знает, что это может быть. Что-то. Понимаешь?

Нефедов не кивнул.

– Положим, – продолжал Зайцев, животом навалившись на стойку, – при военном коммунизме странно одевались все. Тут уж не до шику-блеску было. Вон дворник наш вообще в старом камергерском мундире ходил. А что, мол, говорил, сукну пропадать. Так мы давай так далеко забираться не будем. Ты смотри давай дела недавние – но только мокрушные. Понял?

– По Ленинграду или по губернии тоже?

– Только Ленинград. Пока что.

Нефедов не спеша кивнул, с опозданием отвечая на вопрос Зайцева. Он внимательно изучал написанное. Потом, не наклоняясь, вынул откуда-то жестяную тарелочку, воняющую старым папиросным пеплом. Спички. И не успел Зайцев удивиться, как пламя уже лизнуло только что исписанный лист.

– Вы же сказали: рот на замке, – пояснил Нефедов все с тем же сонным выражением лица, и Зайцев подумал, что если он сейчас совершил ошибку, втавив в это Нефедова, то ошибка эта гораздо



серьезнее, чем он думал: глупым, неосторожным Нефедов точно не был. – Когда вам это все надо?

Зайцев развел руками, в одной руке он все так же держал дело Карасевой:

– Вчера.

Больше просить ему все равно было некого.

Еще в коридоре Зайцев почувствовал, что из его комнаты пахнет свежим кофе: горький пряный запах как бы существовал отдельно от обычного кухонного чада, мыльного духа кипящего на плите белья, нечистых тел, старых, рассыхающихся в коридоре вещей.

Зайцев улыбнулся: Алла в комнате варила кофе. У него даже виски заломило, так захотелось сейчас взять в руки чашку кофе.

– Товарищ Зайцев, – выглянула из кухни Паша. – А я вас тут на табуретке дожидаюсь.

– Здорово, Паша. Как жизнь.

– Да вы зайдите сюда, к свету.

Зайцев вошел. На общей кухне он бывал только по утрам. И сейчас поразился, какая здесь толчея, стук множества ложек. Время стряпать ужин. Соседки поздоровались с ним.

Паша подвела его к керосиновой лампе на столе, прибавила свет.

– Вот гляньте, а то потом будете говорить, что я вам вещь испортила.

– Паша, да ты же знаешь, что мне все равно. Я в мешке могу ходить и не заметить, – попробовал отшутиться он.

– Нет, ты, товарищ Зайцев, смотри. Чтоб потом на меня не обижаться.

Паша разложила на столе макинтош. Тот самый, который он надевал от силы два раза.

– И что?

Сверкнула пола.

– Вот, глянь. Я твой лапсердак к весне почистить решила.

Она показала пальцем: на подкладке явственно проступили чернильные подплывшие буквы. «Николай Вирен», – прочитал Зайцев.

– Да ну, Паша. Пальто с барахолки, мало ли кто его носил. – Зайцев постарался придать своему тону беззаботность. – Подумаешь, маленькое пятнышко.

– Ну уж не знаю, – громко предупредила Паша. Но по ее глазам Зайцев видел: это еще не все. Паша положила на стол маленький кусочек картона. Зайцев быстро накрыл его ладонью.

– Внизу подшито было.

Никто из соседок ничего не заметил. К счастью, на Пашу можно было положиться: на своей работе дворника она стала дипломатичной и осторожной, как министр иностранных дел.

– Я понял, Паша, – небрежно бросил Зайцев, убирая фотографию в карман. – Мерси тебе большое.

А в коридоре посмотрел.

Вошел в свою комнату. Снял пальто. Повесил. Стал разматывать шарф. Повесил.

– Ну, здравствуй. Что это с тобой? – улыбаясь, подошла к нему Алла. – Ты не простужен ли? А я уже на спектакль бегу.

Вместо ответа Зайцев бросил на стол клубком смятый макинтош. Зазвенели, съезжая и толкаясь, чашки.

Он схватил Аллу за локоть, понимая, что делает ей больно. Она вскрикнула. Он толкнул ее на стул.

– Что ты?

Хлопнул поверх макинтоша фотографию. Царский адмирал при полном параде. И девочка на колене.

Алла смотрела на фотографию, будто это была ядовитая змея.

– Вирен? Кто это? Может, пояснишь?

С ее лица схлынули все краски, даже брови, казалось, сделались бесцветными.

Она то ли ответила, то ли просто вздохнула.

– Что? Я тебя не слышу!

Алла тяжело дышала. Зайцеву даже стало жаль ее.

– Вирен – это я, – еле слышно прошепела она.

# Глава 11



Прошла шестидневка, а от Нефедова, которому он поручил искать «странное», не было ни слуху ни духу.

Зайцев начал опасаться, что с точки зрения бывшего циркового акробата-эксцентрика странным, наверное, уже не было ничего.

Зайцев попытался вспомнить: видел ли он вообще когда-нибудь Нефедова удивленным? Никогда. А еще эта вытянутая от усердия шея. Если Нефедов поздно научился грамоте, то читать архивные дела он точно будет до второго пришествия. Надо, надо было все делать самому, пожалел он.

На десятый день беспокойство прошло. Поднялась злость. «Сдал, сука», – был уверен Зайцев. Настучал. Еще не последовали пресловутые оргвыводы и меры. Но последуют.

В этот день Нефедов и нарисовался на пороге его кабинета. Фигура его слегка перегибалась. Обеими руками снизу он поддерживал желтоватую рыхлую плотную стопку папок. Сверху прижимал ее подбородком. Сделал вальсовое па, ногой закрывая за собой дверь.

Сменил наклон корпуса. И тут же на стол Зайцева обрушился оползень. Запахло старой пылью и старой бумагой.

– Странное, – объявил он своим тихим голоском, не поздоровавшись.

Вопреки ожиданиям Нефедов оказался весьма впечатлительным товарищем.

– Ты, Нефедов... – начал было Зайцев. Но зазвонил телефон.

– Зайцев. Вас не слышно!

– Я из театра звоню, – чуть громче прошептала Алла.

Он уже не спрашивал зачем. С того самого вечера Алла Вирен звонила ему среди дня прямо на работу. Без всякого повода. Но причину Зайцев понимал: она как будто ощупывала страховочный трос – не оборвался ли. Тем вечером прямой вопрос оглушил ее. Алла не стала запирается. Ее секрет был теперь у него в руках. Будто в руки тебе сунули живую птицу: держи теперь, смотри не выпусти. «А бумажку на имя Петровой ты где взяла?» Алла пожалала плечами: «Человек один». Зайцев знал и сам: в лихие послереволюционные

годы такая неразбериха была, что любой документ купить ничего не стоило. Дешевле всего были купчие на дома, магазины. Потом они не стоили уже вообще ничего. Все стало народным, государственным.

Семья Аллы Вирен после революции перебралась за границу. Алла беспечно осталась. «А если тебя кто-нибудь узнает?» Адмиральская дочь. С такой-то внешностью.

Алла только плечами пожала. Она нигде не бывала. Из дома – на службу в театр, из театра – затемно домой. Как какой-то ночной зверек.

Голос Аллы шелестел в трубке: рассказывала какую-то ерунду. Зайцев запнулся о внимательный взгляд Нефедова.

– Ага. Пока, – ответил он трубке.

И кивнул ему:

– Садись. Садись, – полувопросительно повторил Зайцев.

Нефедов не сел. Но и не уходил. Желтоватая, со свернутой макушкой уступчатая гора на столе распространяла все тот же горьковатый запах разлагающейся бумаги. Кто-то из них должен был начать первым. Выйти из укрытия.

Нефедов явно ждал объяснений.

Просто так теперь его не развернешь и не отправишь.

– Я не помню, начал ты тогда уже у нас или еще нет, – заговорил и сразу соврал Зайцев. Он все прекрасно помнил. Его взяла досада. Он сразу почувствовал себя глубоко усталым от всей этой кадрили. От необходимости изворачиваться. Открывать еще один фронт лжи. И Алла еще вдобавок... Реальность раздваивалась, утраивалась, плыла.

– Товарищ Зайцев, – позвал Нефедов.

– Что?

– Когда? Вы сказали: тогда. Служил я тогда уже или еще нет. Когда?

И Зайцев ступил в этот разговор, как на лед.

– Был, в общем, у нас вызов. Убийство. Угол Невского и Садовой.

Он даже забыл назвать эти две старые городские улицы их советскими именами – 3 Июля и 25 Октября. «И к черту!» – сказал он себе.

– Убитая – Фаина Баранова.

Нефедов кивнул. Сонное свиное личико прояснилось.

Зайцев вынул из ящика стола папку с делом Барановой. Нашел фотографию трупа: на черно-белом снимке алая занавеска казалась

серой, и от фигуры в черном уже не веяло почти оперной драмой. Женщина на снимке даже не больно-то выглядела мертвой – в своем кресле и с метелкой перьев в руке.

Развернул фотографию к Нефедову:

– Какого хрена, Нефедов, немолодой одинокой советской служащей вот так наряжаться?

– Сожитель? Любовник? – быстро отбил мяч тот.

Зайцев пожал плечами. Упомянуть Елагин остров он не стал: небезопасно.

– Говорили с соседями по коммуналке. Не упомянул никто сожителя или кавалера.

– Я знаю, – почти нахально ответил Нефедов. – Я же с ними и говорил.

– А, верно. Значит, ты уже служил, – притворился Зайцев. – Странно.

– Я рапорт писал.

– Да?

Зайцев для вида полистал папку с делом Барановой.

– Нет что-то никакого твоего рапорта. Ладно, не важно. Не суть. Ты с соседями говорил, другие тоже говорили. В общем, ясно: нет там никакого сожителя или кавалера.

Нефедов смотрел на него недоверчиво.

Он как будто не решался высунуться из своего укрытия. Но Зайцев видел: тот же нетерпеливый инстинкт, видимо, не давал ему усидеть на месте. Тот же инстинкт, что науськивал самого Зайцева. Инстинкт, который заставлял забыть об осторожности. Обо всем, что не относилось к делу. Инстинкт, который говорил: след!

– В общем, Нефедов, это и есть – странное. Наряд ее весь этот. И дребедень эта в руках тоже. И сделано все очень ловко. Соседи не видели, не слышали...

– Или брешут, – тихо вставил Нефедов.

– Или брешут, – охотно подтвердил Зайцев. – Но только пальчиков или других зацепок тоже нет. Ловкий, видимо, гад. Или гады. А такая ловкость, она только с опытом приходит. Соображаешь?

Нефедов кивнул.

На секунду что-то прикинул. Молча встал, подошел к груде папок. И быстро принялся перебирать – бросая короткий взгляд на обложку

дела и тотчас роняя папки на пол одну за одной.

Видимо, решил пересмотреть свой отбор.

Вот какую-то перебросил на диван, обитый «чертовой кожей». Опять зашлепали папки на пол. Запах пыли и старья стал нестерпимым. Стал свербеть в ноздрях. Зайцев на миг даже посочувствовал Нефедову: каково ему вот так сидеть в архиве дни напролет.

Еще одна папка перелетела на диван. Мелькали руки Нефедова, белые и вялые на вид. Не врал ли он, что был акробатом? Что-то не похоже, чтобы эти маленькие белые каракатицы могли удерживать, подтягивать, бросать, цепляться и вертеть на трапеции все тело. Зайцев вспомнил, как Нефедов остановил вора на Сенной.

Третья папка упала на диван.

Нефедов кивнул на разоренные развалины на столе и на полу:

– А остальное – мимо.

Зайцев поразился. По его прикидкам, здесь были десятки папок. И Нефедов, похоже, знал их содержимое настолько остро, что смог просеять находки еще раз с одного только взгляда на обложку дела.

– Нефедов, ты в цирке не мнемонические ли фокусы показывал? – не сдержался Зайцев.

Хмурый взгляд был ему ответом. «Ага, шуток не любим», – подумал Зайцев.

Зайцев взял с дивана три отброшенные папки.

– Ты все-таки садись, – сказал он. – Набегаемся еще.

Они оба не заметили, что в разговор их впервые, вот так бочком вошло это «мы».



## 2

Три дела лежали перед ним.

Зайцев вынул и положил рядом снимки места преступления согласно датам.

14 апреля 1929 года.

Убитая – Карпова Ольга, 1912 г. р., студентка Технологического института.

Убитый – Недремов Петр, 1912 г. р., студент Технологического института.

Трупы обнаружены в комнате коммунальной квартиры на Международном проспекте. Комната принадлежала Недремову. Из этого отсутствия следов взлома на замке, а также из того, что оба учились на одном курсе, был сделан вывод, что Недремова и Карпову связывали отношения. Был обнаружен пустой флакон с этикеткой «снотворное». Дело было квалифицировано как двойное самоубийство – и закрыто.

1 января 1930 года.

Убитый – Фокин Леонид, 1899 г. р., музыкант в оркестре народных инструментов.

Труп обнаружен на скамейке Летнего сада. Высокая концентрация алкоголя в крови и выразительная дата (советские граждане все еще цеплялись за пережитки дореволюционных традиций и норовили отпраздновать Новый год застольем) ясно говорили: несчастный случай. Обычная русская, в сущности, история. Гражданин Фокин энергично проводил старый год и встретил Новый: напился, шел из гостей, присел, уснул – и замерз морозной ночью.

30 июня 1930 года.

Убитая – Сиротенко Наталья, 1894 г. р., служащая.

Убитая – Рохимайнен Тарья, 1910 г. р., работница артели, подрабатывала нянькой.

Трупы обнаружены в здании бездействующей церкви. По горячим следам дело раскрыть не смогли. К конкретным выводам следствие не

пришло. А затем, как понял Зайцев, случилось убийство на Елагином, и уже стало не до того: отдел разгрузили, как смогли, дело быстро закрыли (Зайцев узнал лихой росчерк Самойлова) и списали в архив.

Двоих студентов Зайцев и сам вспомнил. Точно. Уже тогда, на вызове, на первом осмотре места преступления что-то ему показалось странным. Показалось – и вскоре перестало. В Ленинграде вообще было много странного. «Я странен, а не странен кто?» Гамлет это, кажется, говорил. Датский принц не знал, что такое революция, гражданская война, военный коммунизм, НЭП – когда всякий раз контуры жизни менялись неузнаваемо, когда «норма» стала словом, не имеющим отношения к жизни; а теперь вот и НЭП отменялся, и на его место шло что-то еще новое, невиданное.

Два других дела Зайцев не помнил вовсе. Еще раз глянул на даты. Верно, помнить и не должен. Он тогда сидел в тюрьме ОГПУ.

Между вторым и третьим снимками Зайцев положил фотографию из дела Фаины Барановой, май 1930-го.

Последним упал на стол снимок убитой Елены Карасевой, февраль 1931-го.

Итого пять.

Нет, шесть. Если предположить, что убийство на Елагином, октябрь 1930-го, тоже как-то относилось к этому ряду. Хотя какие у него доказательства? Пара фарфоровых статуэток из комнаты Фаины Барановой да неразборчивый шепот интуиции. Так что пока оставим, но не забудем, решил он.

Пять убийств, семеро убитых. Убитые: мужчины и женщины, одинокие и семейные, молодые и не очень, служащие и рабочие, образованные и неграмотные, партийные и беспартийные, русские, финка, еврейка. Они тем не менее как-то были связаны между собой, и связующая нить могла вывести к преступнику. Преступникам.

– Нефедов, – позвал он, – глянь. Что ты видишь?

Ведь отчего-то Нефедов моментально выудил из кипы папок именно эти? Тот наклонил над столом плоское личико с невыразительными глазами.

Выстрелил трелью телефон.

– Зайцев.

– Карета подана. На выезд, – проговорил дежурный.

Опять чавкающая поездка по мокрому снегу и холодным сырým улицам в недружелюбном молчании. Опять кого-то лишили его трудной, замызганной, не слишком радостной и совсем не трезвой жизни – у большинства ленинградцев она была таковой.

Зайцев схватил кепку.

– Нефедов, – спросил он. – Ты в кино сегодня вечером хочешь?

На лице Нефедова промелькнуло нечто, что можно было назвать удивлением.

– Не хочу, – ответил он.

– Отлично. Тогда после работы ползи ко мне в гости. Чего? Угощу по первому разряду: хлеб черный, масло желтое, чай коричневый. Мойка, восемьдесят четыре.

Если только дома Нефедова не ждала с горячим ужином семья, кто его знает. Представить его семейным человеком было трудно. А впрочем, представить его цирковым акробатом было не легче.

Снизу сырým каркающим голосом прогудел автомобиль, поторапливая оперативников.

Зайцев сгреб папки, перетащил одна на другую, выровнял. И протянул Нефедову:

– И это с собой возьми. Неприметно только. Сгодится для внеклассного чтения в узком дружеском кругу.

Пропустил его вперед, запирая дверь. Привычка. Служебных секретов у него теперь не было.

– Дома, что ли? – видно, никак не мог поверить Нефедов.

– Нет, Нефедов, в ресторане гостиницы «Астория».

Их милицейской зарплаты вряд ли хватило бы там и на один ужин. А если бы и хватило, никто бы их в их убогих костюмчиках не пустил за бархатные толстые канаты с цепным дородным швейцаром настороже. Если только не сунуть под нос псу удостоверение.

– Да захвати с собой пожрать чего-нибудь, – крикнул Зайцев уже на лестнице. – Если хлеба с маслом тебе мало.

Нефедов пришел. И только в этот момент Зайцев понял, что совершенно не рассчитывал, что тот примет приглашение.

Нефедов стоял посреди его комнаты, как пингвин на льдине.

Зайцев вынул чашки. Нож, ложки. А сам исподтишка следил за гостем. Нефедов осматривался. Зайцев знал этот профессиональный взгляд, быстро и цепко схватывающий – намечающий пунктир будущего ареста и обыска: точку входа, точку отхода, обстановку, возможные зацепки, тайники. Выглядел Нефедов при этом именно так, как обычно: будто его подняли с постели, но забыли разбудить. Покончив с осмотром, гость спустил с плеч потрепанный сидор, развязал горло и, словно торопясь заплатить за входной билет, протянул Зайцеву полкруга темной колбасы.

Зайцев ломаться не стал: в брюхе с обеда ничего не было, а на обед давали макароны с мясными битками, у которых мясо содержалось в основном в названии.

– А ты буржуй, – дружелюбно сказал он, разламывая колбасу на две части. – Как это время находишь по магазинам бегать. Или жена бегаёт?

– Халат один приносит, – ответил Нефедов, заваривая чай с таким серьезным видом, будто в чайнике была соляная кислота.

Халатами еще с дореволюционных времен называли татар-старьевщиков, ходивших по дворам и за гроши покупавших хлам. А то и краденое.

Зайцев остановился. Запах колбасы уже не казался ему таким уж приятным:

– Из конины, стало быть? Татарская-то.

Нефедов пожал плечами:

– Белки и калории на своем месте.

– И то верно.

Колбаса исчезла в считанные минуты, чай даже не успел остыть. Зайцев переставил пустой, но еще теплый чайник на пол. Разложил на столе папки.

– Давай, Нефедов, теперь я тебя слушаю и не перебиваю.

Нефедов разложил фотографии именно в том порядке, как это сделал раньше в кабинете Зайцев. Память у него, видимо, была действительно цепкая.

– Во-первых, одежда, – сказал он. – Шмотки больно странные. И на голове черт знает что.

– Тут я с тобой согласен.

Начать со студентов. Они были совсем не похожи на будущих советских инженеров, даром что учились в Техноложке.

Во-первых, не сразу понять, где тут он, а где она. У обоих волосы длинные, на прямой пробор. Похожие лица. Во-вторых, одеты как. Оба в каких-то длинных, обширных, изломанных множеством складок рубахах.

– С чего бы обычным советским людям такое на себя напяливать?

– Бедность, – предположил Нефедов. – Что урвали, то и напялили.

– У студентов – может. Но Фаина Баранова служила. И Елена Карасева тоже. Не бог весть какие деньги. Но в шкафу у Барановой – обычный дамский набор: светлые блузки, темные юбки, трикотажные кофточки.

– Может, секта это какая-то, – предложил Нефедов другое объяснение.

– И чему они, по-твоему, поклоняются?

– У людей в головах бывает всякое.

– Тоже верно. И на головах, похоже, тоже.

Затейливые прически убитых бросались в глаза.

– Косы, Нефедов, в наши дни остригли даже китайцы. А ты посмотри на это.

Зайцев взял фотографию убитого балалаечника.

Замерз по пьяни. Звучит логично. Полосатый костюм с короткими штанишками и пышным белым воротником можно объяснить костюмированной вечеринкой по случаю Нового года. Да и гитара, видно, так и осталась в руках, когда он уснул пьяным сном, превратившимся в смертный. Но что у него на голове? Как будто снимал свитер, вывернул его, голова застряла в горловине, да так и бросил – разве что закинул рукава назад, чтобы не мешали обзору.

– Если только не предположить, что кто-то их передел так уже после смерти.

– И причесал?

Он взял фотографию наиболее причудливо разряженных женщин – тех, что нашли в запертой церкви.

– Кстати, вот тоже, Нефедов. Глянь, что сказано по осмотру места происшествия? Церковь была изнутри заперта или снаружи?

Нефедов зашуршал страницами дела.

На финке была зубчатая корона, плечи покрыты цветастым ковром. Служащая Сиротенко была в пышном одеянии, халат не халат, понятен был только тонкий поясок: все остальное казалось грудой драпировок. Две косы спускались вдоль лица, а третья обвивала лоб.

Рядом с этими двумя даже Фаина Баранова, да даже и Карасева с ее жемчугами выглядели строго и опрятно.

– Снаружи, – наконец, ответил Нефедов.

Кто-то запер их там.

Мертвые пальцы Рохимайнен сплелись вокруг не то жезла, не то резной ножки стула, будто она кончиком собралась написать что-то на полу. Перед Сиротенко из церкви лежала раскрытая книга. Зайцев поднес фотографию к глазам: что еще за книга, интересно. Тщетно, буквы не разглядеть. Зато увидел кое-что другое. Колбаса из конины вдруг толкнулась наружу, Зайцев проглотил горечь. Лицо у него исказилось.

– Ну-ка? – сунул нос Нефедов.

– Глянь.

– Мать твою. Гадость какая.

Шесть туго натянутых струн тянулись от головы Сиротенко: концы были закреплены в ее сложно заплетенных волосах, чем и объяснялась тугая затейливость прически. А сходились – в переплете высокого церковного окна. Из него втекал тусклый петербургский свет – и блик лежал по всей длине, делал видимой проволоку.

Кто-то поставил труп на колени. И закрепил.

– Ты смотри, подсуетился, падла.

Зайцев перевел взгляд на фотографию убитых студентов. Теперь он не сомневался, что самоубийством там и не пахло. Сличил с фотографией Фаины Барановой. Показал Нефедову.

Две красные занавески.

Он хорошо помнил алую, какую-то злобно-красную занавеску в комнате Барановой. Словно красную ухмылку над сидевшим трупом. На фотографии она казалась серой. Того же оттенка, что и кусок ткани

на стене у студентов, да еще с подушечкой. Это точно была одна и та же ткань. В остальном комната студентов была по-спартански пуста. «Это не вкус Фаиночки», – вспомнил Зайцев слова соседки.

Ткань в обоих случаях принес и повесил кто-то. Убийца. Убийцы.

– И посмотри, как сидят они.

– Вот этот сидит вполне естественно. Плюхнулся на лавку, заснул, замерз, – возразил Нефедов.

– Да, но глянь на баб особенно.

Позы убитых тоже поражали странной вычурностью.

Все убитые сидели или стояли на коленях.

Убитый студент словно грозил своей подруге пальцем. А она вздымала ладони. Совершенно таким же жестом, как служащая Сиротенко, найденная в церкви.

Допустим, влюбленные самоубийцы именно так решили дожидаться смерти: на коленях и склонив головы. Остальное доделала сила равновесия, которая не позволила трупам свалиться. Но остальные?

– И руки у всех не пустые, – показал Нефедов.

– Точно.

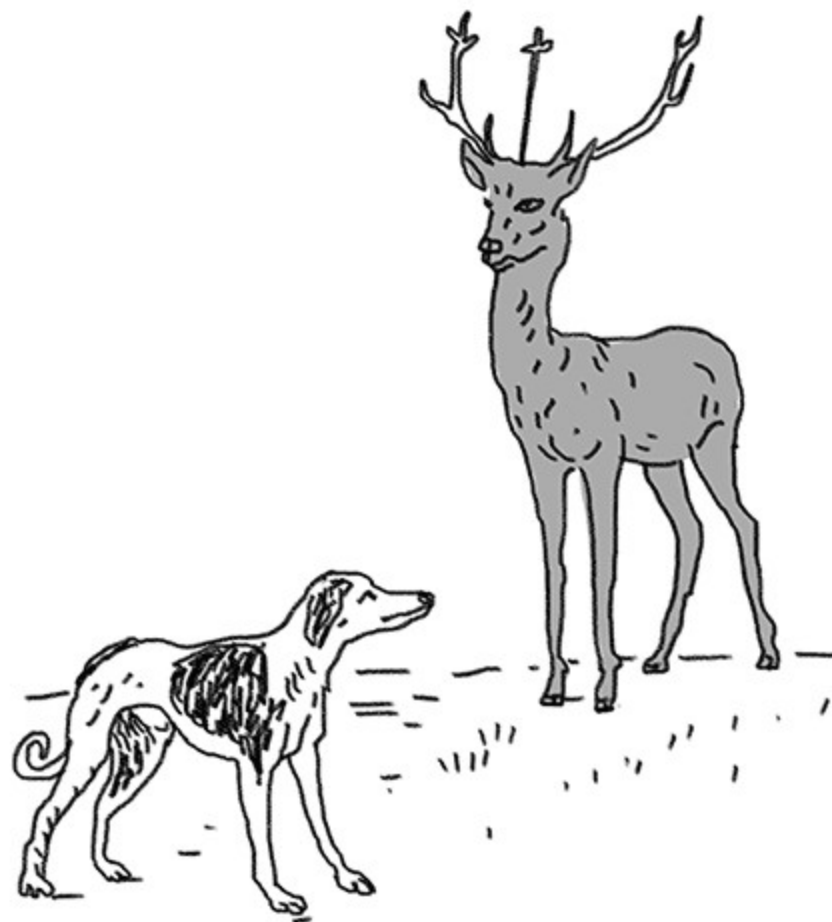
– И цапки на них наверчены какие-то.

Зайцев внимательно посмотрел в глаза Нефедову. То, что пять убийств между собой как-то связаны, сомнений быть не могло.

Нефедов посмотрел на него и сказал, словно читая мысли:

– Материалы по Елагину я достать не смогу.

## Глава 12





– Та-та-та-та-та! – радостно застрочил младенец, суча толстенькими ножками. Тельце его было схвачено крест-накрест двумя широкими полосками ткани и привязано к спинке стула, так что не было опасности, что энергичный ребенок свалится. Зайцев не мог не улыбнуться в ответ на его беззубую улыбку.

– Он по Таточке скучает, – сказала мать. И шмыгнула носом, посмотрела в сторону.

– Ничего, гражданочка, вы не стесняйтесь, поплачьте, – сказал Зайцев.

– Та-та! Та-та! Та-тататата! – с досадой выкрикивал младенец. Он явно хотел рассказать о своей пропавшей няньке, Тарье Рохимайнен, но, к сожалению, не умел.

– Горластый какой, – отметил Зайцев. – Оперным певцом, наверное, станет.

– Боже упаси, – серьезно ответила мать. – Что это за профессия такая?

– Вы, гражданочка, не волнуйтесь: колхозницей ваша нянька была или нет, ушла из своего колхоза законно или нет – меня не волнует. Так же как и то, что жила она у вас без регистрации у домкома.

Женщина покраснела до ушей.

– Дело в том, что... – начала она.

– Я все понимаю, – перебил Зайцев. – Уголовный розыск этим все равно не занимается. А занимается он убийствами. И очень мне хочется поймать того, кто прервал жизнь вашей работницы. Вот и все.

При слове «убийства» мать поспешно вынула младенца из сидячего плена, перенесла в сетчатую кровать. Как будто боялась, что он услышит лишнее. Слишком рано покинет свой бессловесный рай.

– Вы, товарищ милиционер, меня тоже извините. Уж вроде забылось все, перетерлось. И снова напомнить...

– Я понимаю. Открылись новые обстоятельства.

Она поставила стул к Зайцеву поближе, села, вытерла глаза тыльной стороной руки, промокнула уголком рукава.

– Что вас интересует?

Зайцев приложил ладони к глазам, надавил. Убрал ладони. Снова посмотрел на фотографии.

Чем больше свидетелей опрашивали они с Нефедовым, чем больше своих выходных и вечеров на это тратили, тем больше он узнавал об убитых – и тем менее знакомыми казались ему фотографии из их дел.

Жизнь убитых никак не приводила к их смерти. Так бы Зайцев выразил свою основную претензию.

Вот фотографии – все перед ним.

Одинаково вздымающиеся жесты рук – по крайней мере, на двух. Красный занавес – на двух. Странно пышные одеяния – на всех. Странно затейливые прически – у всех. Предметы. Позы. Ему казалось, фотографии силятся ему что-то сказать. Во всех был виден несомненный умысел: вот так усадить, вот так одетыми, вот так причесанными, с вот именно такими предметами в руках.

Переодеть, причесать, усадить – чтобы сказать что?

За стенкой у соседей заорало, забренчало радио. Передавали концерт народной музыки. Зайцев издал стон, как от зубной боли, прижал краем ладони виски. Как будто мог выдавить ответ из непослушной, неповоротливой, усталой головы.

Из-за стены теперь неслись, хлопая, словно бичом поперх музыки, посвистывания и повизгивания. Молодеческая участь и девичий задор, так сказать.

Зайцев вскочил со стула. Невозможно! Он рывком сгреб фотографии со стола. Нашел в ящике буфета пластырь.

«Ты, падла, знаешь, не уймешься?» – послышалось через комнату. Видно, не все в квартире были поклонниками фольклорных ансамблей. Балалайки ответили ураганной волной – сосед, видно, вывернул рычаг громкости до упора. Поддал, похоже, с полочки. Обычно в квартире не шумели. «Пора вмешаться советской милиции», – раздраженно подумал Зайцев. Но не успел. Послышались несколько яростных ударов кулаком в дверь. «Башкой своей дурной постучи», – огрызнулся осажденный. Но сдался. Радио заткнулось на полувзвизге. Соседи в квартире старались не переходить огневой черты в ссорах.

Это было мудро.

Зайцев сходил на кухню и одолжил у соседки ножницы. От застоялого запаха еды вспомнил, что давно не ел. И тут же забыл.

В комнате, клацая ножницами и держа кусочек пластыря на пальце, он принялся развешивать фотографии на стене. Согласно дате убийства. Самое раннее. Позже, еще позже. Самое позднее. Отошел. Теперь стена напоминала иконостас с карточками артистов, какой заводили себе фабричные девчонки. Иногда, когда за деревьями не видно леса, лучше всего посмотреть издалека.

Сейчас был ровно тот случай. Он чувствовал, что бродит около – совсем рядом. И никак не может увидеть то главное, что лежит перед самым его носом.

Зайцев отошел. Посмотрел на снимки издалека.

В который раз поразились естественности, с какой располагались трупы. Издалека, не вглядываясь, их можно было принять за живых.

Подвинул обшарпанный венский стул на середину комнаты и сел. Чувство, что перед ним снимки живых, не покидало.

«Товарищ Зайцев», – позвал голос соседки из коридора. Вот принесло как назло.

– Что?

«Вас к телефону».

– Иду! – крикнул Зайцев. Он выскользнул так, чтобы соседка не успела сунуть в его комнату любопытный нос.

– В лотерею, что ли, выиграли? – спросила она.

– С чего ты взяла, Нюша?

– Да вон, запирается стал. Не иначе как добра привалило. Богато зажил.

– Так привалило, Нюша, что не продохнуть. А то заходи – проведу экскурсию, коли любопытно.

– На что? На клопов да тараканов твоих смотреть, што ль? – усмехнулась она, проплывая на кухню.

Зайцев взял трубку.

– Алло?

Алла.

– Что подделываешь?

Этот простой вопрос очень его затруднил. Зайцев не любил врать без надобности. Врать Алле теперь приходилось постоянно.

– Занят немного.

Он спохватился:

– Читаю.

– Интересно?

– Очень. А ты из театра звонишь?

– Ага. Так, значит, свидание сегодня отменяется?

О, черт.

– Алла, да нет. Просто сегодня...

– Просто сегодня немного не подходит, верно? Видишь, я уже выучила.

Он слышал на том конце провода улыбку, но ни она, ни ласковая интонация его не обманули: Алла обиделась.

– Алла, что?

Алла помолчала.

– Реже мы встречаться стали, вот что.

Зайцев знал, что это правда: с Нефедовым он встречался теперь гораздо чаще, чем с Аллой. Его вечера, его выходные всасывало это вот расследование.

– Давай я придумаю, как это исправить? – спросил Зайцев.

– Хорошо.

И гудки. Алла повесила трубку. Зайцеву стало досадно. На себя самого прежде всего. Как назло, встречаться реже они стали именно после истории со злополучным макинтошем. Теперь он уже не сомневался, что Алле видится все именно так: слабак и трус, узнал, что девушка классово порочного происхождения, да еще под чужими документами – и в кусты.

Идя по коридору, Зайцев пообещал себе все исправить.

А войдя в комнату, где фотографии убитых глянули на него прямоугольными окошками, сразу обо всем забыл.

Зайцев откинулся на шаткую, тотчас крякнувшую спинку стула. Глаза закрываются. Желтый свет лампочки. Песок под веками. Зайцев раскрыл глаза шире. Вперил в фотографии. Все вместе они содержали какой-то смысл. Эх, раздобыть бы те, с Елагина острова. Еще один фрагмент головоломки. Может, стало бы яснее?

Он смотрел. Ход времени стал постепенно замедляться. И скоро остановился совсем. В чернильно-черном окне стояла сырая ленинградская ночь. И тускло освещенная комната с сидящим в

подтяжках Зайцевым отражалась в ней до мельчайшей детали. Зайцев глянул на отражение – ему стало жутко: он сам на своем стуле походил на тщательно симитированный портрет живого человека.

Память растянула перед ним занавес. Покрывало, перекинутое через шнур. Катя ухватывается обеими руками. Покрывало идет складками, сжимается гармошкой.

На детях веревочные петли. Другим концом веревки привязаны к перевернутому столу, четыре его ноги беспомощно задраны вверх.

– Все живые картины дети готовили втайне. Сами по себе, – шепчет мама по-русски. – Мисс Джонс только...

– Мой первый слог! – выкрикивает Катя, сердито обернувшись. Родители, крестная, тетя с дядей, гувернантка мисс Джонс, бабушка, бабушка-тетушка, папин брат, его жена, остальные лица... Память наводит на резкость, но ничего не получается: будто с колесика бинокля сорвало резьбу.

Дети затягивают какую-то унылую песню. Делают несколько шагов. Стол тяжело едет за ними.

– А Катя у них вроде режиссера, – быстрым шепотом вставляет мама. Получает от Кати негодующий взгляд, прикладывает палец к губам: молчу, молчу. У мамы прическа валиком.

Алеша не со взрослыми. И не с теми, кто представляет картины за «занавесом». В специально сооруженных костюмах, найденных на антресолях шляпах и даже париках. Сестра, брат, кузины, кузены, не разобрать, кто где. Они рычат или пищат гадкими голосами и изображают, что это не они вовсе. А его с собой не взяли. Он силится понять правила этой игры. Что за живые картины? А шарады при чем? Как их полагается загадывать? А разгадывать? Он ясно видит свою руку, белую и пухленькую. Рука прижимает лист бумаги, рядом цветные стволы карандашей и фарфоровые формочки с акварелью. Он должен смиренно сидеть за столиком поодаль и заниматься своим. Рисовать, например. Он – «маленький». Маленьких в шарады к «большим» не берут.

– Wonderful! – шепчет мама, с улыбкой перегнувшись к мисс Джонс. Мисс Джонс, прямая как палка, краснеет, но не сводит глаз со «сцены». Живая картина замирает. Катя дергает занавес. За ним клубится какая-то жизнь.

Взрослые кидают слоги, как мячики.

Угадывает дядя; его розоватая лысина блестит.

– Мой второй слог! – объявляет Катя и снова берется за край покрывала.

Алеша не понимает ничего. Он рисует красивую тетю Алису в синем бархатном платье. Вода в стаканчике сразу становится голубой. Он так увлечен, что не замечает: живые картины кончились. Папа закуривает сигару.

– Ах, что это, осьминог? – насмешливо спрашивает Катя. – А почему синий? Дай.

Он тянет лист на себя, толкает локтем.

– Ах!

Стаканчик лежит на боку. Голубая вода забрызгала Катину платье, вытекает на стол. Расползается цветными пятнами рисунок. Алеша собирается зареветь. Вода наливается красным. Взрослые кричат, роняет сигару папа. На столе, где только что была вода, расплзается красное пятно. Алеша чувствует железистый сладковатый запах – запах крови.

Зайцев вздрогнул, стул громко скрипнул. И проснулся.

В окне было темно, но слышалось, как на набережной скребет лопата. Паша уже за работой: утро. Тело занемело. Он встал.

На голубой в сумерках стене темными окошками глядели фотографии.

И наконец Зайцев по-настоящему их увидел.

### 3

– Куда? – переспросил Самойлов. И от удивления посмотрел Зайцеву в глаза, впервые за долгое время.

– В музей.

– В музей! – подтвердила регулировщица Розанова, по совместительству активистка комсомольской организации. Розанова решительно задвинула Зайцева в сторону. Тон Самойлова ей не понравился.

– Я как представитель комсомольской организации... – энергично и звонко начала она.

– Представительница, – устало поправил из своего угла Крачкин.

Розанова свирепо глянула на него:

– А о вас вообще разговор особый. Наша комячейка к вам давно присматривается.

– Вы мне льстите, товарищ Розанова, – вздохнул Крачкин и отгородился газетой. – Извините, у меня сейчас как раз политинформация.

Зайцев видел, что он нарочно выбешивает Розанову: газету Крачкин держал вверх ногами.

Сам Зайцев против Розановой ничего не имел. Громогласная, простодушная, она даже была ему симпатична.

– Вы что тут делаете? Собрание разве какое? – заглянул Серафимов удивленно.

– В музей волокут.

– Комсомол разбушевался, – пояснил Крачкин. Розанова, в остальном девушка совершенно простая, самолюбиво уловила иронию.

Серафимов с интересом смотрел то на одного, то на другую: пахло схваткой.

– Острите, значит? – обернулась она к Крачкину, раздувая ноздри.

– Боже, не человек, а какой-то конек-горбунок, – немедленно ответил тот.

– Вы оскорбляете в моем лице весь... – начала она.

– Товарищ Крачкин не оскорбляет, он просто цитирует произведение советских писателей товарища Ильфа и товарища

Петрова, – примирительно перебил ее Зайцев, заводя опасную дискуссию в тупик (Розанова не читала ничего, кроме партийных брошюр, отпечатанных на сероватой бумаге). В следующей фразе он попытался ей польстить:

– Товарищ Розанова дело говорит. Между прочим, культурный уровень нашей милиции все еще невысок. А ведь мы должны подавать пример ленинградской молодежи. Идем в Эрмитаж.

Зайцев не стал, естественно, упоминать, что на дело это он же сам Розановой и намекнул. Но так, что она немедленно схватилась за телефон («Алло, товарищ, это Государственный Эрмитаж?»), а потом вылетела из своего красного уголка, как всегда, кипя энергией, но на этот раз совершенно уверенная, что идея эта сама пришла ей на ум. Дашь ленинградских милиционеров в музеи Ленинграда.

– В Государственный Русский музей, – вдруг поправила Розанова. – Эрмитаж не смог оперативно выделить нам человеко-часы.

– В Русский так в Русский, – пожал плечами Зайцев. – Я за.

На него никто даже не взглянул. Розановой молчание остальных не понравилось.

– Вот вы, товарищ, когда в музее последний раз были? – яростно пошла в атаку она. – В театре? В филармонии? Стыдитесь! Теперь, когда перед простым человеком советская власть распахнула двери в сокровищницы мировой культуры...

– Девушка хорошая, вот если сопрут в музее что-нибудь, то мы туда мигом примчимся. И вора задержим, – попытался урезонить ее Самойлов.

– Я вам не девушка!

– Жаль, – тихо шепнул Крачкин.

– Что? – разъярилась Розанова.

– Что – что? – с невинным видом переспросил он. Крачкин ненавидел Розанову ненавистью мужчины, чья молодость пришлась на то время, когда дамы носили большие шляпы и сапожки на шнуровке.

– Ваш моральный и идеологический облик давно вызывает вопросы, – угрожающе произнесла Розанова.

– У кого? – совершенно искренне удивился Крачкин.

– В общем, так. Можете сколько угодно разводить демагогию, а только завтра в одиннадцать ноль-ноль Государственный Русский



музей проводит экскурсию для группы милиционеров. Встречаемся в вестибюле! Явка строго обязательна.

Крутанувшись на пятках, она выскочила, чуть не сбив Серафимова.

– Вы только граждан преступничков предупредите, – буркнул ей вслед Самойлов. – Чтобы с одиннадцати ноль-ноль никакого баловства – милиция в музей пойдет. Чего тебе, Серафимов?

– На выезд. Ограбление инкассатора на Выборгской.

– Ой, а у меня билет на балет, я не могу, – пропищал Самойлов.

– А что, Самойлов, правда, что, если бы Розанова была не кувалда как есть, а тургеневская девушка с косой, мы бы иначе к комсомольским затеям относились? – меланхолично спросил Крачкин, хватая шарф, попадая в рукава.

– Если бы у бабушки был хрен, она звалась бы дедушкой, – быстро отозвался Самойлов.

А Крачкин уже сменил тон, обернувшись к Серафимову:

– Много взяли-то на Выборгской?

В одиннадцать ноль-ноль в фойе Государственного Русского музея Зайцев быстро заметил Розанову и Нефедова. На лице Розановой играло нетерпение. Она жаждала припасть к культуре. Нефедов по обыкновению казался только что вставшим, но еще не проснувшимся.

– Здравствуйте, – кивнула Розанова Зайцеву. Локтем она прижимала к себе сумочку, озиралась по сторонам. – Что-то запаздывают остальные товарищи.

Собирались и проходили дальше группы экскурсантов. Неподалеку маячил худощавый немолодой человек в черном костюме; хрустко белел воротник рубашки. Зайцев заметил, что человек в костюме присматривается к ним, потихоньку сужая орбиту. Зайцев встретился с ним взглядом. Человек в костюме тотчас подошел.

– Товарищи, я встречаю группу милиционеров, – полувопросительно обратился он.

– Мы группа, – ответил Зайцев.

Взгляд Нефедова плавал по стенам. А Розанова, немного смутившись, сказала:

– Пока энтузиазм масс разгорается медленно. Это я с вами говорила, товарищ. Розанова.

Она быстро схватила и тряхнула его руку в знак приветствия.

На лице костюма проступило удивление, но он ничего не сказал. Розанова пояснила:

– Отстает пока что культурное сознание милицейских работников от классового, отстает.

Костюм приветливо улыбнулся:

– Что ж, количество, не сомневаюсь, компенсируется качеством.

Николай Семенович, – представился он.

– Зайцев.

– Нефедов.

– Что ж, товарищи. Прошу. Начнем.

Он протянул узкую, не знавшую физического труда ладонь, приглашая. И плавно, с осанкой хозяина здешних мест двинулся к мраморной лестнице, крытой малиновым ковром. Все трое затопали за ним. Огромные окна впускали свет. Розанова смотрела себе под ноги.

– Вот жили-то цари, – попытался заговорить с ней Зайцев. – Это ж надо: такая махина для каких-то шести или семи человек.

Розанова покосилась на него.

– Мещанские у вас представления, товарищ Зайцев. Здесь – цари не жили. Здесь они хранили в недоступном для трудового народа месте сокровища культуры, – произнесла она, отдуваясь. Подъем по лестнице в сочетании с этой тирадой дался ей нелегко.

Зайцев осекся.

– Ничего. Главное, вы стараетесь. Тянетесь, – приободрила его Розанова. Зайцев видел, как Николай Семенович иронически приподнял бровь. «Вот будет потом среди своих рассказывать, как водил тупых мильтонов», – с неприязнью подумал Зайцев. И чуть не наскочил на него: тот внезапно остановился. Обернулся:

– Что же вы хотите посмотреть сегодня? Может быть, юмористические сценки из народной жизни?

Зайцев слышал в его голосе вежливо замаскированную насмешку. А может, и искреннее желание найти внезапным гостям развлечение согласно их интеллекту и культурному уровню.

Как бы то ни было, юмористические сценки решительно не вписывались в его план.

– Можно и юмористические, – пожал плечами Нефедов.

– А это вы зря, товарищ музейный работник, – встрял Зайцев. – Мы не школьники какие-нибудь, которым лишь бы хиханьки и хаханьки. Если хотите знать, поимка современных бандитов часто требует ума и расчета. Вы уж извините, что Советская республика сразу позвала нас в строй, в университетах учиться нам некогда было. Да и книжки читать тоже. А многие и школу окончить не смогли.

– Я не говорил... – забормотал Николай Семенович, но было видно, что именно это он, в сущности, и говорил, и теперь ему стало неловко. Как человек интеллигентный, он не обижал людей намеренно. Обижать этих троих скверно одетых, усталых на вид, однако же вот собравшихся в музей милиционеров он не думал.

– Что же вам хотелось бы посмотреть? – повторил он вопрос. Но теперь взгляд его смягчился, стал живым.

– Хотелось бы искусства народного, – заявила Розанова. – В котором виден высокий дух русского человека. Только без религиозного дурмана.

Николай Семенович явно задумался.

– Вы, вероятно, имели в виду Брюллова? – учтиво спросил он. Хотя всем сразу стало ясно, что имя Брюллова Розанова слышит впервые, но тон Николая Семеновича был таким серьезным и простым, что она кивнула:

– Верно.

– Отличная мысль! Идемте, товарищи.

Пока они шли сквозь залы. По гладким и пестрым паркетным полам. Мимо людей на портретах – мордатых, в своих пышных негнущихся нарядах, словно обшитых деревянными досками.

Нефедов внезапно толкнул его локтем. Зайцев чуть умерил шаг. Николай Семенович быстро удалялся, за ним спешила Розанова. Нефедов выждал, когда они отошли подальше.

– Зачем мы сюда притащились? – спросил он Зайцева.

– Культработа по комсомольской линии. Ты комсомолец, Нефедов? Повышай уровень.

Сделал вид, что безмерно заинтересовался каким-то портретом сильно нарумяненной дамы: свекольные кружки на белом меловом лице. Теперь он был уверен, что Розанова их не услышит. Нефедов встал рядом.

– Видишь ли, у музеев такая неприятная особенность: они закрыты по ночам.

Нефедов пялился на портрет.

– Ты, Нефедов, видно, по осени в спячку впадаешь, – рассердился Зайцев. – В твоём организме явно замедлились все процессы, включая умственные. Как бы мы еще смогли бы в рабочее время сюда попасть? Днем ни тебя, ни меня никуда не выпустят. Пришлось напустить на них Розанову.

Он вынул фотографии.

– Ты во все глаза смотри. Наши убитые. Они все изображают какие-то живые картины. Части шарады. Но какие картины – это хороший вопрос для следователя с высокой культурой. Так что давай культурно расти. У нас час-другой на это есть.

Ему показалось, что лицо смотрительницы обращено в их сторону. На всякий случай быстро сунул снимки в первый попавшийся карман.

– Картины? Шарады?

– Ну да. Такая игра раньше была.

– Что-то не припомню такой игры.

– Так это не у нас с тобой, Нефедов. Мы рылом не вышли. Это богатенькие детки играли. Буржуйские. Во времена царизма. Сперва загадывали слово. Наряжались и изображали собой картины. А другие должны были отгадать. Первый слог – по названию первой картины. Второй – по второй. И так далее.

– Кто-то зашифровал слово и для этого уколошил дюжину людей? – не поверил Нефедов. – Чтобы мы бегали и гадали?

– Думаешь, я не прав?

– Хрен знает. – Нефедов из-под припухших век смотрел на свекольную красавицу. – Только зачем? Я понимаю: тюкнуть, чтобы вещички потом хапнуть. А тюкнуть без всякого смысла...

– А смысл, может, есть. Только для этого сначала надо понять, что он нам сказать пытается.

– Он? Нам? – Нефедов хмыкнул.

– А это как письмо в бутылке, Нефедов. Тому, кто найдет. Ну а поскольку трупы обычно находят уголовный розыск, то да, Нефедов, – нам.

– Это портрет неизвестной петровского времени, – раздался позади них дружелюбный голос, так что оба чуть не подскочили от страха. Смотрительница подошла совсем неслышно. На ее лице было написано, что она не собирается отпускать их без полной лекции о портрете петровского времени.

– Товарищ Зайцев! Товарищ Нефедов! – заухал трубный голос Розановой: она, наконец, обнаружила пропажу и теперь неслась к ним, наклонив голову, как молодой бычок. – А мы вас обыскались. – Она бросила воинственный взгляд на смотрительницу: мол, а тебе чего? – Не отставайте!

– Тут поразительной красоты картины, товарищ Розанова! Залюбовались! Не оторваться! – крикнул ей Зайцев. – Большая благодарность комячейке за то, что проводите с нами эту культурную работу. Растем прямо на глазах.

– Культурно растем, – зачем-то пояснил Нефедов смотрительнице. Ее взгляд сразу стал подозрительным: она обшарила Нефедова сверху донизу, особенно по карманам, словно забеспокоившись, не спер ли он каким-нибудь таинственным способом картину со стены.

– Пойдем, Нефедов. Пора расти дальше.

Зайцев одарил смотрительницу широкой улыбкой (отчего та занервничала еще больше), пихнул, придавая ускорение, Нефедова и поспешил за Розановой.

Поход в Русский музей, однако, оказался бесплодным.

– Мне многое понравилось, – застенчиво сообщил Нефедов, когда они ввинтились в трамвай. – Особенно где землетрясение.

– Ну все, Брюллов может спать спокойно: «Фу, одобрил меня Нефедов», – попытался пошутить Зайцев, но настроение у него испортилось. За окнами трамвая воздух стремительно наливался вечерней синевой. У нее был сегодня привкус упущенных возможностей: день закончился без толку.

– В Ленинграде много музеев. Где-нибудь да найдем.

Лица пассажиров были усталыми. В трамвае зажглось электричество. Лица стали зеленоватыми.

– А как же, – вяло отозвался Зайцев.

Не верилось, что идея его оказалась неверна. Не может быть. Но Нефедов прав, в Ленинграде очень много музеев.

– Ты слышал, Нефедов, что если человек пойдет в Государственный Эрмитаж и хотя бы несколько секунд постоит у каждой картины, без сна, перерывов на обед и по нужде, то на это уйдет пять лет? Нет? Зря. Научный факт.

– Чего, Русский музей мы уже проверили.

– Ты, Нефедов, оптимист.

Нефедов сошел на своей остановке, подняв ладонь на прощание.

– До завтра, – отозвался Зайцев, хотя Нефедов его уже не слышал: двери сомкнулись. Трамвай побежал дальше по улице 3 Июля, которую горожане упорно называли на старый лад Садовой. Мелькали темные громады домов, кое-где уже горели оранжевые квадраты окон. Трамвай обогнул Николу Морского. Зайцев спрыгнул.

...Фаина Баранова изображала собой портрет – но не Фаины Барановой. Так же, как и убитая Карасева. И таких портретов – с метелочкой из перьев и с гвоздикой – он тоже в Русском музее не увидел. Увидит ли в каком-нибудь другом? Существовали ли такие портреты вообще? Или родились в безумной больной голове убийцы? Да и больной ли?

Может, он обычный бандит. Бандитские ритуалы иной раз выглядели изуверски бессмысленными, но за ними, однако ж, была своя несокрушимая логика. Только форма их была дикой, а цель – очень даже ясной. Может, это новая бандитская традиция такая? А что? Иногородняя банда на гастролях. Имело это значение? Или нет?

Или, может, убийца один, окончательно спятил и вообще импровизировал некие портреты?

А ведь остальные убитые явно представляли собой какие-то истории. Где их искать?

Шагая, Зайцев по привычке теребил в кармане твердые углы фотографий: снимки теперь всегда были при нем. Машинальные движения пальцев, словно у шулера, оглаживающего колоду. Помогает думать. Только почему-то все никак не может помочь.

И что тогда изображали собой убитые на Елагином острове? Их группа была самой сложной, и, несомненно, узнай он ее сюжет, это кое-что прояснило бы в остальных убийствах. Или нет?

Как ни крутил Зайцев в уме кубики слогов (пор-трет), как ни щелкал в кармане картонными уголками – ничего путного не выходило.

Может, он просто забыл, как играют в шарады?

– Билетик лишний не желаете? – пробудил его от раздумий голос.

– Чего?

Перед ним маячил гражданин, обе руки в карманах. В воздух из форточек вырывались и плыли обрывки мелодий: консерватория гудела, как улей. У театра напротив молочным светом горели фонари, вливалась в освещенный подъезд толпа.

Билетный спекулянт.

– Не желаю, – ответил Зайцев.

– Билет есть лишний? – тут же подскочила к спекулянту гражданка в беретике. – Давайте. Сколько? Больно дорого?

Но сама уже вытаскивала из сумочки кошелек. Ленинград был балетоманским городом. На поход в балет здесь у граждан были деньги всегда. Особенно теперь, когда решался бытийный вопрос: кто лучше – Уланова или Дудинская?

– А еще билета не найдется? – уже совался гражданин в кепке.

Зайцев свернул к служебному входу. Алла сегодня уходила до спектакля: наконец-то наняли еще одну костюмершу. Театральную



рутину Зайцев уже выучил. Артисты давно прошли в свои гримуборные. Алла уже подала им костюмы. Мимо торопились к вертушке, сверкая лакированными футлярами, музыканты. Зайцев в который раз поражался их заурядным, совершенно обыкновенным физиономиям. Если бы не футляр, не сказал бы, что эта харя имеет отношение к музыке, эти пальцы извлекают на свет гармонию. Вахтер тоже выучил Зайцева и уже не приставал с вопросами, кого из танцовщиц или певиц он тут подкарауливает. Наконец в конце низкого коридора показалась Алла в пальто. В руке маленькая бумажка. А лицо – слегка озабоченное: она смотрела вверх Зайцева. Толкнула вертушку. Вышла.

– Слушай, надо человека одного дожждаться, – сказала она вместо приветствия и протянула бумажный квадратик: контрамарка.

– Ну, и ты здравствуй, – сказал Зайцев. – Сколько у вас тут балетоманов пасется, – заметил он. Это был далеко не первый раз, когда надо было «дожждаться одного человека».

– Это же не мы. Это артисты приглашают. Я только передаю.

– Вы так театр разорите.

– Ты не понимаешь, это интеллигентные люди. Им балет – как...

– Я как раз понимаю. Я алкоголиков каждый день вижу.

Алла не успела ответить. Радостно взмахнула рукой кому-то за его спиной. Зайцев обернулся: им навстречу спешил опрятный толстячок.

– Алексей Александрович! – воскликнула Алла.

– Аллочка, здравствуйте, – он поцеловал ей руку, окинул Зайцева добродушными глазками. – А это ваш друг? Тот самый, который в школе работает?

Зайцев вскинул на нее удивленный взгляд. Алла покраснела до ушей.

– Да.

– Очень приятно, – он разглядывал Зайцева с любопытством старой свахи.

– Мне тоже, – пожал ему руку Зайцев.

– Вы ведь историю преподаете, насколько я помню? – не унимался толстяк.

– Все верно, – не моргнув глазом подтвердил Зайцев. – А вы?

Толстячок улыбнулся:

– Я работаю в музее.

– А вам просили передать... – наконец сумела встрять Алла и протянула контрамарку. В этот момент мимо них проносился очередной оркестрант. Рука толстячка нырнула за добычей так поспешно, футляр чиркнул по нему так сильно, что толстячок потерял равновесие и обрушился бы, не успей он схватить Зайцева за рукав пальто. Рванул, повисая всем телом, – и из кармана Зайцева вместе с рукой выпорхнули фотографии.

– Ах, прошу прощения!

Мысленно матерясь, Зайцев быстро присел, стал собирать снимки. Но проклятый интеллигентный толстячок еще быстрее ринулся на помощь. В руках у него оказалась фотография женщин из церкви. Взгляд уже изучал изображение.

Сейчас он испугается. Обомлеет. Побледнеет. Скривит рот.

Но ничего такого не произошло.

Взгляд голубых глаз был так же спокоен. Розоватый высокий лоб и мягкие щеки все так же излучают добродушие.

– Это кто-то из ваших школьников пытался с «Благовещения» снять репродукцию? – невинным тоном поинтересовался Алексей Александрович.

Зайцев возблагодарил небеса за скверное качество печати: толстяк не заметил ничего подозрительного. Трупы женщин походили на неумело выписанные фигуры живых. Зайцев кивнул. Забрал снимок. И произнес быстрее, чем успел понять и мог бы объяснить, зачем это делает:

– Ага. Оно самое. Только из головы вылетело, кто художник.

– Ван Эйк, – спокойно ответил толстячок. – Это «Благовещение» ван Эйка.

– Верно, верно.

– Наше, эрмитажное, – удовлетворенно добавил Алексей Александрович. – Молодец ученик ваш: не умеет, но, видно, любит, старается. Не все получилось, но старался, старался. Это самое главное. Сколько ему или ей лет? Вы в каких классах преподаете?

У Аллы опять заалели уши.

– Алексей Александрович, вы на спектакль опаздываете! – напомнила она. И схватила Зайцева под руку, потянула прочь. Зайцев от души ей посочувствовал. Но помогать не стал. Толстячок уже толкал вертушку.

– А можно на картину эту посмотреть? – быстро сообразил он.

– Да ради бога! Искусство принадлежит, так сказать, народу.

Алла, как паровоз, тянула его прочь.

– И мальчика приводите! – крикнул Алексей Александрович. – Я вам пропуск на служебном входе оставлю.

Алла, не оборачиваясь, выскочила наружу. И, отпустив руку Зайцева, почти оттолкнув, быстро пошла к трамвайной остановке. Он постоял несколько мгновений, потом побежал следом.

– Да не беги ты так!

Он попытался поймать ее за руку.

– Алла, перестань.

На них смотрели люди, толпившиеся на остановке. Алла смутилась, замедлила шаг. Зайцев пошел рядом.

– Брось. Даже смешно получилось, по-моему. Учитель истории. Я не против.

– Прости.

– Да я же не обиделся! Ну же!

В глубине души он как раз обиделся. Вот так, значит, Алла их видела: немного стыдно, что твой приятель – мильтон. Мильтон в глазах знакомых Аллы, людей ее круга был все равно что солдат или пожарный: в подруги ему годилась кухарка, нянька, прачка. Даром что революция перевернула все с ног на голову. Не всем и не всех. Алла в новом советском обществе была всего лишь театральной портнихой. Но чувствовала себя все-таки барышней, которая встроилась в новое общество, как могла, не слишком поступаясь принципами. Как бы вне общества. Потому что театр хоть и звался государственным, а все равно был для горожан Мариинским. Его и не называли иначе как Мариинкой. И те же самые балетоманы или почти те же, что дивились императорской приме Карсавиной, теперь отдыхали от советской действительности, любясь на па Улановой. Да и «Пиковая дама» была «Пиковой дамой» – не важно, при советском ли строе или при царе.

Алла остановилась. За оградой в темноте нежно голубел Никола Морской. Свет уличных фонарей не достигал асфальта.

– Извини, – опять повторила она.

– Совершенно не стоит извиняться.

А что еще он, Зайцев, мог ей сказать?

– Просто не хочу, чтобы они воображали, будто ты... Потому что ты не такой.

– А я просто не хочу, чтобы ты из-за этого огорчалась, – примирительно сказал Зайцев. – Это пустяки.

Она недоверчиво посмотрела на него.

– Уверен. Назови хоть горшком, хоть учителем истории, как мудро замечает поговорка. Seriously. Мне все равно.

Она немного подумала: верить или не верить? Вздохнула.

– Хорошо. Идем.

Он замялся.

– Что же?

– Ты знаешь... я, пожалуй, сегодня лучше к себе.

Он не сказал «мы» и «ко мне». Алла чуть сжала губы. Она заметила разницу.

– Ты же не...

– Просто длинный день сегодня. Ты лучше скажи, в каких хоть я классах преподаю? А то завремся. Давай держаться официальной версии.

Алла чуть улыбнулась.

– Ты что, серьезно собрался к Алексею Александровичу в гости?

– Почему нет?

– А что это за рисунок? Тот. Кто его сделал? – вдруг вспомнила она.

– Да Нефедов наш, представляешь? – на ходу выкрутился Зайцев.

– Нефедов?

– Сам насобачился. Самородок из толщи народа, можно сказать.

«Так и живем, – подумал он. – Она врет, я тоже вру».

Алла покачала головой. Она явно поверила.

– В средних классах, – ответила она.

Из-за поворота показался трамвай.

– Твой номер, – заметил Зайцев, глянув на три цветных огня у трамвая во лбу.

Они поцеловались на прощание.

Возможно, она не до конца поверила ему, что он не обиделся. А, все равно, думал Зайцев, шагая по темной пустой набережной Мойки. Только горящие окна домов размечали путь. Плескалась чернильная вода. Ван Эйк! Значит, все-таки картина существует! И если

существует эта, то и все остальные тоже. Прибавляет ли это знание что-нибудь к его расследованию или нет, а если да, то что, – этого Зайцев пока не мог сказать. Он лишь чувствовал, что след, казавшийся совсем остывшим, опять налился теплом. Опять звал за собой. И все, что к этому не относилось, просто выпадало из умственного взора. В такие моменты требовалось быть одному.

# Глава 13



Ладонь, которой он прижимал лист бумаги, ломило от холода. Оконное стекло, казалось, было вырезано изо льда. Ветер изредка бухал воздушным кулаком в окно. Снег летел то вверх, то куда-то в сторону, то наискосок, то снова вверх; казалось, сыпало отовсюду: с неба, с земли, из стен. Впрочем, ни земли, ни неба, ни Фонтанки, ни зданий не было – все смешалось, провалилось, завертелось в серовато-белой мгле. Февраль в Ленинграде – испытание жестокое.

Зайцев сличил фотографию и переснятый рисунок. Схема преступления в чистом виде. Но сидящая женщина с гвоздикой узнавалась вполне.

Он больше не хотел рисковать.

Глянув мельком и в тусклом свете на театральной проходной Алексей Александрович еще мог принять криминологический снимок за фотографию неумелой ученической картины. Но вряд ли он повторит эту ошибку, рассматривая фотографии не спеша при свете дня. Один раз повезло. И спасибо.

Осталось позвонить Розановой: «натравить комсомольцев», как это называл Крачкин. Зайцев снял трубку. И повесил. Он вдруг осознал, что никто не заметит его отсутствия. А заметит, так что? Уволят за прогул? Так он и не собирается прогуливать. Идет опрашивать эксперта по делу об убийстве гражданки Карасевой, «женщины с гвоздикой»: на нее тоже всем наплевать.

Серафимова, Самойлова, Крачкина, да и Коптельцева тоже Зайцев теперь видел только мельком – в коридорах, на лестницах. Формально он еще числился в бригаде. Даже и в столовой сидели рядом, словно изображая перед остальными одно абсолютно счастливое семейство. Но в присутствии Зайцева все теперь говорили только о ерунде: кино, оперетте, бабах. И никогда о том, о чем говорили раньше всегда: о делах. О деле.

Куда же завело их расследование, гадал Зайцев. На него было брошено немислимое количество людей, машин. Оно разрасталось. Ветвилось. Но куда? Судить он мог только по их хмурым физиономиям – и делал вывод, что дело шло тяжело.

Снаружи ветер взялся за него так яростно, так облепил сразу снегом, что Зайцев мог смотреть только себе под ноги. Мимо так же слепо брели прохожие. Чтобы не угодить под трамвай или телегу, Зайцев решил идти вдоль Фонтанки до самой Невы, а там свернуть к Эрмитажу. На набережной Невы он немедленно об этом пожалел. Студеный мокрый ветер вырвал из него последние крохи тепла. Другой берег – с золотым шпилем Петропавловской крепости – сегодня было не видать: мосты, казалось, обрывались в белесое никуда. Снег лепился к ресницам. Зайцев брел, наклонившись вперед, отворачиваясь от ветра и снега, и едва не пропустил козырек служебного входа с медной табличкой «Государственный Эрмитаж».

Алла отнюдь не пришла в восторг, когда Зайцев напомнил ей об их уговоре с Алексеем Александровичем.

– Зачем?

Ей все еще неловко было за «учителя истории». А еще – понял Зайцев – совсем не хотелось смешивать ту часть своей жизни, в которой был он, с той, где были ее театральные знакомые.

– Если хочешь в Эрмитаж, давай сами сходим, – сказала она. – Купим билеты и...

– Мне кажется, он интересный человек, твой Алексей Александрович.

– Во-первых, он не мой!..

– Хорошо, не твой. Но интересный.

– Ничуть не интересный. Серый хомячок из отдела геральдики.

– Не печник же. Что-то он может рассказать и о картинах.

– Тогда запишись на экскурсию!

– Неохота ходить с группой. Какая радость? Все толкаются, все вперед лезут. И на каждом шагу только и слышишь: во жили-то цари.

– Вот и сходим сами по себе, – настаивала Алла. Но номер Алексея Александровича дала.

– А где мальчик? – сразу спросил Алексей Александрович, пока Зайцев хлестал шапкой по скамейке, сбивая вмиг отяжелевший в тепле снег. Потопал сапогами.

– Ангина, – соврал он на ходу. Нефедов отправился опрашивать соседей Карасевой. Всех известных друзей, знакомых, сослуживцев – всех, кто имел хоть какое-то касательство к убитым, они заносили в



одну таблицу. В надежде, что она выявит пересечения. Но пока таблица только росла, пухла и ничего не показывала.

– Может, они ошиблись, связав эти убийства в одну цепь? Не они. Он – ошибся.

От тепла в вестибюле сразу начало колоть руки и лицо.

– Жаль. Мы можем в другой раз. Когда мальчик ваш поправится, – предложил Алексей Александрович.

Зайцев не успел ответить.

– Ну что ж, зря вы, что ли, шли в такую пургу! – радостно ответил за него Алексей Александрович. Учтиво подождал, пока Зайцев натянет огромные войлочные тапки, щадящие драгоценный паркет. – Готовы?

И они пошли.

Алексей Александрович, серый хомячок, болтал без умолку. Видимо, работа в отделе геральдики не баловала его новыми лицами. А старым он сам надоел. «Не женат», – сделал вывод Зайцев.

Он оставил на поверхности сознания пару сторожевых – на случай, если Алексей Александрович обратится с прямым вопросом. А сам полностью сосредоточился на картинах, которые мелькали по сторонам. Квадраты и прямоугольники на стенах казались ему окнами, а сам Эрмитаж – причудливо вывернутым наизнанку зданием, обитатели которого выглядывали из своих рам или вовсе не обращали внимания на прохожих вроде него, Зайцева. Занимались своими делами: обнимались, качали младенцев, писали, читали или просто выставляли, как на подоконник, блюда со снедью.

В своих войлочных лодках-башмаках он бесшумно скользил мимо лиц – то коричневатых, как кора, то розово-сияющих, как жемчужины. Мимо пейзажей и групп. И чем дальше шли, тем сильнее ныло у Зайцева под ложечкой: он чувствовал, что он на верном пути. В позах, в одеяниях, в прическах, во всем том неуловимом, что относится к стилю и духу искусства, он видел сходство с фотокарточками, которые прикрепил у себя в комнате на стене. Это чувство было похоже на падение в пропасть. Летишь и летишь – и не знаешь, когда ударишься об дно.

– Товарищ Зайцев! – громко повторил хомячок.

– Что?.. Засмотрелся по сторонам, – изобразил смущение Зайцев.

– Я и вижу. Здесь есть на что посмотреть.

– Извините. А что вы сказали?

– Я сказал: пришли, зал нидерландского искусства, XV и XVI века, – широко обвел руками Алексей Александрович. – Вот здесь и ваш ван Эйк.

И Зайцев, в который раз слегка позавидовав чужой образованности, заложил руки за спину и принялся внимательно оглядывать высокие широкие изобильные полотна. В самом низу бархатные кресла и диванчики неприветливо выдвигались вперед, как капризно оттопыренные губы.

Они обошли коллекцию, потом еще раз, причем теперь каждый выписал свою восьмерку. Встретились. Алексей Александрович был явно растерян.

– Ничего, найдется картина. Идемте в следующие залы, – ободрил его Зайцев. Видимо, Алексей Александрович нечасто покидал свой отдел геральдики – успел забыть, где что висит в самом музее.

– Это все, – настаивал он.

– Выходит, не все.

Тот дернул головой.

– Все картины сгруппированы: по странам, школам, эпохам, – принялся объяснять Алексей Александрович. – Вся нидерландская коллекция – здесь. Или здесь, или больше нигде.

– А перевесить картину не могли?

Тот посмотрел в сторону.

– Это абсурд. Это же музей, а не гостиная!

– То есть если «Благовещение» не в этом зале, то его нет больше ни в каком другом зале? Верно?

– Если это работа ван Эйка, то она может быть только здесь!

Щечки его опали.

– Может, то был не ван Эйк?

– Нет, это точно ван Эйк, – упрямылся Алексей Александрович.

– Вы, может, подзабыли, – мягко подсказал ему Зайцев.

– А когда ваш ученик сделал эту работу? – спросил Алексей Александрович, видно, обдумывая какую-то свою мысль.

Зайцев не успел ответить.

В зал, бормоча и мягко шурша войлочными калошами, втянулась группа экскурсантов: темная шершавая гусеница, вся в зернышках лиц. Экскурсовод – дама в узкой юбке – терпеливо ждала, пока

втянется хвост. И только тогда заговорила. Хомячок присел на алый диван. Он явно пытался что-то вспомнить.

– Человек не может знать все, – опять стал утешать его Зайцев. – Вон какой музей огромный. Картина там, картина сям.

– Вы с ума сошли! – взвизгнул Алексей Александрович. – Это не та картина, которую можно перепутать с другой. Вы понимаете, что значит шедевр?

«Боже ты мой, – подумал Зайцев, – какая страсть». Он решил дать Алексею Александровичу обсохнуть морально и прийти в себя. Стал наблюдать за экскурсантами. Они шли за экскурсоводом, как телята.

Алексей Александрович вынул платок и промокнул лоб, словно это могло помочь мыслительному процессу под его черепом.

– Гражданочка! – Зайцев вскочил, вскинул руку. Экскурсовод недовольно обернулась. – Вопрос разрешите!

– Вы с группой? – сурово спросила она.

– Я не с группой.

– Боюсь, вы нас перебиваете, – строго отрезала она и снова обернулась к пастве. – Период зарождения капиталистических отношений в Нидерландах...

Зайцев знал, как таких укрощать.

– Что же, я не советский человек из-за этого? И у меня нет прав прикоснуться к знаниям? Не при царизме живем, между прочим.

Мегера скривилась. «Пусть товарищ спросит!», «Жалко, что ли?», «Может, всем интересно», – нестройно поддержала его группа: по виду студенты. А лица – широкие, совсем деревенские. Зайцев почувствовал симпатию.

– Скажите, вы ведь художника по имени ван Эйк знаете?

Холодный взгляд. Разумеется.

– Как бы на его «Благовещение» взглянуть? Знаменитая картина. Больно интересуюсь взглянуть на шедевр.

И тут произошло поразительное. Зайцеву на миг показалось, что ее ледяное лицо треснуло, как будто по нему изнутри ударили молотком. Разлетелось вдребезги. Но в следующую секунду экскурсовод собралась. Лицо ее стало по-прежнему холодным, только на щечках зацвели два алых пятна. И еще одно стало предательски подниматься из-под высокого воротничка белой блузки.

Кажется, это превращение заметили и в группе.

– Вы что, не знаете? – раздался назойливый голос: видимо, этот товарищ не первый раз додумал вопросы.

– Я. Конечно. Знаю. Эту. Картину, – отчеканила мегера и обернула лицо к Зайцеву. – А вы. Товарищ. Задерживаете. Группу.

Группа недовольно забормотала. Вдруг всем захотелось увидеть именно «Благовещение». И именно ван Эйка, до которого еще секунду назад никому не было дела.

– Пройдемте в следующий зал! – пронзительно выкрикнула экскурсовод голосом невской чайки. И в своих неуклюжих бахилах заскользила через распахнутые створки дверей. Группа ропотнула, но после мгновенного замешательства подалась следом: упускать оплаченный рассказ никому не хотелось.

Зайцев подошел к Алексею Александровичу.

– Вот ведь петрушка, – поднял тот василькового цвета глаза под чеховскими стеклышками. – Обещал вам «Благовещение», а его, выходит, и нет.

И добавил:

– Хорошо, что у мальчика ангина. Юность не прощает разочарований.

Зайцев чуть не спросил: какого мальчика. Но успел сообразить и сочувственно кивнул.

– Алексей Александрович, – мягко позвал он, садясь рядом.

Опять васильковый взгляд.

Зайцев решил: была не была. И вынул листочки папиросной бумаги.

– Взгляните вот на это.

Алексей Александрович пролистал листки один за одним. Фаина Баранова. Карасева. Пара студентов. Снова женщины, найденные в церкви. Снова Фаина Баранова.

– Вы ведь не учитель? – спросил Алексей Александрович.

– Я не учитель, – ответил Зайцев.

– Алексей Александрович, еще раз посмотрите. Вы уверены?

– Конечно, я уверен!

– Все-таки вы служите в отделе нумизматики...

– Геральдики! – вскрикнул тот, как будто его ущипнули. Зайцев мысленно себя выругал. Но толстяк уже разошелся:

– Это вам, товарищ, что геральдика, что нумизматика – две одинаково ненужные дисциплины, отягощающие ваш небольшой мозг! Сердито блеснули стеклышки.

«Ого, да в нас проснулось красноречие». Зайцев переждал взрыв, засунув руки в карманы своего дрянного пиджачишки.

– Это верно, – смиренно согласился он. – Поэтому я и решил спросить вас как человека образованного и культурного.

Поддействовало. Алексей Александрович сердито пыхнул, но, видимо, несколько поутих.

– Извините меня, – сказал он. – Я не имел права так говорить.

– Да не страшно. Я не обидчивый, – заверил его Зайцев.

Но не убедил.

– Понимаете, Эрмитаж для меня... Это моя жизнь. Я сразу понял, что мое место – здесь, еще когда был студентом. Правоведом. Да я с закрытыми глазами мог бы по нему пройти, не ошибившись. Не было совершенно никакой возможности к тому, чтобы в императорский Эрмитаж меня приняли на службу. Я поступил сюда без жалованья.

«Средства, значит, позволяли, – подумал Зайцев. – Без жалованья-то».

Алексей Александрович, видимо, догадался, что именно мог подумать собеседник. Потому что насупился:

– Вы, конечно, сейчас же подумали: паразитические классы.

– Ничего я такого не подумал, – перебил Зайцев.

– Подумали, подумали, – ласково уговаривал его теперь Алексей Александрович. – Вы молодой человек совсем другой эпохи. А я вам скажу: эпоха-то ни при чем. Мечты юношей всегда сделаны из одной и той же материи. Независимо от политического строя. Императорский Эрмитаж был для меня, как для вас...

ОСОАВИАХИМ? Я правильно выговорил? Вы ведь туда наверняка бегаете – и, конечно, бесплатно.

Глаза его увлажнились. Он смотрел в пространство. Вернее, во время – и где-то там вдалеке видел самого себя: юного правоведа.

Зайцев подsunул листочки поближе.

– Эта тоже эрмитажная? – вернул он Алексея Александровича на землю.

– Да, тоже. Это... это... – Алексей Александрович ткнул пальцем в верхний листок, чуть ли не прорывая бумагу, – Дирк Боутс, «Благовещение».

«Студентики», – мысленно отметил на своем языке Зайцев. Алексей Александрович смахнул этот листок позади остальных.

– Это, – яростно ткнул он в жалко распростертую фигуру замерзшего по пьяни Фокина, – «Меццетен» Ватто.

– А картина как называется? – уточнил Зайцев, подивившись сложному имени художника.

– «Меццетен»!

– Хорошо, хорошо.

– Кисти. Антуана. Ватто.

– Тоже Эрмитаж?

Уничижительный взгляд. «Ага, каждый должен знать, кто это».

– Ладно. А следующий?

Алексей Александрович близко поднес к глазам рисунок, переснятый с фотографии, на которой было запечатлено тело убитой Карасевой.

– Это что у нее в руке? Цветок?

– Гвоздика.

– Это Рембрандт, – отозвался Алексей Александрович, голос его вдруг сделался тусклым, сдавленным. – «Женщина с гвоздикой».

– Какая? Кто?

Пауза. Затем полные плечи приподнялись и опали:

– На эту тему, товарищ Зайцев, можно кандидатскую защитить, – печально сообщил он. И опять умолк.

– Тоже Эрмитаж?

Молчание – знак согласия.

– Ну а эта, Алексей Александрович? Вы посмотрите: тоже неизвестная?

Фаина Баранова с цветком и своей – или не своей? – метелочкой из перьев.

Алексей Александрович, видимо, немного успокоился, голос по-прежнему звучал грустно, но слова опять лились из него без всяких усилий, как вода из крана. Зайцев старался врезать себе в память каждое слово, еще не известно, какая деталь и как может пролить свет на убийство Фаины Барановой.

– Это Изабелла Брандт. Более известная как первая жена Рубенса. Этот портрет написан ван Дейком, знаменитым портретистом, чрезвычайно модным, снискавшим успех и славу. Сам Рубенс неоднократно писал портреты Изабеллы. Но этот – из эрмитажного собрания. Изабелла умерла сравнительно молодой по нашим меркам, от чумы.

– У них были дети? – на всякий случай спросил Зайцев. Может, и Фаина Баранова только казалась окружающим кошелкой без личной жизни, а на самом деле...

– Трое.

Поразительная память Алексея Александровича порадовала Зайцева.

– Можно на них всех посмотреть? Не на детей Рубенса, конечно. На картины эти. Здесь, в Эрмитаже.

– Сейчас?

– Да, сейчас. Если можно.

– Музей скоро закрывается, скоро всех посетителей попросят на выход, – оглянулся на темнеющие окна Алексей Александрович: ему явно хотелось отделаться от назойливого собеседника.

– Я же не по билету прошел, значит, и посетителем не считаюсь. Ведите!

– Куда? – растерялся Алексей Александрович.

– То есть как – куда? Вы же сказали, все собрано по своим залам.

– В нидерландской живописи мы уже были.

– Мы же не знали, что вот эти картины тоже хотим посмотреть.

– Мы прошли сквозь эти залы. Их там нет.

– Откуда вы знаете?

– Молодой человек! – в голосе опять прорезались визгливые нотки. – Ваше невежество...

– Ой-ой, да, мое невежество, это точно, – успокаивающе поднял ладони Зайцев. – Я же не спорю. Так почему вы считаете, что их там нет?

– Потому что их там нет!

Зайцев знал воровские «истерики» – когда матерые уголовники начинали визжать и биться, поливая всех и вся бранью. Но, видимо, и интеллигентам такое было не чуждо; на свой, конечно, манер.

– Это для вас, – едко подчеркнул Алексей Александрович, – все картины одинаковы, как воробьи, а для кого-то каждая – неповторима, как лицо любимого человека. Вы бы, наверное, заметили, что вашей любимой женщины нет дома?

– Думаю, да, – кивнул Зайцев.

«Не факт», – подумал он с сожалением.

Зайцев старался отвечать покороче и попроще, чтобы не сбить своего чувствительного и высокомерного собеседника. И тот только покачал головой:

– Нам пора.

– Еще один вопросик, – Зайцев наклонился так близко, что чувствовал запах талька, который пробивался сквозь старый, но хорошо сшитый пиджак из-под мышек взволнованного и потеющего Алексея Александровича. – А если я вам опишу картину, вы ее узнать сможете?

– Это зависит от вашего литературного мастерства.

– То есть сможете?

– То есть – сомневаюсь, – съязвил Алексей Александрович. Враки это все, будто полные люди добродушны. Алексей Александрович был весьма ядовит.

– Но я все-таки попытаюсь, – не отступал Зайцев. Через пустой зал прошла смотрительница, задала вопрос одними глазами.

– Мы уже уходим! – крикнул ей Алексей Александрович самым медовым тоном.

– Мы еще минуточку только задержимся! – пересластил того Зайцев. Смотрительница подозрительно покосилась на обоих, но ничего не сказала.

– Значит, так.

Зайцев напряг память. Она сразу навеяла утренние промозглые сумерки. Елагин парк спал мрачно-золотистой, как старая парча,



громадой. Ступни обдало мокрым холодом: он шел к месту убийства прямо по траве, в тех же парусиновых туфлях, в каких его арестовали в мае. Кусты. Желтеет дерево. Небо потихоньку голубеет; поодаль виден мостик. Оранжевая рубаха американского чернокожего коммуниста полыхает, как костерок. Взгляд сразу метнулся туда. Но в центре группы был не негр, а женщина в бутафорском ожерелье. Труп старухи на коленях, руки разведены: на них наброшена простыня. Еще одна убитая тоже на коленях, она молода. Писк. Младенец! Он был в руках у убитой. словно старуха принимала его, единственного живого, у другого трупа.

Зайцев умолк.

Алексей Александрович смотрел на тупые рыла своих войлочных туфель. Неужели мимо?

– Может, я попробую схематично набросать на бумажке? Вот здесь, на обороте, – засуетился Зайцев. Неужели промах?

Алексей Александрович, наконец, разлепил губы.

– Судя по вашему описанию, это «Обнаружение Моисея». Работы Паоло Веронезе, – молвил он. И тут же в глазах его блеснул злой огонек: – Моисей – это изображенный на картине младенец. Веронезе – художник, который ее написал, – презрительно пояснил он.

У Зайцева сердце билось как сумасшедшее.

– Покажете?

Алексей Александрович уже понял, что отделаться от гостя можно только одним способом, и приподнял с алого диванчика зад.

– Отчего же нет. Идемте.

Алексей Александрович шел, как будто из него выпустили воздух. Видно было, что он устал. Смотритель с седыми усами уже затворял двери с медной табличкой «Зал искусства Венеции XVI в.». Но узнал Алексея Александровича.

– Вы что-то припозднились.

– Одну секундочку, – Алексей Александрович опять превратился в милого толстячка-хомячка, каким его впервые увидел Зайцев тогда, на служебном входе Мариинского театра. – Только одну работу Веронезе товарищу покажу. Поспорили мы по поводу одной датировки. На большую пива, между прочим.

«А он врать-то мастак, чешет как по-писаному», – отметил Зайцев.

– Дело, – улыбнулся зритель, одной рукой шире открывая дверь и впуская их, а другой – шлепнув по выключателю. Желтым светом зажглись сразу все лампы.

– А большую пива-то вы мне проспорили! – бодро и громко сообщил Зайцев.

Но было ему не весело, а, напротив, жутковато. Как будто из-за тяжелых штор голубого шелка за ними пока что просто наблюдает (но может и полоснуть) нечто. Некто. Алексей Александрович, шаря глазами по стенам, по картинам, нелепо кружился, как будто хотел показать па вальса без партнерши.

Не было в этом голубоватом зале никакого Моисея.

Зайцев шагал к Конюшенной площади. Или думал, что идет по направлению к ней. Зимняя мгла уже сделала дома одинаковыми. Ветер пытался оторвать шары уличных фонарей. Снег хлестал мокрыми веревками. Удавалось лишь изредка приподнимать лицо – и, получив очередную ледяную оплеуху, тотчас опускать подбородок поглубже в шарф. Набывчившись и отворачиваясь, торопились редкие прохожие. Мысли Зайцева унеслись далеко. Последний час он брел наобум. И только внезапно пробудившись, посмотрел пристальнее: точно! Он узнал впереди не лицо даже, а силуэт, походку.

– Алла! – окликнул он.

Но в этот момент на площади трамвай, наполненный светом и силуэтами, закладывал поворот – и в скрежете Алла, если это была она, не услышала ничего. Ее фигура, склоненная против ветра, быстро удалялась. Зайцев прибавил шаг, но расстояние не сокращал, сам не зная почему. Наверное, потому, что сегодня в театре давали оперу и Алла сама сказала ему, что портниха-сменщица заболела и придется работать до самого конца спектакля и даже дольше: пока соберешь и уложишь все костюмы.

Зайцев спешил вслед за ней, подавляя в себе голос, который твердил ему, что зря это все, что не надо бы за ней бежать.

Алла свернула в подворотню рыжеватого дома. Зайцев осмотрелся: Басков переулок. Осторожно заглянул. Алла, прижимая локтем сумочку, шла через двор-колодец наискосок к единственной двери. Дверь выпустила облачко пара и стукнула. Зайцев быстро отметил все горевшие окна. Второй этаж. Третий, левое. Четвертый. Пятый. Сколько времени Алле нужно, чтобы преодолеть лестницу? Он мысленно шел по ступенькам вместе с ней. Вот Алла на втором этаже. Огибает лестничную площадку. Вот поднимается дальше. Третий этаж. Вдруг в окне встал мужской силуэт. Очевидно, в дверь постучали. Не коммуналка, значит. Мужчина встал и исчез в глубине комнаты. Пошел открывать? Вернулись в комнату уже двое. Женский силуэт. Мужчина подошел к окну, задернул шторы.

Зайцев не испытал ни ревности, ни злости. Только удивление. Видимо, ревность еще не дошла до сознания. Следовало бы подождать

здесь, у подъезда или в арке. Что делают все обманутые ревнивцы? Или, может, он не ревнует потому, что нет у него никаких прав ревновать? Зайцев посмотрел еще раз на плотные шторы. Или ревнует?

– Ну дела, – вслух сказал он.

Что же теперь делать? И делать ли вообще что-то? Что?

Допустим, дождется он ее здесь. Накроет с поличным. И? Закатит ссору? Что полагается в таких случаях делать?

Секунды тикали, секунды были как муравьи, которые вдруг начали шнырять по телу. Нестерпимо. К черту! Он не мог сейчас торчать здесь и дожидаться Аллу. Там, на Гороховой, сейчас горели все окна на их этаже и клубился густой сизый дым от нескольких папирос: бригада совещалась по итогам дня – следствие по делу об убийстве на Елагином острове молотило на полном ходу. То-то они удивятся, когда он!.. Зайцев выскочил из арки.

Когда он добрался до Гороховой, снег на пальто и шапке превратился в толстую оледеневшую корку. Он так замерз, что сперва не почувствовал тепла в вестибюле. На столе у дежурного горела зеленая лампа. Уборщица, виляя задом, возила тряпкой по лестнице. Зайцев побежал вверх, роняя ледяные хлопья.

– Вот ирод. Только что намыла!

Он быстро толкнул дверь кабинета: пусто. В управлении: темно. У Коптельцева: заперто. Снова ринулся вниз по влажным ступеням.

– А где Крачкин? Где Самойлов? Где все?

Дежурный уставился недоуменно. Шлем он в нарушение правил снял, тот стоял на столе как диковинное пресс-папье. Именно по этому шлему Зайцев и понял, что нет в управлении ни Коптельцева, ни Крачкина, ни Самойлова – никого, кто мог бы сделать замечание.

– В пивной, – наконец ответил дежурный.

– В пивной? С какой стати?

– Празднуют.

– В какой пивной?

– Обычной.

Зайцев, не дослушав, выскочил опять в метель. «Обычной» могла быть только одна пивная: на набережной Фонтанки. Ступеньки уходили вниз, в подвальный этаж, а вывеска гласила: «Чайная», но

никого не вводила в заблуждение. Он и сам немало операций здесь отпраздновал с товарищами – когда они все еще были товарищами в обычном, а не коммунистическом смысле слова. Эти времена теперь казались Зайцеву мифическими.

Он угадал.

– Вася! – радостно заорал Самойлов, поднимая толстую кружку. На него обратились лица. Под низким потолком плавал сигаретный дым, а вокруг тусклых лампочек стоял ореол от множества человеческих дыханий. Лица выглядели радостными.

– О, Вася!

– Садись, давай!

На миг Зайцеву даже показалось, что не было этого ничего: нового начальства, его ареста, лета в тюрьме ОГПУ, странного возвращения сразу в дело об убитых на Елагином острове – и еще более странного бойкота, который вывел его за скобки этого самого дела. У Коптельцева воротничок был расстегнут, вывалился жирный подбородок. Серафимов был красен. У Крачкина сентиментально блестяли глазки. Все уже успели хорошо поддать.

– Садись, ну! – махнул жирной рукой Коптельцев.

– Девушка, еще большую сюда, – крикнул официантке Самойлов.

– И закусок, – приподнял пустую тарелку Крачкин.

– И закусок!

Зайцев сел. Ему вдруг стало легко, как путешественнику, вернувшемуся домой из опасной экспедиции.

– Чего сияешь, как жених? – дружелюбно-насмешливо спросил Коптельцев.

– Нарыл чего-то, вот и сияет. Что я, не знаю его, что ли, – пробурчал Крачкин, наклоня бутылку: прозрачная жидкость булькнула в стакан. – Два тебе буля или три? – спросил он, приподнимая горлышко.

– Ну расскажи. А то лопнешь ведь, не донесешь, – хлопнул его по плечу Самойлов. – Чего там нарыл?

Зайцев показал пальцем: один. Крачкин кивнул и стукнул бутылку на стол, протянул ему стакан.

– погоди, у начальства речь.

Коптельцев вставал с кружкой в руке:

– Товарищи, говоря официально.

– Ишь как. А мы теперь официально? – подал голос Серафимов.

– Сима, заткнись, не сбивай начальство с мысли.

– Официально, – поднял стакан Коптельцев. – Расследование наше вышло в прорыв.

– В прорыв канализации, – пьяно вставил Самойлов.

Коптельцев словно не слышал.

– Мы проделали огромную работу.

– Какое расследование? – Зайцев с улыбкой наклонился к Самойлову.

– Да негра этого с Елагина. Помнишь?

– Ну? – Зайцев почувствовал, что лицо его немеет, как от новокаиновой блокады у зубного техника.

– ...гнездо, нити которого опутали руководство ленинградского завода... – донесся до него как из-под подушки голос Коптельцева. Зайцев уловил фамилию Фирсова, слова «вредители» и «саботаж».

– Гнездо? – не поверил ушам своим Зайцев.

– Да негра того шлепнули, помнишь? Враги, – доверительно сообщил ему Самойлов. А глаза мутные, отчаянные.

– Американского коммуниста, то есть, – поправил Крачкин. – Бросили таким образом тень на советских людей, – жуя пояснил он, кадык его ходил вверх и вниз. А Коптельцев все вещал. – И Фирсов там этот, немецкий шпион, оказывается.

Он показал – слушай, что Коптельцев говорит. А тот вещал:

– ...товарищи из ОГПУ, за что им большое спасибо от всего нашего уголовного розыска.

– Прогнули нас, Вася, ох, прогнули, – без всякой связи вклинился в разговор Самойлов. – Ты послушай, я...

Крачкин, видимо, нечаянно толкнул что-то под столом ногой, там звякнуло, клякнуло, покатилося. Самойлов коротко беззлобно выругался и, нырнув одной рукой под стол, стал ловить и ровнять пустые бутылки.

– А что ты рассказать хотел, Вася? – участливо наклонился Крачкин, оступившись локтем и едва не смахнув со стола руины закусок. – Бежал, прямо подметки на ходу теряя.

И Зайцев вдруг понял, что добродушно-масляное выражение на их лицах вовсе не относилось лично к нему. И вообще не было добродушным. Это была мягкость, которую на время придает острым

углам мира родная беленькая. А праздновать-то на самом деле и нечего.

– Я? А ничего. Просто замерз, как собака, вот и бежал сюда – кишки малость отогреть.

– А, это мудро, – то ли поверил, то ли притворился, что поверил Самойлов.

Немолодая официантка в замызганном фартуке стукнула перед Зайцевым миску с соленым горохом. Дальше – еще одну, с грубо нарезанной селедкой. И еще одну – с кольцами лука. И под конец – слегка запотевшую бутылку водки. Самойлов тотчас потянулся к ней.

Зайцев подумал, что он тоже очень сейчас даже не прочь.

– Давай, Самойлов.

С лица Аллы сразу сбежал сон. Она отстегнула цепочку, открыла дверь:

– Входи же. Вроде ты не говорил, что придешь сегодня.

– Это уже не сегодня, а завтра. Вернее, то было вчера, а сейчас уже сегодня.

Она стала быстро отряхивать снег с его пальто.

– Не надо. Простудишься. Я сам.

Он покачнулся. Запах досказал остальное.

– Ты выпил, что ли?

Он махнул рукой: а, мол. Он вдруг почувствовал себя страшно усталым и голодным, но усталым – больше. Сел прямо на стойку, где в ряд стояли калоши соседей.

– С товарищами. Алла, а ты где была?

– Я? На работе, – тон ее был совершенно естественный. – Поставить чаю? Я быстро.

– На работе?

– Ну да. Странный ты какой. Три акта, как обычно. Сменщица заболела. Я разве не говорила? Вроде бы говорила.

– Вроде бы да, – миролюбиво отозвался Зайцев.

– Что?

– Что – что?

– Что ты на меня так смотришь?

Лицо ее в сумраке казалось голубоватым. И очень-очень правдивым. Обычное лицо. Красивое. Как всегда.

– Ничего. Пойдем лучше спать.



# Глава 14



Время здесь остановилось. Огромные стеллажи опоясывали стены целиком, уходили к высокому потолку. Бури истории, бушевавшие снаружи, ударялись в эти стеллажи и с воем отступали. Но и весна, солнце, юность отступали тоже. В окно напрасно постукивали ветки, покрытые первой, нежной и клейкой апрельской зеленью. Здесь, под защитой книг всегда пахло старостью: старым деревом, старой бумагой, но не разлагающейся, дешевой, пыльной, а благородно желтеющей. Напрасно лился в окна и день. Здесь всегда был ранний вечер, уютно размеченный светом настольных ламп под зеленым, целительным для глаз абажуром. Публичная библиотека шла сквозь время, как большой надежный корабль.

Сначала Зайцев думал еще разок встряхнуть Алексея Александровича. «На бюллетене», – взвизгнула тенорком телефонная трубка, и не успел Зайцев спросить, как в ухо ударили короткие гудки: на том конце нажали рычаг и отсоединились. Зайцеву показалось, что сам Алексей Александрович и ответил.

Он снова попробовал дозвониться, но трубку уже не брали. Он попросил соединить его с научной частью («уголовный розыск беспокоит»). Трубку сперва с хрустом положили на стол. Потом застучали каблучками удаляющиеся шаги. Потом приближающиеся шаги. Опять хруст. И тот же ответ, но уже женским голосом: «На бюллетене».

Зайцев быстро выяснил домашний адрес Алексея Александровича, на бывшем Греческом проспекте. Но комната была заперта, соседи пожимали плечами, а оснований взламывать замок у Зайцева не было. Он долбанул кулаком по дверному косяку. Но пришлось признать свой прокол. Он его спугнул. Алексей Александрович, серый хомячок, сбежал. Как представителю отживающего класса, ему не понравилось пристальное внимание органов правопорядка.

Так Зайцев стал обладателем читательского билета и попал сюда.

Поначалу Зайцеву казалось, что его шаги производят невероятный, постыдный шум. Стараясь ступать с носка, он прошел к свободному столу, осторожно опустил на него стопку заказанных книг,

зажег зеленую лампу. Бесшумно опустился на стул и тихо, словно сам его взгляд мог нарушить здешний покой, обвел глазами зал. Столы стояли рядами. В конусах света блестели склоненные лысины маститых ученых и голые локти студенток. Студенты, конечно, тоже были, но это не так интересно. Одна Зайцеву особенно понравилась: с пышными, непослушными волосами, она чуть ли не носом писала, наклонив прекрасные близорукие глаза к самому столу. Иудейская царевна, да и только. Тихо переворачивались страницы, тихо двигались карандаши. Юноша в толстовке спал, навалившись грудью на стол: сомкнутые веки за толстыми очками. Зайцев подавил зевок и снял сверху первую книжечку.

Изображение убитых студентов ударило его по глазам. И только через секунду Зайцев понял, что перед ним не трупы, не снимок, сделанный на месте убийства, а девушка в рубаше, которая внемлет острокрылому ангелу. «Благовещение», – прочитал он.

Куда бы ни пропал Алексей Александрович, теперь он ему был не нужен.

У Зайцева не дрожали пальцы, когда он листал страницу за страницей. Не путались мысли. Голова была легка и ясна. Только сердце стучало по ребрам.

Все картины он нашел в книжечке довольно быстро.

Зайцев вглядывался в черно-белые снимки картин, так странно знакомых ему – и все же увиденных теперь впервые. Жутко было видеть их, пусть и на иллюстрации в путеводителе, но все же – в их собственном виде. А не через кривое зеркало сцены преступления.

Жутко и странно. Многофигурное пышное «Обнаружение Моисея» особенно поразило Зайцева. Он долго разглядывал репродукцию. Женщины, негр, младенец. Даже мосток и деревья. Но все же с этой картиной убийца (или убийцы) был наименее точен: трупов в Елагином парке было меньше, чем фигур на картине, и Зайцев от души поблагодарил преступника за это.

Он оторвался от страниц, чтобы перевести дух. Опять взглянул исподтишка на иудейскую царевну, прилежно строчившую конспект какой-то толстой книги, которую она придерживала сверху: рука казалась особенно белой, молодой, красивой на фоне желтоватых старых страниц. Зайцев посмотрел вокруг. Склоненные профили. А впереди него – затылки, затылки, затылки. Зайцев внутренне

вздрагнул: одно лицо было повернуто к нему. Зайцев тотчас наклонил голову в книгу. Ему показалось, что он узнал гримзу, которая вела экскурсию в Эрмитаже: «период развития капиталистических отношений в Нидерландах...» Волосы, скрученные и двумя змейками расходящиеся от середины лба. Он осторожно поднял взгляд. Но женщина уже отвернулась.

– Владлен Тракторов. – Нефедов отодвинулся, чтобы полюбоваться на дело рук своих. Он только что подклеил к таблице еще несколько листов – сверху донизу.

– Тракторов? – Зайцев слегка удивился эксцентричному имени.

– В детприемнике имя дали. Владимир Ленин – Владлен. С намеком на новую, более советскую жизнь.

Прежний образ жизни мальчика был явно антисоветским. Беспризорник, торговал в рабочих районах кокаином, нещадно разбодяженным мелом, мукой, аспирином. Несколько раз бывал задержан угрозыском.

– Пальчики здесь печатал.

Ни документов, ни родных. Наконец, помещен в детприемник, из которого не сумел сбежать. Переведен в ремесленное училище. Оттуда и пропал. Чтобы снова быть обнаруженным угрозыском. Теперь уже в качестве жертвы. Труп сидел за столом. На столе разбросаны карты.

Нефедов назвал адрес.

– Почему ты думаешь, наш это клиент, Нефедов? Квартирка эта угрозыску давно известна.

Казино и игорные залы в Ленинграде позакрывали не так давно: они были приметой НЭПа, теперь уже свернутого в советской стране. Но игроки-то куда не делись. И каталы тоже. Просто ушли на дно.

– Игра там велась на деньги немалые, – продолжал Зайцев. – Обдирали в основном командировочных. Находили их через гостиницы «Астория» и «Европа». Где клиент пожирнее. И намекали, что, мол, есть местечко, где можно развлечься с прибылью. Сначала давали выиграть помаленьку, распаляли, а потом обдирали догола.

– Так то клиент жирный, а этот... Ремесленное училище. С него и драть нечего, гол как сокол.

– А наш юноша со взором горящим, – предположил Зайцев, – решил попытать доли получше, чем ремесленное училище. Да силенок не рассчитал. Пришили его шулера.

– А как ты объяснишь, что из карт составлен перед ним был домик?

– Домик? – обернулся Зайцев. – Что-то я домика не вижу на фотографии.

Нефедов сложил ладони домиком.

– Да я знаю, Нефедов, что такое карточный домик. Ну-ну?

– Да толкнул кто-то стол, пока не сняли. И карточки рассыпались.

– Домик, говоришь...

Да, запнулся Зайцев, это было странно. Если это и было шулерское послание, для острастки, например, то такого, должен был признать он, еще не попадалось.

– Надо бы покалякать с нашим другом Мишей. Может, там у них моды изменились, пока мы за пьяницами и воришками на Охте охотимся.

– Да ты на лохмы его посмотри. И на лапсердак.

Причесан Тракторов был действительно странно для ученика ремесленного училища. Одет он был в длинный сюртук. Волосы завиты, расчесаны на пробор.

– Ну-ну, допустим, прав ты. Валяй дальше, – кивнул Зайцев. Нефедов обернулся к таблице с карандашом в руке. И принялся называть фамилии по делу Тракторова, уже вписанные им в графы. Соседи по общежитию. Другие ученики. Преподаватели.

– Совпадения? – спросил Зайцев.

– Никаких.

– То-то и оно, Нефедов. То-то и оно.

Никаких пересечений в таблице все не появлялось. Уже несколько раз пришлось подклеивать дополнительные листы. Таблица превратилась в самостоятельный организм. Но нимало не приближала их к разгадке. Между убитыми с картин все так же не возникало пересечений и общих знакомых.

– Дохлый номер, – подвел итог Нефедов и кинул карандаш, как маленькое копьё: попал точно в стаканчик на столе.

– Это ты погоди, – задумчиво пробормотал Зайцев, вглядываясь в столбцы фамилий. – Слышал такую теорию, Нефедов: всех людей в мире соединяют шесть рукопожатий?

– Это как?

– А так, что все связаны со всеми – на расстоянии не более чем шести человек. Я знаю кого-то, который знает кого-то, который знает кого-то, который знает тебя.

– Непохоже что-то, – Нефедов не верил таблице-гигантше, хотя и трудился над ней с усердием бюрократа. – Вон, скоро в коридор вылезет, а толку?

Зайцев стал, борясь с листом, как с парусом, сворачивать таблицу в большую трубу.

– Толку пока маловато, да. Терпение, мой юный друг, терпение.

– Терпение, – повторил он ему уже у себя в кабинете, на Гороховой.

На письменном столе горой уже были навалены папки, скалила клавиши пишмашинка: день предстоял такой же тошный, как обычно.

Нефедов потащился вниз, в подвал, к себе в архивные недра: никому привычно не интересный, сам уже отчасти сделавшийся похожим на косматенького подземного гнома, разве что без бороды.

Зайцев не спешил к своим папкам. Стоял у окна и смотрел на Фонтанку. А что, если Нефедов прав? Тракторов – их клиент. На какой тогда картине его искать? Допустим, повезет и он случайно натолкнется на нее в Эрмитаже всего лишь через три недели поисков. Можно, конечно, начать с путеводителя и надеяться, что картина эта достаточно большая и знаменитая, чтобы ее сочли небезынтересной для любителей искусства. А если маленькая и незнаменитая? А если это на сей раз вообще не Эрмитаж? А если вообще не картина, а Тракторова пришили-таки шулера и карточный домик – лишь эксцентричная, но бессмысленная деталь? Бандитский шик, ничего более?

В любом случае начать рыть в этом направлении он сможет не скорее, чем через пять дней, когда снова получит выходной – снова его время будет принадлежать только ему одному. А пока... Зайцев вздохнул, поборол отвращение и зарядил в пишмашинку первый на сегодня лист.

Но выдержал он только до обеда. В столовой висел чад, звон, гам, но никого из второй бригады не было. Из огромных чанов тянуло капустным духом: щи. Есть хотелось нестерпимо.

Еще пять дней, и тогда выходной. Целых пять дней! Зайцев решительно вышел из очереди (она тотчас сомкнулась). Перебьется как-нибудь.

На улице вдруг ударила оттепель. Ботинки чавкали по ледяной жиже. В сизых лужах с ледяной крошкой отражалось небо. Зайцев вспомнил, что вроде булочная была у перекрестка Невского с Литейным. Может, была где и поближе, он не мог сообразить. Перебежал Невский под самым носом у трамвая, пропустил черный «Форд», телегу. Ленинград был бывшей столицей империи, да и сейчас – вторым по величине городом СССР. Но пешеходы вели себя как в деревне: переходили мостовую где вздумается, когда захочется, прямо, наискосок, а то и вовсе брели по проезжей части, без особого рвения уворачиваясь от редких автомобилей. А впрочем, они и были по большей части недавними деревенскими жителями, хлынувшими в город в поисках работы. Так что следовали деревенским привычкам, несмотря на то что в уличном движении те были опасны для жизни.

Зайцев задержался у трамвайных путей. По ту сторону открывалась перспектива уходящего к Неве Литейного проспекта. То есть проспекта Володарского, конечно. Зайцев разглядел гроздь: люди толпились, выставив наружу спины и зады. Конечно! Развал букинистов! Это даже лучше библиотеки. Он забыл о булочной, быстро перебежал перекресток, в спину ему полетела брань и вой автомобильного рожка, но Зайцеву было наплевать. Он быстро протиснулся, отодвигая локтями интеллигентного вида покупателей, к стопкам, уступам, веерам книг.

Здесь были всякие. В сливочных мягких обложках – поэтические сборники. Тускло светились золотые корешки собраний сочинений, еще напечатанных с ятями и ерами. Важно выдвигались переплеты толстых журналов с малахитовыми разводами.

Букинист глянул на него без интереса. «Лицо неинтеллигентное», – понял Зайцев, ибо на затрапезные бедные



одежки букинист внимания не обращал: иные знатоки книг выглядели совершенными нищими. Продвигаясь вдоль прилавка, Зайцев оттоптал еще несколько ног.

– Товарищу Ната Пинкертон и брошюрку о половой гигиене коммуниста, – ядовито подсказал кто-то за его спиной. На это Зайцеву тоже было наплевать, он и не обернулся. Наконец сумел поймать взгляд букиниста.

– Путеводитель по Эрмитажу есть?

Тот и ухом не повел. Видно, не слышал. Спокойно подал покупателю три выбранные книжечки, на обложке какие-то квадраты и треугольники. Принял деньги. Потом нырнул под стол. Зайцева охватило раздражение. Типичный ленинградский снобизм. Букинист вынырнул со стопкой книг, протянул кому-то томик. А потом вдруг пихнул книжку Зайцеву. Все так же не глядя на него. И радушно занялся другим – знакомым – покупателем. Но какая разница! Это был путеводитель по Эрмитажу. Зайцев стал перелистывать страницы.

– Вы покупать или читать пришли? Здесь не библиотека, – холодно напомнил ему какой-то покупатель.

– Сколько? – крикнул в спину букинисту Зайцев, не обращая внимания на интеллигентного хама.

Тот назвал цену.

Зайцев не знал, дорого это или дешево, торгуются здесь или нет. Добиваться ответа было делом безнадежным. Подал деньги. Букинист, не пересчитывая, сунул их себе в карман. Зайцев вывинтился из толпы. Опустил узкую толстую книжечку в карман пальто. Передумал – перевел во внутренний карман. А потом не выдержал, отошел чуть в сторону от снующего потока и жадно раскрыл.

Полоска желтого света из-под его двери сразу бросилась ему в глаза: свет тощей лампочки в начале коридора сюда едва доходил. В его комнате кто-то был. Он сразу подумал только об одних незваных гостях. Зайцев остановился. Затаил дыхание. Бесшумно отступить? Тихо выйти из квартиры и прочь отсюда, пока не поздно? Или уже поздно? Рука тихо нашла холодную рукоять пистолета. Зайцев спрятал руку с пистолетом в карман. До стрельбы, конечно, не дойдет: эти гости ссыковаты, под пулю не полезут. Да и он стрелять не намерен: просто заставит их сдать назад. Выиграть отступление. И конверт. Если уже поздно. Он бесшумно подскочил к двери и распахнул.

– Эрмитаж? Ты что, был в музее? – удивилась Алла.

Он сообразил, что по-прежнему прижимает к себе другой рукой книжечку путеводителя: импровизированный щит на случай удара ножом.

– Вхожу в роль учителя истории. Изображаю мелкого интеллигента, – хмуро ответил он.

Лицо Аллы застыло. Но она справилась, брови смягчились:

– Так ты поэтому больше не звонишь, не приходишь?

Зайцев привычным движением глянул за дверь. Словно не мог поверить: чисто. Прошел в комнату. Положил путеводитель на стол.

– Ужинать будешь? – намеренно будничным тоном спросила Алла.

– Алла...

– Послушай, я знаю, – она положила ему руки на плечи. Он на миг накрыл ее руки своими. Ощутил их мягкое тепло. Снял.

– А я знаю, что нам лучше бы сейчас устроить небольшой технический перерыв, – твердо сказал он. «На обиженных воду возят», – напомнил он себе, но иначе не мог. Просто не мог.

– Технический? – Алла отпрянула. – Технический?

– Главное, что против слова «перерыв» ты не возражаешь.

Алла схватила со стола ковш, сдернула с него крышку. Вырвался ароматный пар. Подскочила к окну, дернула шпингалет, распахнула и вывернула содержимое ковшика вниз. А потом метнула и сам ковшик.

– Так мне и надо! – крикнула она со слезами в голосе.

– Алла!

Она схватила пальто и выскочила из комнаты.

– Трагинервических явлений, девичьих обмороков, слез давно терпеть не мог Евгений, – пробормотал Зайцев. Он был страшно зол на себя.

Бежать за ней по коридору? Поздно.

Он распахнул окно. Из парадной выпорхнула фигура.

– Алла! Подожди!

Она даже не обернулась.

Зато обернулась Паша, которая чесала набережную своей колючей метлой.

Зайцев увидел, как с дерева скинула себя вниз, к выброшенному ужину, ворона – сейчас там, внизу, будет пир. Хоть кому-то весело.

Как же помириться теперь? Что в таких случаях полагается делать? Зайцев озадаченно подошел к столу. Постоял, не находя в голове ни единой мысли.

За спиной раздался деликатный стук. Ну и слава богу! Он бросился открывать.

Но это была Паша. Зайцев с удивлением ощутил укол разочарования.

– А, Паша, здравствуй.

В руках у нее был ковшик.

– Я зря ее пустила, да? – неожиданно смутилась Паша. – Так кто вас знает. Комсомольцы все сейчас, как люди уже никто не женится, – притворно сетовала она. – Сейчас вообще не понять – то ли живут вместе, то ли не живут. То ли кончено между вами все? То ли не кончено? Ты уж извини. В следующий раз говори: отпирать – не отпирать. Жрать-то будешь?

– Не знаю, Паша, – наконец с досадой ответил он на один из ее вопросов. – Поменьше бы ты совала нос, куда тебе не следует.

Но ничто не могло сейчас омрачить Пашину радость. И ничто не могло отвлечь Зайцева от того, что сейчас интересовало его больше всего.

Он прямо в плаще сел к столу и открыл путеводитель на заложенной странице. Картина называлась «Карточный домик».

Эрмитаж изнурял. Огромные широкие лестницы, гулкие залы, мощные колонны, золото, золото, золото – все было рассчитано на людей, у которых много времени и некуда спешить. На неторопливые процессии и променады. Никак не на то, что кому-то придется бежать здесь почти рысцой.

Зайцев напрасно листал загнутые уголком странички. Он не мог найти в залах ни одну из интересовавших его картин.

Путеводитель был старый, дореволюционный. Вероятно, поэтому врал. Зайцев решил сдаться в плен:

– Извините, а как бы мне на вот эту картину посмотреть? – Зайцев подступился к мужчине профессорского вида, проходившему через залы быстрой деловой походкой: сразу видно, не экскурсант.

– Извините, я здесь не работаю! – на ходу отозвался тот, не притормаживая.

– Вам чего, товарищ? – сразу будто из-под земли появилась смотрительница. За шторой она пряталась, что ли?

Путеводитель, уже размягченный от употребления, сам распался на нужной странице. Смотрительница не спеша щелкнула футляром, водрузила на нос очки. Посмотрела на иллюстрацию.

– «Карточный домик» Шардена, – прочла она. Самым обычным тоном. Но от того, видимо, что название было произнесено вслух, Зайцев вздрогнул.

– Вам в зал французской живописи. Это сначала прямо...

– Я знаю, – перебил Зайцев. – Я как раз оттуда. Только вот какая загвоздка, гражданочка: нет там картины этой.

– Вы, верно, не заметили, – быстро объяснила она.

– Может быть. Но тогда и ваша коллега, значит, не заметила?

– А вы спро...

– Я спросил, – не дал ей договорить Зайцев.

– ...сили? И что?

– Нет.

– Ну, значит, картина не эрмитажная.

– Да вот же она, – встряхнул книжечкой Зайцев, перелистнул, показал обложку. Смотрительница недоверчиво изучила ее.

– Это дореволюционное издание. С тех пор экспозицию могли пересмотреть. Наверняка пересмотрели.

– Как это? – Зайцев решил держаться роли добродушного дурачка. – Местами поменяли, что ль?

– Картины могли перевесить. Что-то, как не представляющее большой художественной ценности, могли отправить в запасники.

– В кладовку вроде как?

Кивок.

– Ага-ага. А в кладовке то есть никак нельзя посмотреть?

– Вы что, товарищ? – она посмотрела на него так, будто он намеревался снять штаны. Но Зайцеву вдруг стало не до нее: он увидел, что за ними наблюдают. Две свитые змейки на голове, узкая юбка, узкие губы. Грымза. Не только заметила его, а и узнала. Или кажется ему уже, что до него, до этих картин всем вдруг есть дело?

– Ну я так и подумал. Так и подумал, – быстро свернул он разговор. Как они тут все незаметно подкрадываются в этих своих войлочных бахилах. – Спасибочки.

Он быстро двинулся к дверям.

Уже за спиной, скорее хребтом, чем ушами он уловил тихий, но отчетливый голос:

– Что ему надо было?

– «Карточный домик» искал.

Но останавливаться было нельзя. И больше Зайцев ничего не успел услышать.

Ноги у Зайцева гудели. Стоило закрыть глаза, как под веками возникали рамы, рамы, рамы – как бывает после рыбалки, когда весь день мерещится потом поплавок. «Отрицательный результат – тоже результат», – напомнил он себе.

Зайцев действительно обошел все отмеченные залы. И он действительно не нашел что искал.

Не было двух «Благовещений», работ Боутса и ван Эйка.

Не было портрета Изабеллы Брандт.

Не было «Женщины с гвоздикой» Рембрандта.

«Обнаружения Моисея» Веронезе тоже не было.

Не было «Меццетена» Ватто.

И «Карточного домика» – того, которого изображал бедный убитый Тракторов, – его не было тоже.

Большинство этих картин были крупными во всех отношениях. И по размеру полотна, и по величине мастеров, которые их писали. Вещи цены немалой. Насколько Зайцев, конечно, мог судить из прочитанного.

Возможно, его путеводитель, купленный у букиниста, действительно устарел. Но если верить книжке, Алексей Александрович не ошибся. Картины попросту исчезли из музея.

«Епс», – сказал ему на это Нефедов, когда Зайцев рассказал о своих находках. Вернее, пропажах. Они стояли в пивной. Сквозь папиросный дым виден был засиженный мухами плакат: «Когда я ем, я глух и нем». Медленно оседала пена и теплело нетронутое пиво.

– То есть это как если бы кто-то фукнул Медного всадника? – быстро уточнил Нефедов. Имя Рембрандта, да и все остальные тоже, он слышал впервые.

– Ага, Нефедов, – Зайцев кинул в рот соленый сухарик. – А заодно здание Академического театра и Казанский собор вместе с Исаакиевским.

Официантка принесла сардельки с капустой. Отодвинула кепку Нефедова, поставила тарелки. Нефедов сунул кепку в карман.

– Зачем? – задал он самый очевидный вопрос.

Зайцев воткнул вилку в сероватый бок, брызнул сок.

Некоторое время оба энергично жевали, как будто желали в точности следовать рекомендациям плаката. На самом деле им просто нечего было ответить.

Зато вопросы теперь так и сыпались.

Кража? Допустим. Крадут везде, в музеях тоже. Но спереть громадное полотно в тяжелой раме? И почему Государственный Эрмитаж решил держать все в секрете? Почему не заявил в милицию?

Зайцев чувствовал себя заматавшейся гончей собакой: след раздваивался. Расходился в разные стороны. И в какую теперь бежать, не понятно.

– Давай соберемся, Нефедов. С одной стороны, у нас кто-то укокошил почти дюжину граждан, верно? С другой, кто-то спер картины из государственного музея. Все картины цены немалой. Но, может, и не спер. Может, их просто сложили на складе.

– Это еще зачем, если они цены немалой? – отхлебнул пива Нефедов.

– А потому что они не представляют собой идеологической ценности, – быстро нашелся Зайцев. – Не созвучны советскому строю.

Нефедов кивнул.

Но Зайцев и сам не чувствовал, что ответил убедительно.

Сколько раз бывало, что находили не то, что искали. Искали исчезнувшего мужа, в итоге раскрыли растрату в банке. Искали, кто пришел проститутку, а в итоге накрыли кокаиновый притон. Сейчас у него было похожее чувство. Но только какая связь между убитыми? И при чем здесь картины?

Сейчас перед Зайцевым была груда сведений.

И пусть, решил он. Надо дать ей вырасти еще больше. Пусть все летит туда: улики, странные случаи, разрозненные факты, пестрый жизненный сор, непримечательные и неважные сведения, мелочи, чепуха. Пусть груда растет и растет. Достигнет критической массы – и тогда сама сорвется вниз. Как лавина по склону. Понесется, сметая все ложные версии: к единственному, потому что верному решению.

– А сардельки – ничего, – жуя, поднял он кусок на вилке и подбородком кивнул Нефедову.

На самом деле он и в двух-то этих направлениях не был уверен.

Возможно, картины действительно были всего лишь дымовой завесой, которой преступник думал вызвать отвращение, напугать, сбить с толку – и отвлечь от того, что на самом деле связывало всех убитых. То есть в конечном счете могло привести к убийце. И рыть следовало только здесь.

Возможно, сами картины валялись в ящиках на складе музея. Зайцев уже знал, что такие большие машины, как театр или вот музей, намного больше того, что видно простой публике. Есть у них и кулисы, и машинные отделения, и склады, и мастерские – и живет это все двадцать четыре часа в сутки, а не только когда внутрь пускают по билетам. И загадки поэтому никакой нет.

А возможно, по делу о групповом убийстве на Елагином острове уже давно нашли улики, которые объяснили бы ему все. Недаром же там уже почти полгода работал, не сбавляя оборотов, усиленный состав.

Так размышлял Зайцев, пялясь на белый лист, торчавший из машинки.

Все возможно.

В его небольшом личном кодексе было совсем немного правил. И одно из них гласило: если тебя что-то тревожит, то так оно, скорее всего, и есть.

Зайцев надул щеки, выпустил воздух, выдернул лист с незаконченным протоколом. Быстро вставил чистый и затрещал по клавишам: буквы посыпались в ряд.

Потом он долго и кропотливо, мелкими точными движениями водил лезвием по куску резины, то и дело сверяясь с оттиском на документе. В другой папке без труда нашел подпись Коптельцева. Сперва обвел ее карандашом, так что продавил по листу. Дело это все равно шло в архив. Перевел оттиск на нужное место. Обвел пером в одно касание. Проверил результат.

Дал высохнуть. На миг его кольнула совесть. В принципе, лично ему Нефедов еще не сделал ничего плохого. «Пока еще», – перебил голос совести другой голос, более циничный. Да, риск был. И за такое



Нефедова вполне могли не то что перевести в отдаленный северный гарнизон, охранником каким-нибудь, а вообще под трибунал отдать. Но так, может, оно и к лучшему; иначе от Нефедова, от его внимательных совиных глазок они все равно никогда не избавятся... Голос совести опять окреп – опять напомнил: лично ему Нефедов ничего не сделал плохого, а ведь если хотел бы – давно уже сделал бы. «Ничего, если что, так отмажут тебя как-нибудь дружки твои гэпэушные», – быстро заткнул голос совести Зайцев.

Перегнул листок пополам.

С папками под мышкой быстро сбежал по ступенькам в подвал, в архив. Здесь всегда горела тусклая желтая лампочка. Лохматая голова Нефедова вынырнула из-за стойки.

Зайцев уже открыл рот, как услышал чьи-то шаги. Кто-то шел сюда.

– Нефедов, ты, наверное, давно уже не различаешь, где ночь, а где день, без окон-то? – произнес он безразлично.

– Никак нет, товарищ Зайцев, – невпопад ответил Нефедов.

– Ну и молодец, – обрадовался Зайцев. Подмигнул. Шлепнул папки на стойку и вышел.

Нефедов поднял папки. Перенес на стол.

– Эй, там есть кто живой. Улики принимай, – услышал он голос со стойки: нетерпеливая ладонь пару раз ударила по кнопке звонка.

– Бегу, – угрюмо ответил Нефедов.

Потом он вернулся к столу, сдвинул папки в сторону: успеет еще зарегистрировать. Развернул листок, оставленный Зайцевым, и внимательно изучил написанное.

## Глава 15



Ленинградские бандиты – люди нехитрые. Ленинградские следователи потому тоже не мудрили. Особо важные дела Коптельцев убирал в сейф. А вот за ключом следил не слишком.

Зайцев, во всяком случае, на это надеялся.

Коптельцев уже уходил. Стоял, облокотившись на стойку дежурного, чуть выпятив зад, расписывался в журнале. Лестница влажно блестела: было так поздно, что и вечерняя уборщица уже закончила работу.

Зайцев полетел через последние ступени.

Перо царапнуло бумагу, а сам Коптельцев вынужден был обеими руками уцепиться за стойку. И упал бы, если бы Зайцев сам не схватил его в объятия. Начальник был увесистым.

– Зайцев! Пьяный, что ли?

Зайцев выпустил его из объятий, чувствуя, что потянул мышцу. Коптельцев оказался увесистее, чем он рассчитывал.

– Епт. Чуть башку не расколотил тут.

Коптельцев одернул френч, оправился.

– Совсем уже не смотришь, куда прешь?

– Об какую это я хреновину перецепился? – Зайцев изобразил, что растерянно шарит взглядом у себя под ногами. А тем временем незаметно перевел ключ, добытый из кармана Коптельцева, себе в карман. Дежурный из-за стойки привстал, вытягивая шею:

– Уборщица, может, опять тряпку бросила? Бывает.

– Вы лампочку тут посильнее вкрутить не можете? В потемках скачем, – раздраженно перебил его Зайцев.

– Ты смотри, срach какой в журнале теперь, – пихнул толстую бухгалтерскую тетрадь Коптельцев.

– А мы промокашечкой сперва, – засуетился дежурный.

– Давай, Зайцев. До завтра, – буркнул, успокаиваясь, Коптельцев. И схватился за ручку двери.

– До завтра! – уже в спину сказал ему Зайцев. Похлопал себя по карманам. И негромко, но внятно произнес в сторону дежурного:

– Кепка наверху осталась.

– Ага, еще вдруг лысину застудишь, – согласился дежурный, страшно довольный своей шуткой.

Зайцев прыжками, сильно ухватываясь за перила, побежал наверх.

В кабинете Коптельцева глаза быстро привыкли к полумраку. Ночной простор над Фонтанкой казался светлым в больших окнах.

Руки двигались быстро и четко. Дыхание замедлилось, как во сне. При этом где-то на заднем крае сознания Зайцев продолжал развертывать параллельную цепочку событий: вот он идет к себе, вот отпирает опять – нельзя потратить в кабинете Коптельцева больше времени, чем на кепку; у дежурных бессознательное чувство времени и такая же бессознательно цепкая память на тех, кто входит и выходит, особенно в неурочный час. Призрачный, параллельный Зайцев стал бестолково искать кепку в своем кабинете.

Зайцев настоящий не делал ни одного лишнего движения. Оттиснул слепок на воске. Убрал отпечаток. Пригодится. На всякий случай внимательно осмотрел дверь: никаких там щепочек, перышек, волосков, бдительно пристроенных так, чтобы потом сразу обнаружить неожиданный визит? Нет, Коптельцев явно ничего не опасался. Ключ мягко и сильно повернулся. Зайцев открыл дверцу сейфа.

Не папка. Стопки папок. Да, уголовный розыск работал в усиленном составе. Полгода энергично велось следствие. Свидетельство налицо. В темном брюхе сейфа не видно толком ничего. Что, если параноя Коптельцева отыгралась внутри сейфа? Руки в перчатках начали потеть. Пора ускоряться.

Зайцев проверил, закрывает ли его дверца сейфа так, чтобы с улицы не виден был свет в кабинете. Зажег палочку карманного фонарика. Проверил, нет ли сторожевых волосков или прочей дребедени. Нет, Коптельцев и здесь не опасался чужого носа. Зайцев зажал фонарик зубами. Так лучше. Бесшумно, одним движением вынул все папки разом, плотно прижимая друг к другу, чтобы ни листочка случайно не вылетело. Присел на пол. Стал быстро просматривать.

Со страниц запрыгали слова: «террор», «террористическая группа», «антисоветский», «диверсия», «вредители», «немецкие шпионы». Он даже перепроверил обложку. Нет, точно Елагин парк. Коптельцев твердой рукой вел следствие против какого-то антисоветского заговора. И фамилии, фамилии, фамилии. И фамилия

«Фирсов». Много раз. Везде. Теперь понятны их странные рожи и еще более странные тосты тогда, в пивной-чайной. Вернее, непонятны. Какой еще заговор? Не может быть.

Он услышал странный шум. Замер. Шум не стих. «Да ведь это же я дышу», – осознал Зайцев. Он заставил себя успокоить дыхание. Промокнул тыльной стороной ладони лоб. Время вышло.

– А, нашел свой блин, – подмигнул ему дежурный, подняв голову. Зайцев сдвинул «блин» на затылок.

– На себя посмотри, Кондратьев. Спокойных сновидений.

– Адье. Ой, Зайцев, погодь маленько!

«Опять какая-нибудь дурацкая острота», – подумал Зайцев.

– Ну чего еще?

– Вот, с почтой вечерней пришло. Я думал попозже разнести. Да забери сейчас, если хочешь.

Он протягивал толстенький коричневый конторский конверт.

Зайцев не ожидал никаких посланий, но виду не показал. Расписался в журнале.

Дверь хлопнула, выпустив Зайцева, впустив ночной холод.

– Возьмите, товарищ, это вас, – и протянул трубку.

Нефедов приложил ее к уху. В трубке зарокотало. Лицо Нефедова с полуприкрытыми глазками по-прежнему казалось сонным.

– Так точно, – ответил он.

Повесил трубку на рычаг.

– Ну-с, полагаю, инцидент, как говорится, исперчен? – с довольным видом поинтересовался полный, чисто вымытый и выбритый товарищ в хорошем шевиотовом костюме и откинулся на спинку кресла. Ручки кресла были в виде позолоченных львиных голов. «Музейное», – отметил Нефедов. Но лицо его по-прежнему не выражало ничего.

– Товарищ...

– Простак, – подсказал выбритый товарищ.

– Товарищ Простак, – повторил Нефедов. Ему нравилось производить впечатление туповатого: у людей быстрее иссякало желание с ним поговорить.

– И в следующий раз!.. – поднял полный пальчик товарищ Простак. – Пусть товарищ... э-э-э... – он перегнулся через свой животик к столу, прочел залихватскую подпись, выведенную Зайцевым: – товарищ Коптельцев обращается напрямую.

Нефедов протянул руку за ордером. Но товарищ Простак оказался проворнее.

– Эпс! – театрально взмахнул он листком. – А это я сохраню на память.

– Товарищ Простак, вас Москва, Наркомторг запрашивает, – просунулась кошачья мордочка секретарши.

Но руку Простак и не думал опускать. «Сука», – подумал Нефедов.

– Люсенька, соедините. А товарища проводите к выходу.

Нефедов прикинул: заломить гаду руку. Но стоит ли? Он глянул в окно за его спиной. Второй этаж, дерево.

– Товарищ, идемте, – позвала его Люсенька. Нефедов с тем же туповатым видом потопал за ней.

Зайцев рывком вскочил на кровати. Прислушался. Тихо. Только на полу лежит сероватый прямоугольник света – от уличного фонаря.

Цок. Опять ударило в стекло.

Зайцев выдернул из-под подушки пистолет. Тихо подошел к окну сбоку. Осторожно глянул. Нефедов стоял в свете фонаря, задрал голову, и не думал прятаться.

Зайцев махнул ему рукой: поднимайся.

Убрал пистолет. Быстро надел брюки. Тихо прошел по коридору. Стараясь не щелкнуть замком, отпер и приоткрыл дверь. Он не слышал шагов ни на лестнице, ни на площадке. Только вдруг в щель просунулась рука – и Нефедов вошел.

– Здорово, – беззвучно произнес он одними губами. Посмотрел на пистолет. – Вы сегодня добренький.

В комнате Зайцев зажег керосиновую лампу.

– Что это? Медведь тебя по дороге задрал, что ли?

На плече у Нефедова была здоровенная прореха.

Нефедов пожал плечом с прорехой.

– Труба водосточная.

Зайцев не знал, что сказать. Ладно. Труба так труба.

– Тебя что, по ошибке в музее на ночь заперли? – насмешливо поинтересовался он.

Нефедов не поддержал шуточный тон. Он вынул из кармана и бросил на стол бумажку. Зайцев узнал состряпанный им запрос.

– Гнида бумажечку прихватила. Хотела бучу погнать, – объяснил Нефедов. – В Смольный трезвонить начала. Пришлось ждать, пока стемнеет.

В апреле в Ленинграде темнело уже нехотя. За взятой в заложники бумагой Нефедову пришлось лезть через окно глубокой ночью.

– Елки зеленые, Нефедов, – не сдержал удивления Зайцев. Мельком глянул на будильник: поспать ему удалось всего ничего. – Дитя цирковой арены. Так ты и ко мне бы влезал тогда уж запросто, по-товарищески. Чего камнями кидать? Еще не хватало, чтобы стекло кокнул.

– У вас дерево далековато, – буркнул Нефедов. – До окна, думаю, не перепрыгнуть.

– А, то есть ты об этом думал. Ну хорошо.

Теперь уже Зайцев не понимал, шутит Нефедов или всерьез.

Тот вдруг сел без приглашения. Положил руки на стол. Под пиджаком обозначилась тощая мальчишеская спина. Интересно, а лет-то ему сколько – впервые задался вопросом Зайцев. Решил потом справиться в личном деле. А вслух сказал:

– Голодный?

Нефедов поднял на него глаза. Удивление. Нефедов был явно тронут.

– Чего вылупился? – Зайцев смутился своего порыва: отцовские инстинкты в нем проснулись никак? Вот еще не хватало.

– Валяй, рассказывай с начала, пока я какие-нибудь жиры и углеводы соображу.

Он помнил, что в ящике был хлеб. Сахар вроде тоже был.

– Имя-то у гниды есть?

– Простак.

– Чего?

– Фамилия у него такая.

– Партийный псевдоним наверняка, – предположил Зайцев. – Вроде Демьяна Бедного. А сам Тютюкин какой-нибудь или Канцелленбоген. Ладно, ты с начала давай: пришел ты в Эрмитаж – и?..

Но в Эрмитаж Нефедов не пришел, а влез.

– Как это, Нефедов?

– Через окошко. Смотрю – кошки туда так и прыскают. Ну я прикинул: раз кошки, то там явно склад. А раз склад, то сам посмотрю.

– Ты даешь, Нефедов, – Зайцев поставил на стол крупно нарезанный хлеб. – Не советские у тебя методы какие-то, если хочешь знать. Не комсомольские тем более.

– Да советскими методами спугнуть их только. Пока мы другой раз заявимся, они уже следы заметут.

Зайцев вспомнил сбежавшего Алексея Александровича.

– Я смотрю, Нефедов, у тебя против интеллигентных людей: ученых, музейных работников – предубеждений не имеется, – только и



сказал он. – Ты жуликами считаешь всех. Обдумай мою мысль, пока я чайник нам вскипячу.

Зайцев вышел с чайником в темный коридор. Остановился. «Осторожно, – напомнил он себе. – Осторожно».

Нефедов сидел все в той же позе, когда он вошел с горячим чайником. На большой палец были ручками продеты две чашки.

Зайцев сыпанул чай. Нефедов жадно смотрел, как льется горячая струя. Даже жевать перестал.

– Так и что жулики? – с напускной беззаботностью напомнил Зайцев.

– А. Так вот. Нет наших картин на складе Эрмитажа.

– Не наших, а народных, – поправил его Зайцев. – Только с чего ты так уверен? Ты что, склад по ящичку перебрал?

– Нет, – передвинув хлеб за щеку, просто ответил Нефедов. – У них там все в конторских тетрадях отмечено. Картиночки на складе были. Да только теперь переведены они на баланс общества под названием...

– «Антиквариат», – ответил Зайцев.

Нефедов уставился на него:

– Верно. «Антиквариат». А вы?..

Зайцев бросил на стол толстый коричневый конверт.

– Это что? – Нефедов вернул недоеденный хлеб на тарелку, протянул руку.

– Это пришло сегодня с почтой.

Нефедов изучил надпись чернилами: адрес угрозыска, имя Зайцева выведено полностью. Перевернул: больше ничего. Анонимно.

– Вот-вот. Судя по штампу, отправлено из Ленинграда же, с Главпочтамта. А в конвертике этом письмецо. Подробнейшее описание схемы, по которой картины немалой ценности переводятся из Государственного Эрмитажа в общество «Антиквариат», представитель по Ленинграду товарищ...

– Простак, – вставил свое Нефедов. – Это к нему я с ордером ходил. После Эрмитажа. То есть сначала в Эрмитаже поворошил. А с бумажкой уже пошел туда, в «Антиквариат». Только какое нам дело? Ну переводят, ну картины.

– Верно, Нефедов. Сам пока не знаю. Но чую, есть нам дело.

Зайцев вдруг вспомнил: Фаина Баранова.

– Соседку Барановой помнишь? Заботкина. Она показала, что подруга ее Баранова обожала аукционы. Вот только название вспомнить не могла. То ли «Аполлон», то ли «Антиквариат». Именно там она купила фигурки пастушков. А мы знаем, что одна из этих фигурок потом вынырнула ровнехонько на месте преступления на Елагином острове.

След, который казался давно остывшим, вдруг стал наливаться теплом. Но все еще не понятно было, куда он вел.

Зайцев взял стоявшую в углу трубу: свернутая таблица за ненужностью успела подернуться пылью. Он развернул ее на столе, прижимая углы и края тарелками, чашками, лампой. Множество слепых прямоугольников со вписанными фамилиями. А теперь первый из них ожил. За ним последуют еще и еще. Проступит логика. Он жадно глядел на них.

Где-то за стеной у соседей захрипели часы. Послышался удар, другой, третий. Зайцев одумался. Три часа ночи.

Посмотрел на Нефедова.

– Вот что, Нефедов. Я тебе матрас на полу разложу: у меня переночуешь, а с утра, до начала рабочего дня своего, дуй прямо на Главпочтамт с конвертом этим – и порасспроси там нежно: может, вспомнят они, кто бандерольку отправил. Не каждый день через них с уголовным розыском граждане переписываются.

Зайцев взял будильник, прикинул время и, подавив зевок, перевел стрелки на два часа раньше.

– О, Вася, наконец-то. По черным мешкам на твоей физиономии я вижу, что твоя личная жизнь устроилась наилучшим образом, – поприветствовал его Крачкин. Из подобных шуточек теперь их общение только и состояло. Крачкин положил ему на стол папки.

Зайцев подождал, пока он выйдет. Придвинул к себе телефон. Рука замерла на трубке. Не опасно ли звонить прямо отсюда?

Он положил перед собой лист. Фамилии. Названия. Стрелки. Спать сегодня действительно не получилось. Истина маячила где-то совсем близко. И Зайцев чувствовал, что его гонит вперед тот же инстинкт, что гонит кошку за мышью, за бантиком на нитке, за мухой. Он просто не мог усидеть на месте.

Спал ли Нефедов или притворился, что спит на своем матрасе, Зайцева не волновало. Остаток ночи он просидел в желтоватом круге, отбрасываемом лампой, изучая документы из коричневого конверта. А потом на полу вдруг затрещал ненужный будильник. И Зайцев понял, что ночь прошла.

Списки, составленные от руки. Машинописные копии официальных документов, с печатями и подписями. Доказательств против товарища Простака было более чем достаточно. Общество «Антиквариат» неутомимо изымало из Государственного Эрмитажа картины, мебель, фарфор, монеты. Но если мебель, фарфор, монеты, допускал Зайцев, еще могли найти покупателей вроде Фаины Барановой, то кому бы сдалось почти трехметровое полотно, он не понимал в упор. А и сдалось, то куда бы советский гражданин его потом попер – в заводской барак? В коммуналку? Допустим, что-то могли покупать учреждения – в вестибюль там или в зал заседаний. Но, черт возьми, не «Благовещение» же.

– Религия – опиум для народа, – согласился Нефедов, быстро хлебая утренний чай.

– Это да. Но я тебе скажу: Простак этот, похоже, самый обычный барыга – только в совершенно новом обличье. Толкает краденое. Которое сам же крадет и кражу свою выдает за исполнение служебных обязанностей.

Но как во все это вписывались убитые? Что могла купить, допустим, артельщица и нянька Рохимайнен? А ученик-ремесленник Тракторов? А чернокожий коммунист Ньютон? А музработник в ансамбле народных инструментов Фокин? Они все были для этих вещей слишком мелкой сошкой.

– Да на черта мне такая махина дома, – выразил глас народа Нефедов. – Комнату только перегородить.

– Тебе нет, Нефедов. Ты дитя цирка, как известно.

– Вы не лучше, – буркнул тот.

– Я не лучше, – согласился Зайцев. – Мне на улице как-то позабыли объяснить, кто такой Рембрандт. Или Веронезе, допустим. Но, знаешь ли, в Ленинграде полно ценителей, которые за такую картиночку с радостью отвалят какому-нибудь Простаку деньги. Этот Простак, может, вроде нас с тобой: серость. Он, может, и сам своей репой не соображает, какие сокровища государственные разбазаривает. А если соображает, то тем хуже для него.

– Я только не пойму. Мы знаем: Баранова купила статуэтки. Фокин этот, может, купил монету – чтобы зуб золотой себе вставить. Другая баба, ну что она притаранить могла, скатерть? Короче, их-то за что укокошили?

– Не факт, Нефедов, что между ними и всей этой лавочкой вообще какая-то связь. Но если ты, допустим, расследуешь убийство гражданином Икс своей жены и по ходу выяснишь, что Икс еще и деньги у себя на службе растратил, чтобы любовницу в Сочи свозить, неужели ты о растрате в соответствующий отдел уголовного розыска не сообщишь?

– Чо? – только и спросил Нефедов.

– Ладно, жуй. И главное, носки свои поганые здесь не забудь, уходя.

– Носки уже на мне, – простодушно успокоил его Нефедов.

– Вот счастье.

Нефедов потопал на почтамт, находившийся сравнительно недалеко от зайцевского дома. А Зайцев отправился на Гороховую.

Ему уже насыпали рутинных заданий. Он сдвинул все в сторону. Подтащил к себе телефон. Да так и остался сидеть. Думать. Что, собственно, он хочет спросить у Кишкина?

Перед ним лежала составленная ночью шпаргалка. Прямоугольник с фамилией товарища Простака оцетинился стрелками: еще фамилии, которыми были подписаны документы. Штампы московской конторы «Антиквариата». Значит, и товарищи московские. Стрелки указывали выше, в столицу.

Зайцев решил. Подвинул телефон.

Соединили его на удивление быстро.

– Здорово, Вася. Ну чего, билет в Москву уже взял? – радостно зарокотал в трубке Кишкин.

– Ага. Почти. Слушай, будь другом. Мне тут надо товарищей московских пробить одних: кто такие, что за птицы и так далее. А главное, мне интересно, в каком они свойстве-знакомстве с неким Простаком.

– Чего?

– Фамилия такая.

– Господи.

– Ну да.

– Кликуха, что ли?

– Партийная разве что.

– Что, партийный начальник какой?

– Вроде. По торговой линии. Может, ты в курсе?

– Я, конечно, не в курсе. Ну валяй, записываю.

– Кишкин, ты человек! Ты...

– Да пошел ты. Я уже понял, что пока ты из своего говна там не выпутаешься, сюда носа не покажешь.

– Я правда... Я только это дело закрою – и все. Полечу к тебе на крыльях любви.

– Пошел ты. Пишу.

Зайцев начал диктовать.

Нефедову раньше не приходилось бывать на Почтамте – в главном здании городской почты, да что там, всей Российской империи, когда еще была империя. И теперь он с интересом оглядел громадный зал с гулкой плиткой и стеклянной высокой крышей. Огромный, как раз, чтобы просторно было почтовым каретам вместе с их лошадиными силами.

– Гражданин, вы телеграмму отправить? – к нему уже шла женщина в форменной куртке. Зевак здесь, по-видимому, не любили.

– Мне насчет бандероли.

– По губернии? По городу? По Союзу?

– По городу.

– Шестое окно.

Нефедов снял кепку, чтобы придать себе более мирный вид. Но потом передумал, надел.

Сунулся в окно. По ту сторону, на столе в котелке плавилась коричневатая-красная пахучая жижа, в ней стоймя стояла палочка. Лысоватый человек в черных нарукавниках протянул к окошку руку:

– Отправление.

– Чего?

– Давайте сюда, что вы там отправляете.

Нефедов сунул ему удостоверение.

Человечек надел очки. Внимательно изучил. Посмотрел на физиономию Нефедова в окошке, на фотографию.

– Даша! – крикнул он в глубину, где виднелись тугие холщовые мешки. – Даша, я так и знал, что та бандероль в уголовный розыск была неспроста. Иди теперь разбирайся с товарищем. Пожалуйста, – заключил он торжествующим тоном человека, чьи худшие ожидания, как всегда, оправдались. А Нефедов порадовался, что никому тут, по-видимому, не придется освежать память.

Даша оказалась тощей воблообразной женщиной с седой косицей, уложенной веночком, и пронзительно-алыми губами, которые она тут же сложила бантиком, заметив Нефедова.

– Это вы милиционер? – слегка разочарованно спросила она. Бог весть что она себе воображала. – Да вы пройдите сюда, не

стесняйтесь, – громко пригласила вобла и отперла дверцу. – Идите же. А то очередь создаете.

В окошко, точно, уже совалась тетка в беретике. Протягивала опрятный сверточек. Мужчина в нарукавниках бросил его на весы. Строго распорядился, показывая карандашом на бандероли:

– Адрес отправителя укажите. Без этого не приму.

Тетка быстро нацарапала карандашом требуемое. Тот помешал палочкой в кастрюльке, испускавшей резкий, но приятный запах. Ляпнул палочкой коричневатые кляксы на швы свертку. Оттиснул печати.

– Вы что, товарищ, уснули там? – позвала вобла. Нефедов с сожалением отвернулся: запах сургуча нравился ему. Вынул блокнот и карандаш.

– Вы, гражданочка, назовитесь сначала.

– Панкратова меня зовут. Дарья Алексеевна, – а сама уже нырнула глазами в блокнот, проверила, что он там пишет. Нефедов повернул его так, чтобы заглянуть было нельзя.

– Дарья Алексеевна, значит, бандероль у вас была подозрительная, верно я понял?

– Да что вы! Никакая не подозрительная. Обычная. Просто смотрим: уголовный розыск. Неприятно как-то. И Степан Федорович, вон он там сидит. Он, значит, такой сразу: откройте, покажите. Может, там голова отрубленная. Ну не голова, конечно, в конверте-то. Но нож? Или там кровавое что-то.

Дарья Алексеевна, видимо, отдала дань книжкам о приключениях Пинкертона.

– А там?

– Бумажки, документы, – пожала она костлявым плечом.

Похоже, и правда тот самый конверт, что получил Зайцев.

– Только как это у вас, товарищ почтработник, бандероль без обратного адреса ушла? Насколько я понимаю, принимать бандероль без адреса отправителя вы не должны.

– Что? – И заорала пронзительно: – Степан Федорыч! Степан Федорыч, пойдя сюда на минутку!

Мужчина в нарукавниках подошел.

– Вот, товарищ из милиции располагает инсинуациями.

И сделала приглашающий жест: мол, полюбуйте.

– Какими инсинуациями? – поправил он очки, словно повнимательнее приглядываясь к Нефедову.

– А такими, что бандероль без обратного адреса отправлена. Это что же, товарищи, а если бы там был динамит? Или яд?

– Как без обратного? – нахмурился Степан Федорович. – Быть такого не может.

Он отвернулся в сторону, на мешки. Словно избыток зрительных впечатлений отвлекал его мысленный взор.

– Значит, подает бандероль. Я указываю: впишите адрес. Говорит, мол, на листочке у нее адрес. А очки дома. Разрешите просто листочек подклеить. Разрешаю. Подклеиваю. Кладу сургуч. Опечатываю. Принимаю оплату по весу отправления. И тут: ой, номер дома ошибочный, разрешите исправить. Разрешаю.

Нефедов словно сам видел то, что сейчас в памяти своей видел Степан Федорович. Вот он подает конверт вверх, к окошку. Вот он ждет. Вот принимает обратно. Бросает, не глядя, в мешок с корреспонденцией.

Пока он ждал, листок с адресом был попросту оторван.

– А вы не обратили внимания: что было на листке? Может, название улицы?

Степан Федорович пожал плечами.

– Извините. Кто ж знал, что такие прохиндейки водятся.

– Прохиндейки? Это была женщина?

– Ну да, – оживилась Панкратова. – А на вид еще такая интеллигентная. И не скажешь! Вот что за народ пошел!

– А какой такой вид? Описать ее можете?

– Ой, нет, какой я писатель. Женщина как женщина. Да, с виду приличная, это верно.

– Молодая, старая? Седая? Блондинка? Рыжая? Толстая? Высокая? Худая? Маленькая?

Степан Федорович крепко задумался.

– В шляпке.

А у Панкратовой загорелись глаза. А потом и все лицо, густо обсыпанное пудрой.

– Молодящаяся, – ехидно объявила она с расстановкой.



Одно сейчас было совершенно ясно и не терпело отлагательств: к убийству на Елагином острове инженер Фирсов никакого отношения не имел.

– Вот не просто сомнительная связь. А несомненно, никакой связи.

Коптельцев вдруг встал. Тихо, удивительно тихо для своего тучного тела скользнул к двери. Рывком ее распахнул. Убедился: в коридоре никого. Закрыл ее и, подумав, запер. Зайцев молча наблюдал за этим балетом. Коптельцев не спеша вдвинул зад в кресло. Сцепил руки перед собой, как обычно: глядя на собственные большие пальцы так, словно только что их обнаружил.

– Ну, допустим, – наконец сказал Коптельцев.

– Я тебя прошу. Не хочешь – не вмешивайся. И ребят не вмешивай сюда. Просто дай мне время. Я один несу ответственность.

Коптельцев сунул в рот папиросу, чуть выгнулся в кресле дугой, чтобы нашарить в кармане брюк зажигалку. Щелкнул, пыхнул. Затянулся. «Тянет время. Думает», – понимал Зайцев. Коптельцев выпустил через нос два клыка дыма. И через секунду на Зайцева уставилось дуло.

– Поздно, – сказал Коптельцев. – Поезд ушел.

В жирном кулаке Коптельцева пистолет казался меньше. Зайцев на долю секунды примерз к спинке стула. Еще есть полмгновения, чтобы отпрыгнуть.

Но Коптельцев положил пистолет плашмя и через стол пульнул Зайцеву.

Зайцев рефлекторно схватил.

– Читай, – приказал Коптельцев.

Зайцев повертел пистолет в руках. Увесистая немецкая вещица. С именной гравировкой в несколько строк. То есть не просто пистолет теперь, а наградное оружие.

Зайцев вернул пистолет рукоятью вперед.

– Прочел?

– Прочел.

– Молодец.

Зайцев молчал.

– А знаешь что? – Коптельцев за облаком дыма прищурил глаза. – Вижу, ты как-то тяжело сейчас все воспринимаешь. Переутомление налицо. Давай-ка я тебе дам выходной. Отгул. Отдохни. Заработал. Три дня, скажем. Как тебе?

Он стряхнул пепел.

– Нравится тебе такой расклад?

Зайцев встал. Пошел к двери. Взялся за ручку.

– Не нравится, – сказал он. И вышел.

– Ты куда? – тотчас поднял в вестибюле голову дежурный.

– А у меня отгул на три дня. Начальство отпустило, – бросил Зайцев.

– Везуха, – протянул дежурный.

На Невском Зайцев остановил извозчика. Быстро сторговался. Запрыгнул в старую, явно выдавшую виды коляску. Зайцев равнодушно плавал глазами по ветхой оснастке; ему пришло в голову, что колымага – старше его самого.

– Отец, шарабан-то твой не развалится на полдороге?

– Ты скорей развалишься, – отозвался возница.

– Суровый ты больно.

– Не нравится – вылезай.

– Ты злой-то чего такой?

Извозчик принялся ругать фининспекторов и новый налог, грозивший навсегда прихлопнуть его предприятие. Его и десятки тысяч ему подобных.

– Ты вроде как нэпман, папаша. А с нэпманами сейчас знаешь как, – объяснил Зайцев. – На советские рельсы переходить пора.

– Я нэпман? Я?

– Не я придумал. Я тебе просто излагаю политическую ситуацию в стране.

– Ты откуда грамотный-то такой?

Зайцеву требовалось проветрить мысли. Болтливый старик отвлекал его.

– Из уголовного розыска.

До самого Елагина парка они доехали в полном молчании.

– Погоди, отец, не притормаживай карету свою.

– Чего?

- Проезжай кругом, говорю.
- Ты, товарищ милиционер, меня в свою службу не вмешивай.
- Никуда я тебя не вмешиваю. Просто кати вперед.

Копыта цокали по убитой, грузовиками выглаженной земле. В Елагином парке кипело строительство.

– Эй, уважаемый, – окликнул Зайцев парня с лопатой на плече.

– Ну?

– Это здесь больница строится?

– Не, – сказал тот, – тут парк. А где больница, я не знаю.

– Парк? Тут же и так парк.

– А это новый парк. Культуры и отдыха называется.

– Да ты что?

– Ага. Тут, ребзя говорят, такое было. Диверсантов разоблачили.

«Секретное расследование, ага», – отметил мысленно Зайцев не без издевки. А мужик продолжал – ему, видно, охота было поболтать, все ж таки перерыв в нудной работе:

– Все стройку начать не могли из-за них. А как разоблачили, так машины и пустили. Днем и ночью вон теперь, нагоняем.

«Поздно», – сказал Коптельцев. Теперь Зайцев своими глазами видел почему. Поодаль уже вздымалось колесо обозрения.

– Где ж больницу-то мне искать?

– Хрен его знает.

– Ладно. И на том спасибо.

Зайцев откинулся на сиденье.

Через несколько минут извозчик не выдержал, обернулся:

– Что, так и будем по набережной колыхаться?

– Вези обратно на Невский, – не сразу отозвался Зайцев.

– Оплата в оба конца, – предупредил тот.

– Само собой.

Зайцев все думал о гравированной надписи на пистолете Коптельцева: именное оружие вручил начальнику угрозыска сам товарищ Киров – с благодарностью за успешно раскрытое дело.

Зайцев увидел Нефедова сразу. Фигура торчала на углу Фонарного и Мойки, как условились. Перегнувшись через ограду, Нефедов, очевидно, глазел на воду, на уток, качавшихся на воде, как подсолнечная шелуха. Зайцев хотел уже окликнуть его, как услышал рядом с собой не шум даже – а то, как шум прекратился. Блеснул черный лак на крыльях. Машина остановилась – остановились и отражения домов, светлого весеннего неба. Зайцев прошел вперед.

– Товарищ Зайцев!

Из машины проворно выбирался крепыш. В руке фуражка. Надвинул ее покрепче.

– Товарищ Зайцев.

Зайцев дал ему подойти. Не стоит и глядеть в сторону Нефедова. Тот сейчас наверняка наблюдает издалека за результатом своей, так сказать, оперативной работы. Зайцев прикинул свои возможности. Дать под дых – и уйти проходными дворами. В машине только шофер, а Нефедов прибежать не успеет. Не догонят. Второй вариант: сдаться. Перестать оглядываться через плечо; Зайцев знал это внезапное спокойствие преступников в камере: все позади, хотя игра и проиграна.

Крепыш подошел.

– Товарищ Зайцев, разговор есть один.

– Отлично, – невпопад ответил Зайцев. Это усталое облегчение наваливалось на него, как сон.

– Так, может, сядем в машину? – гостеприимно предложил крепыш. – Тут недалеко.

Машина тем временем подкатилась ближе, поджидала: мотор работал. Мимо мелькнул прохожий, даже не глянул. На Фонарном народе немного. Подождали, гады, пока он свернет с шумной и людной Садовой. Шума не хотят.

Дверца распахнулась будто сама собой.

– Полезайте, – с тем же добродушием предложил крепыш. – Не надо нам шума, верно?

Зайцев забрался внутрь. Крепыш плюхнулся рядом, схватился одной рукой за кожаную петлю, другой легонько стукнул шофера по

спине: поезжай. Знакомая до тошноты мизансцена. Фонарный переулок дрогнул и поплыл назад. Автомобиль сунулся мордой в арку, сдал назад, развернулся – и вырулил обратно на Садовую.

«Ну же, – сказал себе Зайцев. – Ну же». Как минимум два больших перекрестка до Шпалерной. Если не три. Уж на одном точно придется притормозить. Вот и шанс. Дернуть ручку, выскочить из машины – и ходу. Проходные дворы он знает лучше, чем эти гаврики знают собственные комнаты. Ищи-свищи. Мимо мелькала Садовая: телеги, трамвай, люди, люди, люди. Все мускулы напряглись.

Первый перекресток: регулировщик показывает жезлом «проезжайте». Не повезло, что ж. Машина свернула на Невский. Ничего. Там впереди перекресток с Литейным, даже лучше: большие доходные дома, построенные в 1860—1870-х, гирлянды проходных дворов идут насквозь через кварталы. Зайцев скосил глаза на крепыша: тот так и молчал всю дорогу, спокойно и прямо глядя перед собой в ветровое стекло. Зайцев собрался перед броском. Ощутил холод металлической ручки на двери. Уперся ногами в трясущийся пол.

Но машина покатила мимо широкой реки Владимирского проспекта, на той стороне превращавшегося в Литейный. Зайцев исподтишка обернулся на своего спутника. Так же торчит, как пень, прямо вперив оловянные глазки. Наконец на улице Некрасова машина свернула. А потом еще раз. В Басков переулок.

– Приехали, – объявил крепыш. – Вон парадная. Поднимайтесь на второй этаж. Квартира налево. Там открыто.

А сам и с места не двинулся. Ясно, не хочет светиться. В квартире ждут. Зайцев приоткрыл дверь. Крепыш тронул его за рукав.

– Только без выкрутасов, очень вас прошу.

Зайцев спрыгнул на тротуар.

И тут же ему стало невыносимо тошно. Он узнал этот облупленный, но когда-то покрытый рыжеватой штукатуркой дом. Эту решетку подворотни. Эту парадную. Это окно. Здесь он видел тогда Аллу.

# Глава 16



Зайцев сунул деньги в окошко.

Но вместо папирос рука продавца вернулась ковшиком:

– Еще рубль с вас.

Зайцев выловил из кармана бумажки, сунул нужную. Взял плоскую картонную коробочку.

– Товарищ, огонька не дадите? – обернулся он к стоявшему позади в очереди. – Вот спасибо.

Наклонился с папиросой к горячей спичке. Пыхнул.

Ему казалось, что гнусный затхловатый запах нечистой квартирки в Басковом переулке еще стоит у него в носу. Мысленно он еще раз пробежался через весь разговор – как бы притопывая на некоторых сомнительных репликах: не может ли где обрушиться? не упустил ли он чего?

– ...Понять что-то не могу: я арестован?

– Что вы! Зачем же так? Просто разговариваем. Беседуем. Дружески.

– Вот только я на службе в данный момент, и беседуете вы, когда я преступников ловить должен.

– Все верно. Мы никак не собираемся вам мешать. Именно преступников вы ловить и должны. И, помогая нам, вы помогаете общему делу: ловить, как вы выразились, преступников.

Речь его вилась гладкими скользкими кольцами.

– ...вредителей, противников советской власти, затаившихся классовых врагов. Если не сказать больше.

Зайцев видел: под локтем у того листок бумаги. Он то и дело с ним сверяется. Написано от руки.

– Да какие же враги, в уголовном-то розыске. Вон у нас чистки недавно прошли.

Зайцев старался смотреть на листок так, чтобы не видно было, куда он смотрит. На миг макнул взгляд – и отдернул. Как назло, рука то и дело двигалась по листку: то одну часть закроет, то другую.

– Товарищ Зайцев, чистки, как показывает практика, мера хорошая, но недостаточная. Враги маскируются. Враг может

завербовать того, кто еще вчера казался всем безупречным комсомольцем.

– Если я заподозрю, я, конечно, сообщу, – миролюбиво заверил его Зайцев. Как бы невзначай чиркнул взглядом.

«Агент Хризантема», – прыгнули ему в глаза последние два слова.

– Э нет. Будет лучше, если вы просто будете нам рассказывать обо всем. А мы уже сами решим, что подозрительно, а что нет. Вы, товарищ Зайцев, бросайте ломаться и соображайте поскорее, а то я прямо себя неловко чувствую: отвлекаю следователя в разгар рабочего дня.

– Так у меня и времени-то особо нет. По вызовам езжу. Рапорты подаю. И словом-то толком перекинуться, – продолжал он гнуть свое, – некогда. Только по делу если.

Это было похоже на какой-то неуклюжий танец. Один наступал. Другой отступал. И так они кружились, стараясь не отдалить друг другу ноги, еще некоторое время, пока тот не придвинул к Зайцеву бумаги.

«Подпишите здесь, здесь и здесь». Показал ногтем с траурной каймой. Зайцев принялся читать.

Тот усмехнулся. «Это подписка о неразглашении». Зайцев подписал.

– Ведь вас арестовывали один раз, товарищ Зайцев, – напомнил ему собеседник как бы невзначай.

– Меня отпустили.

– Вам шанс дали, – поправил Зайцева тот. – Воспользуйтесь им. И поспешил смягчить впечатление: – Подумайте над моими словами.

– Я подумаю.

Бумаги исчезли в свином портфеле. Зайцев глядел на унылые обои: буровато-красные, с полувывертым узором. На старый продавленный диван. На занавески. Значит, это у них вроде как место встречи. Конспиративная квартира. Чтобы не светить своих осведомителей визитами в ОГПУ.

Он спокойно и твердо посмотрел своему собеседнику в глаза.

«До встречи, товарищ Зайцев». Свиной портфель был не так глуп: руку на прощание протягивать не стал.

– И вам всего хорошего.



«Занятно», – подумал Зайцев. Хризантема, значит. А что, вполне по существу. Хризантема и есть. Хрупкий изысканный цветок.

А-атцвели-и-и  
Уш да-вно-о  
Хри-и-занте-емы в саду-у, —

вспомнилось ему пение Паши. Алла ей никогда не нравилась. Надо же.

А вот ему нравилась.

Как глупо.

Папироса оказалась горячей и горькой, дым драл горло: то ли папиросы стали хуже с тех пор, как он бросил, то ли с непривычки. Он швырнул недокуренную папиросу. Зашел в телефонную будку. Копейки в кармане, к счастью, нашлись.

Долго ждал соединения. В тишине что-то пощелкивало и потрескивало.

– Нет, сообщений не оставлено, – ответил дежурный.

– Из Москвы звонок, – нетерпеливо уточнил Зайцев.

– Из Москвы ничего не было.

Кишкин до сих пор не перезвонил.

Успеется.

Зайцев вышел из будки. Увидел, как прохожий, с виду чисто и прилично одетый – обычный серый советский мышонок, ловко подобрал брошенную им – едва начатую – папиросу. Зайцев вынул, чуть придавил и выбросил всю пачку. Посмотрел на свои растопыренные пальцы. Не дрожат. Интересно, а что бы на его месте чувствовал сейчас обычный серый советский мышонок? Затрясся бы? Уехал к троюродной сестре в Курск или там Ростов? Или обычных они не берут?

Он вспомнил папки, виденные в сейфе у Коптельцева: «вредительство», «диверсия».

А Коптельцев? Подыгрывает? С каких это пор? Ведь он ушел из ОГПУ – чтобы возглавить угрозыск. Или бывших гэдэушников не бывает?

– Товарищ, дома спать будете! – прошипела какая-то женщина в плаще, вильнув корзинкой. Прохожие, лавируя, обходили его, как камень посреди потока. И Зайцев зашагал. Он шел не медленно и не быстро. А ровно так, как все. Не привлекая ничьего внимания. Бегут только те, кто убегает. Или догоняет.

А он ни то, ни другое.

В квартире нервы сдали. Он почти пробежал мимо кухни, не поздоровавшись с соседками. Махнул от лица чьи-то простыни, развешенные в коридоре.

Хризантема, значит.

Ключ не брал замок. И только через секунду длиною в вечность Зайцев сообразил, что впихнул его бороздками вниз. Усмехнулся. «Без паники, барышни». Перевернул. Теперь замок послушно хрустнул.

Сердце у Зайцева встало. Повисло на одной ниточке. Потом снова пошло.

Он сразу понял, что стол пуст. Подошел к столу, как будто надеясь, что просто обознался, что это просто так упала тень, обманула. Обмана не случилось. Таблицы не было. Зайцев глянул в угол: может, забыл, что свернул и ткнул туда? Но и угол был пуст.

На комод: пусто. Он с треском выдвинул один за одним ящики комода. В тупой надежде, что убрал все машинально. Ничего.

Он быстро прикинул к полу, заглянул под комод. Под стол. Под кровать.

Если до сих пор он думал, что знает ужас на вкус, он ошибался.

Исчезло все: таблица, папки со старыми, давно закрытыми и списанными в архив делами – он не имел права выносить их из здания. Теперь их нет. Исчезли фотографии. Вскрытая бандероль с анонимным письмом и документами из Эрмитажа исчезла тоже. Не было даже путеводителя, очевидно, прихваченного на всякий случай вместе с остальными бумагами. Зайцев почувствовал, как сдавливает грудную клетку. Не заботясь о занавесках. Не заперев даже дверь комнаты, он ринулся к комоду, схватился за углы, дернул прочь от стены. Комод, как крейсер, тяжело выехал чуть ли не на середину комнаты. Мелькнула нагая – задняя стенка. Зайцев упал на колени, вмиг обшарил ее руками, будто не веря собственным глазам.

Пусто. Он перекатился – спиной прислонился к стене. Сердце бухало так, что дышать было трудно.

Он думал, что у них на него ничего нет.

У них на него было все.

Он сам им все отдал.

«Без паники», – сказал он себе. Еще не поздно. «Думай, – заставил он себя. – Думай». Если бы документы уже были у них в руках, иначе бы с ним разговаривали, ох, иначе. И уж покруче, чем прошлым летом, когда ему в тюрьме на Шпалерной переломали ребра.

Он вскочил.

– Товарищи, кто разговор с Москвой заказывал? – из-за деревянной перегородки приподнялась девушка с ярко покрашенными губами. – Вы? – спросила она Зайцева. – В третью кабинку, пожалуйста.

Он закрыл за собой дверцу. Кабинка телеграфа походила на коробку лифта со своими деревянными панелями. Плюшевая скамеечка напрасно приглашала присесть.

Зайцев снял трубку.

– Алло?

– Я вас слушаю.

Он узнал голос секретаря. Или показалось, что узнал.

– Зайцев говорит. Мне нужно поговорить с товарищем Кишкиным.

– Он на совещании.

– Я из ленинградского угрозыска.

– Он на совещании, – с доброжелательным нажимом повторил тот.

– Это срочно. Когда его можно застать? Я звоню из Ленинграда.

– Через час перезвоните.

Зайцев повесил трубку. Вернулся к стойке, расплатился. Глянул на часы, которые двумя черными копиями накалывали по кругу пузатенькие цифры.

– Мне еще один разговор с Москвой.

Он назвал время. Девушка пожала плечом под шелковой блузкой.

– Это важно, – зачем-то сказал Зайцев.

– Да мне-то что: деньги ваши, не мои, – она подала квитанцию, на которой было выставлено новое время.

В театре было пусто.

– Вот неожиданность, – сказала Алла с улыбкой.

Зайцев пристально смотрел ей в лицо: ни тени волнения.

– Я, – начал он и осекся. К служебному выходу прошла стайка худеньких женщин: без грима лица танцовщиц казались юными. – Поговорить надо.

Его тон показался ей, видимо, странным. На ее лице Зайцев теперь видел вопрос.

– Есть спокойное место? – он сунул руки в карманы.

– Идем.

Сквозняком шевелило на доске объявлений листочки приказов. Они шли узкими лестницами, низкими коридорами, так не вязавшимися с просторной нарядностью зрительской части театра. Откуда-то доносились сдавленные завывания и звуки рояля: кто-то репетировал. Дунуло запахом пудры, пота, канифоли. Гримуборные. Зайцев на ходу приоткрыл дверь: тут же вскинули на него глаза трехстворчатые пустые зеркала. Никого. Он за руку втянул Аллу. Толкнул. Захлопнул позади себя дверь.

Алла была ошеломлена.

– Ты что?

Он отметил: а вскрикнула-то – шепотом.

По дороге с телеграфа он пытался представить себе этот разговор – свои реплики. Как будет сужать круги. Усыплять бдительность. Как ударит в лоб обухом внезапного – главного – вопроса. Так же, как он раскалывал подозреваемых бандитов. Врагов. Алла была врагом.

Но когда он увидел ее перед собой – этот чистый лоб, этот ясный взгляд, это лицо, все его навыки потеряли цену, все слова улетучились. Он только сумел выдать:

– Что у тебя в Басковом?

– У меня?

Алла в миг поняла, что отпираться бессмысленно. Щеки ее жарко расцвели.

– Портниха, – пожала плечом она. – Частная. Я подрабатываю. Сажаю по фигуре. Клиентки разные. Из театра в том числе. Подрабатываю немного. ...Боже мой, – она схватилась тонкими пальцами за виски, – представляю... Но зачем ты следил? Просто спросил бы. Ты же знаешь, как платят в театре... А там... Мы потихоньку... Чтобы без фининспектора...

Она громоздила одну ложь на другую. Но как естественно она выглядит, поразился Зайцев.

– Портниха, значит. Ты ей посоветуй только усы сбрить, – процедил он. – Портнихе.

Алла секунду глядела на него ошеломленно. Но только секунду. В ее голове, видимо, родился новый ход.

– Это не то, что ты подумал...

– Боже, Алла, – не выдержал Зайцев. – Перестань.

– Да, это не портниха, – в ее голосе вдруг блеснул вызов. – Да, я встречаюсь с другим, – объявила она.

Как ни очевидна была ложь, Зайцев ощутил укол. В какой-то степени Алла говорила правду: это все равно измена. Твоя подруга изменяет тебе с ОГПУ. Ты думаешь, у вас роман, а на самом деле она на службе. У нее задание.

Алла продолжала развивать мелодраматическую версию:

– Прости. Все так запуталось. Нет причин. Никто не виноват. Так сложилось.

Зайцев молчал.

Она смятенно и жалобно глянула на него. Проверяет, видел Зайцев, клюнул или нет. Он почти восхищался отвагой и свободой, с которой она лгала. Маленький опасный зверек, который мечется в поисках выхода.

– ...я просто не хотела. Я сама не знала, что я чувствую. К кому из вас двоих что испытываю. Я не знаю.

Ему уже стало казаться, что это чистая правда.

– погоди, Алла. погоди. Это все неинтересные детали.

Прекрасные глаза смотрели так правдиво. Алла, вероятно, заметила его заминку. Она вдруг ловко прыгнула у него под рукой, уже схватилась за дверь. Он успел ее оторвать. Отшвырнуть. Она налетела на столик, звякнувший всеми своими парфюмерными внутренностями, зеркало зашаталось. Зайцев выхватил пистолет.

– Стоять, – тихо сказал он. И повторил еще тише. – Стоять.

Вдруг словно все пазухи здания наполнились звуками. Очевидно, начал репетицию оркестр. Музыка грохотала и разбивалась брызгами.

«Тем лучше», – подумал Зайцев. Он не сразу расслышал, что Алла говорит. И на этот раз голос ее дрожал.

– Ты же знаешь, как они умеют опутать. Сперва арест. Потом: вы можете нам помочь. А потом они тебя отпускают. Сам знаешь. Ведь так?

– Не так.

– Тебе легко говорить, – перебила она. – Советский гражданин. Ты не знаешь, что такое бегать, прятаться, скрывать, кто ты. А я просто хочу жить! Я просто жить хочу. Какая есть. Я не виновата, я не выбирала, кем родиться.

Ему хотелось спросить: это с самого начала было заданием? А если нет, то когда стало заданием?

Он заставил себя проглотить эти вопросы.

– Алла, – спокойно сказал Зайцев. – Мне это теперь уже неинтересно.

– Да? Только не говори, что ты не цепляешься за жизнь, – вспыхнула она.

От щелчка предохранителя Алла вздрогнула. Замерла. Ее глаза смотрели в черный глазок смерти.

– Цепляюсь, – согласился Зайцев. Он подошел к ней совсем близко, дуло почти уткнулось в живот. – Не дергайся. И не делай глупостей. Сейчас мы с тобой спокойно отсюда выйдем. И ты отдашь мне все, что взяла. А потом живи как хочешь.

Девушка в перманенте хмурила брови, разглядывая квитанцию.

– Товарищ, так разговор ведь просрочен.

– Я знаю, – улыбнулся Зайцев: – Виноват. Что же мне делать? По новой заказать?

– Ждите, – вздохнула она.

Зайцев не успел отойти к скамейкам, на которых покорно ждали своей очереди другие, как девушка махнула ему рукой:

– Третья кабинка.

Зайцев сорвал трубку:

– Алло?

– Говорите, – все тот же голос секретаря. Все такой же доброжелательный. Зайцев представился.

– Товарищ Кишкин занят. перезвоните через пять минут.

Зайцев повесил трубку. «Пять минут» – это сколько? Пять? Или полчаса? Или завтра? Или никогда.

Он вышел из кабинки. Ждать здесь? Машинально сел на скамейку. Заказать новый разговор? Или немедленно ехать на вокзал, в кассу: один билет до Курска. Ростова, Орла, на Урал. Обратного не надо. Не теряет ли он прямо сейчас драгоценные минуты?

– Товарищ. Товарищ, – осторожно, даже опасливо заговорил с ним старик в шляпе; рука в крупных веснушках опирается на трость. – Товарищ, вы хорошо себя чувствуете?

– Что? – не понял Зайцев.

– У вас тут – кровь.

– А, – сказал Зайцев и запахнул пиджак, – пустяки. Недавняя операция. Аппендицит. Ничего серьезного.

– Вы бы поосторожнее со швами.

Старик явно дожидался своей очереди, скучал и с радостью обнаружил собеседника.

– Когда молод, то совершенно не умеешь быть нездоровым. И наоборот, – начал разбег к долгому разговору он.

– Это верно, – с улыбкой встал Зайцев и добавил, отвечая больше самому себе: – Мне сейчас нужно все делать помедленнее, спешка точно не поможет.



Он расплатился за короткий разговор с Москвой и вышел из телеграфа.

Пока он добрался до угрозыска, мысли пришли в порядок. Так, по крайней мере, ему казалось. Стоп, сказал он себе. Проблемы есть очевидные и воображаемые: те, что стучат в дверь, и те, что пока существуют только в уме. Не стоит переоценивать способность просчитывать все наперед – иногда она оборачивается просто паранойей. Мешает думать.

Прежде всего следовало раздобыть недостающие патроны. Арсенал охраняли как зеницу ока, все верно, но – от чужих. Не от своих. Тем лучше. Но действовать надо было быстро.

– Товарищ Зайцев! – раздробилось эхом по лестнице.

Зайцев притворился, что не услышал. Но Нефедов быстро догнал его.

– Товарищ Зайцев!

Вот принесла нелегкая. «И тем не менее, – напомнил он себе, – Нефедов тоже опасен». Зайцев постарался вести себя так, как вел бы в любом случае.

– Здорово Нефедов. Чего это ты? Тыкал пальцем, куда не надо?

На руке у Нефедова белела тугая куколка вместо пальца. Бинт крест-накрест обхватывал ладонь. Но уже успел запачкаться.

– Товарищ Зайцев, есть вопрос.

Взгляд его говорил, что у него скорее уж ответ. Причем срочный. На каске дежурного лежал блик от всегдашней настольной лампы. Зайцев понял.

– Ну пойдём в кабинете потолкуем, если вопрос.

В кабинете Зайцеву вмиг стало жарко. Апрельское солнце накалило его через стекло, как теплицу. А пиджак снять нельзя.

– Так чего это у тебя с пальцем? – весело спросил он.

– А, вывих, ерунда. Гляньте сюда.

Он протянул коричневый листок – клочок упаковочной почтовой бумаги.

То, что показывал Нефедов, напоминало детский рисунок.

– Не понял.

– Это нарисовала работница Почтамта. Описать словами они не смогли – не писатели, мол.

Зайцев взял листок. Лепешка головы. Черточка носа с двумя кружочками ноздрей. Тонкие губы. Прорези глаз.

– Ага, – продолжал Нефедов. – И не художники, правда, тоже.

Но каким-то образом рисунок сумел выразить надменное выражение лица: сжатые губы, сощуренные глаза, в гордом негодовании раздутые ноздри. Рисовала, по-видимому, женщина: прическа была передана особенно тщательно.

– Я знаю, кто это, – бросил рисунок на стол Зайцев.

– Кто?

Зайцев задумался. Как сказать кто? Память упорно не желала прибавить звук. Он помнил, как смотрительница обратилась к ней, да-да, именно по фамилии. Но звук дрожал расплывшимся пятном.

– Не могу вспомнить. Что-то на Л? Или Авилова, может?

Нефедов перегнулся в талии, нырнул под стол.

– Посмотрим. Может, есть совпадение где-нибудь.

Водрузил и стал расправлять непослушный, свивающийся рулон.

Зайцеву показалось, что пол из-под него дернулся – и поехал. А Нефедов все бормотал себе под нос:

– Может, кто-то из убитых знал какую-нибудь Авилову. Или на Л.

Прижал угол таблицы пепельницей, полной черных обгорелых чешуек. Прижал с другого краю календарем.

Зайцев глядел на нее, как на привидение.

Нефедов встретил его взгляд.

– Я допрыгнул, кстати, – пояснил он, как бы слегка удивляясь собственным словам. – Только палец вывихнул, – поднял он забинтованную руку. – И подоконник ваш, товарищ Зайцев, пора ремонтировать – пока он на башку кому-нибудь из прохожих не отвалился.

Зайцев молчал, и Нефедов истолковал это по-своему.

– Я увидел, что вас запихали в машину, – пояснил он. – Когда на углу околачивался.

Верно, вспомнил Зайцев. Он видел Нефедова на набережной.

– Я все спрятал, – объяснил Нефедов. Развел руки над таблицей: – Это, и папки, и карточки, и бандероль.

– А это?..

– А в рулоне что? Стенгазету готовим. Как принес, так и унесу.

Сонные веки не приподнялись. Взгляд все такой же спокойно-тупой. Зайцеву хотелось наброситься на него, встряхнуть, выбить самый важный ответ парой затрещин.

– А конверт я сжег, – как будто ни к селу ни к городу добавил Нефедов тем же голосом. И кивнул на пепельницу. Он понял. И Зайцев понял. Взял пепельницу. Угол таблицы тотчас свернулся, точно только того и ждал.

Зайцев смотрел на черные хрупкие хлопья. Один клочок сгорел не полностью: старый фотографический картон горит плохо. Виден был хвостик золотой буквы из названия ателье.

Теперь у него осталась только память. Только то, что он помнит сам.

Зайцев снова расправил лист и переставил пепельницу на угол. Сунул ли нос Нефедов? Скорее всего, да. Сжигая, он все изорвал на клочки. Любой бы на его месте сунул нос.

Зайцев ощутил тяжесть: как будто теперь его к Нефедову приковали цепью. Так раньше, на царской каторге, он читал, сковывали попарно каторжников.

Сонные веки дрогнули. Нефедов смотрел на него твердо и ясно:

– Не храните секреты, товарищ Зайцев. Если хранить, то это не секрет.

И наклонился над таблицей:

– Тэк-с, Авилова, значит. Авилова...

– Да вы что, товарищ Зайцев, – заволновался Нефедов. – Вы, извините за выражение, бредите. Какой из меня музейный работник? Да будто по роже моей не видно, что я университетов не кончал.

– Видно, – заверил его Зайцев. – Но у нас только три дня. Два, – поправился он. – Спокойно, Нефедов. В любом заведении искусства и культуры кто-то тоже должен мыть полы, чистить печи, грузить ящики и так далее. В театре, например... – он осекся. Алла была не просто перевернутой страницей, а выдранной, смятой и выброшенной. – В музее тоже работают грузчики, печники, уборщики. Ты отлично выглядишь. Лучше настоящего. Полежай.

Нефедов скинул кепку. Подумал, скинул и пиджак тоже. Отстегнул кобуру. Пихнул все это в руки Зайцеву. Легкой походкой вора он обогнул угол здания, скрылся. Но Зайцев словно продолжал видеть его мысленным взором. Вот Нефедов нашел окно, через которое шмыгают коты. Вот нырнул в подвал Эрмитажа. Это служебный корпус. Первым делом Нефедов отыщет план эвакуации при пожаре: должен висеть на каждой лестнице. Выяснит, где отдел кадров. Или бухгалтерия. Или хозчасть. Тырить ничего не надо. Надо прикинуться дураком. И выяснить, кто такая эта Авилова. Если, конечно, она Авилова.

Зайцев обернул кобуру пиджаком, скомкал нефедовское барахло поплотнее. На него со всех сторон смотрели голубоглазые окна: день был чудесный, небо ясное. Вокруг – только камень и вода. Торчат так – только привлекать внимание. Зайцев изобразил, что мечтательно слоняется, любуясь видом на Лебяжью канавку, забранную в гранит, на Неву, видневшуюся в арке. Занятие в Ленинграде более чем естественное.

– Гражданин!

Зайцев обернулся. Бородатая рожа. Дворник.

– Гражданин, если поссать здесь прицеливаешься, то даже не думай.

Он сунул в рот свисток, показывая, что настроен серьезно.

– Фу, как вы выражаетесь грубо, – откликнулся Зайцев. – Я, к вашему сведению, люблю красоту нашего города.

– Любуется... Смотри мне без фулюганства, – пригрозил сторож. И начал махать колючей метлой. Набережная была и так чиста. Дворник просто пас незнакомца.

«Пора оставлять плацдарм», – недовольно подумал Зайцев. Только куда? Да еще с нефедовским пистолетом в коконе.

Светиться возле самого Эрмитажа, а тем более внутри Зайцев не мог – рискованно. Если «Авилова» – это та, на кого он подумал, то ее он попросту спугнет. Она его вспомнит. Ищи потом ветра в поле. Вон Алексей Александрович: хорошо, что не нужен, а то где бы его теперь искать? Может, учительствует сейчас где-нибудь в Торжке. А может, и не в Торжке. Страна-то большая.

С набережной свернула какая-то гражданка, на локте покачивалась и пускала блики квадратная лакированная сумочка. Зайцев прищурился против солнца, отвернулся к воде: на ней тоже плясали блики.

– Товарищ! Это вы.

Такое начало очень не понравилось Зайцеву. Он поднял голову. Мегера из Эрмитажа стояла перед ним. Волосы двумя змейками разбегались со лба. Узкие глаза и рот словно прорезаны лезвием. Он не ошибся.

Вернее, ошибся – его память переставила звуки в ее имени.

– Лиловая, – представилась она. – Татьяна Львовна.

– Зайцев, – он пожал узкую сухую ладонь. Он не спешил говорить: пусть сама поведет разговор.

Татьяна Львовна, видимо, истолковала это как замешательство и, как человек воспитанный, тотчас поспешила на помощь:

– Я увидела в служебном корпусе юношу в подтяжках. Не наш.

– А вы что, помните всех юношей в подтяжках, которые у вас работают?

– Эрмитаж – это одна, большая и сложная, но семья.

Где-то Зайцев это уже слышал. А, точно: в коммуналке, где жила убитая Фаина Баранова. Семья, которая ревниво хранит свои тайны от посторонних.

– Я подумала: если он вор, то почему так спокойно среди бела дня разгуливает? А раз не наш и не вор, то ваш. А раз без кепки и верхней одежды, то значит, его снаружи поджидает товарищ.

– Вам бы, Татьяна Львовна, самой в уголовном розыске служить, – не удержался Зайцев.

К его удивлению, товарищ Лиловая кивнула:

– Мне это тоже приходило на ум. Работа ученого сродни работе следователя. Ищешь улики, сопоставляешь факты. Выдвигаешь версии. Проверяешь. Делаешь выводы. ...Смотрите, как дворник на нас уставился. Бедняга. Пусть думает, что у нас роман во французском стиле: немолодая опытная она и юный пылкий он.

Она ловко вдела свою руку Зайцеву под руку. Он согнул локоть.

– Как мило, – улыбнулась товарищ Лиловая.

– Зачем вы отправили мне бандероль?

– А что, мы не будем дожидаться вашего товарища?

– Молодой человек, вы пейте пиво, пока оно еще холодное, – мягко заметила Татьяна Львовна. Поддела своими розовыми лакированными ноготками и с треском содрала с плоской рыбины сухую чешуйчатую шкурку. Нефедов и впрямь таращился на нее совсем уж неприлично: как на говорящую лошадь.

– Я думал, вы интеллигентная женщина, – простодушно не удержался он. – А вы воблу едите.

Зайцев усмехнулся: Нефедов работал в своем жанре Иванушки-дурачка; поразительно, как даже неглупые люди это проглатывали, да и он сам, между прочим.

Татьяна Львовна с достоинством отодрала от рыбины янтарную щепу и сунула в рот. Долго жевала: щеки у сомкнутых губ ходили ходуном. Зайцев и Нефедов внимали трапезе. Наконец она отпила пива и заговорила:

– А какая связь? Между прочим, это так называемая культурная пивная. Рядом филармония, детское издательство, Русский музей – все, как вы изволили заметить, интеллигентные люди. Вон те, например, детские писатели.

Зайцев и Нефедов посмотрели. Три гражданина самого обычного вида, невзрачные – обычные совслужащие, – ржали за столиком, на котором потели большие кружки с пивом.

– Я не знаю, где сейчас проходит эта граница, – призналась Татьяна Львовна. – Интеллигентные – не интеллигентные. Этот ваш Простак... Боже мой, у него еще и фамилия как будто нарочно такая!.. У него же два класса церковно-приходской школы! Вы понимаете? Два! Я знаю, я навела справки. Конечно, этот дикарь не понимает, что делает. Для него хоть Рубенс, хоть лебеди на клеенке. Хоть Эрмитаж, хоть комиссия.

Она увидела, что Зайцев хочет что-то сказать, и, кажется, даже догадалась что.

– Вы тоже, конечно, не профессора, – быстро заверила их она. – Но почему-то вам не все равно? Почему-то вы понимаете разницу? Почему вы понимаете, что это преступление? Значит, интеллигентность – это не прерогатива образованных?

Зайцев и Нефедов переглянулись.

– Ну, с технической точки зрения преступления нет, – осторожно начал Зайцев. – Даже ваши бумаги... Которые вы нам передали. В них все законно. Такие-то и такие-то вещи Эрмитаж передал обществу «Антиквариат». Подписи, печати. А что общество «Антиквариат» продает народное добро, так это народ сам его уполномочил.

– Советскому народу, пролетариату еще предстоит расти, умственно в том числе, чтобы дорасти до того культурного наследия, которое ему досталось после революции, – заявила Татьяна Львовна. – И он дорастет!.. Однажды, – несколько неуверенно добавила она. Видно было, что этот счастливый миг Татьяна Львовна ожидает не скоро. – И поймет! И что тогда? Поздно!

– Татьяна Львовна, вы чего от нас-то хотите?

– Помощи.

– Мы уголовный розыск. Мы не просветительская организация. А с уголовной точки зрения товарищ Простак и его организация ничего не нарушили.

Татьяна Львовна отпила пива.

– А почему же вы тогда за этими картинами бегали? – спокойно поинтересовалась она. – Это вы ведь к нам первый наведались. О картинах спрашивать стали. Не я к вам.

Правда.

Но рассказывать Татьяне Львовне о том, что кто-то шастает по городу, убивает ленинградцев и выкладывает их телами отвратительные натюрморты по мотивам эрмитажных картин, Зайцев не собирался.

– Татьяна Львовна, я не говорю, что вы не правы. Правы. Борьба надо. И боритесь! Напишите подробное письмо товарищу Кирову. На самый верх. В правительство. В наркомат. Всем.

Она смотрела в сторону.

– Скоро в Берлине аукцион, – устало заговорила она. – Аукцион Лепке. Это очень заметные торги. Для богатых любителей старого искусства. Если это не остановить сию секунду, для эрмитажного собрания он обернется еще одной катастрофой. Понимаете? Не первой. Но тоже необратимой. Еще один сокрушительный удар по собранию. Наши внуки уже никогда не увидят этих картин. Они будут украшать чужие виллы.



– Увидят, потому что скоро разразится мировая революция и всех буржуев вытряхнут с их вилл, – быстро проговорил Нефедов в свою кружку. Шум пивной плотно обступал их. Но это не значит, что их никто не мог услышать.

Татьяна Львовна осеклась. Поняла предупреждение? Зайцев видел, что она задумалась.

Но он ошибся. Нефедова она поняла иначе.

– Значит, вы вот так это видите? – пораженно произнесла Лиловая. Нефедов поднял на нее свиное личико:

– Я?

– Пролетариат, – раздраженно уточнила она. – Советские люди. «Университетов не кончали» которые. Или как вы там это называете.

– Товарищ Лиловая, – предостерег ее Зайцев.

Он смотрел на эту немолодую женщину. Она была похожа на старую кобру, которую индийский раджа посадил стеречь сокровища, да с тех пор уже и раджи нет, и город его умер, а старая кобра все качается над никому не нужным золотом.

– Вы когда в Эрмитаже последний раз были? – презрительно спросила Татьяна Львовна Нефедова, который грыз спинку воблы.

– С час назад, – ответил он.

Та фыркнула. Щелкнула сумочкой, принялась в ней что-то искать.

– Вот, – Татьяна Львовна бросила перед Зайцевым на стол несколько фотографий. – Гвозди каталога Лепке. Я понимаю, вам эти имена и названия не скажут ничего, – она одарила Нефедова презрительным взглядом. – Но вы, – она посмотрела на Зайцева, – вроде бы не так безнадежны, как ваш товарищ. Поверьте мне на слово. Это первоклассные работы. Бесценные. Простак, может, и не знает, что творит. Зато клиенты аукциона Лепке, американские и европейские миллионеры, понимают это очень хорошо.

– А миллионеры-то откуда знают, что там ваш Простак позабирал? – опять подал голос Нефедов. Но Татьяна Львовна уже вычеркнула его их списка живых. А Зайцев машинально листал фотографии – снимки картин.

Он смотрел и не видел. Он думал. Вдруг о нем вспомнили в ОГПУ. Вдруг Кишкин, Кишкин, с которым столько вместе пережито, превратился в управленца типа «только что был здесь, но пять минут назад вышел». А если все это не вдруг? А если – именно после его

визита к Простаку? Не зря же тот держался так борзо. Деятельностью общества «Антиквариат» руководили сверху, из Москвы. Наркомторг, сказала Татьяна Львовна? Наркомторг?

Что, если Фаина Баранова, любительница красивеньких безделушек, случайно сунула куда не следует свой глупый любопытный нос? И остальные, выходит, тоже? Нет. Маловероятно.

Но неужели тогда его последняя – нелепая, из книжки «Двенадцать стульев» почерпнутая идея верна?

Допустим, все они – но каждый по отдельности – в самом деле купили себе нечто. Разбили набор. Не зная, какой великой ценности предметы покупают. И теперь убийца собирает вещи обратно по одной. Но что? Монеты? Почтовые марки? Украшения?

Бывают ли на свете монеты ценой в жизнь человека? А марки?

Зайцев теперь верил, что бывают. И бывают люди, которые готовы заплатить за вещички баснословную цену. Вон миллионеры, говорит товарищ Лиловая...

Но зачем тогда изуверство? Трудоемкий и рискованный балаган с переодеванием трупов и инсценировками?

Зайцев чувствовал, что все детали перед ним – но все равно не видел картины. Он злился, он чувствовал, как мозг буксует.

– «Аллегория вечности». Рубенс, – донесся до него голос. Он поднял голову. Татьяна Львовна кивнула подбородком на фотографию сверху. Она, по-видимому, очень любила свое дело, потому что немедленно принялась вещать: – Рубенс сделал ее как эскиз для одной из шпалер, заказанных герцогиней Изабеллой для монастыря в Мадриде. Центральную женскую фигуру Чезаре Рипа, автор знаменитой «Иконологии» 1593 года, считает Вечностью. Здесь, – Татьяна Львовна показала розовым длинным ногтем на фотографии, – змея, кусающая свой хвост. Образ бесконечного времени. Над Вечностью парит гений. Три фигурки путти поддерживают гирлянду...

Нефедов слушал так, словно Лиловая вещала по-китайски.

– Картина несравненная. Незаконченность ей только к лицу. Ее легкость... – у Татьяны Львовны задрожали губы, руки. На лице заалели два пятна.

И обернувшись туда, где официантка ставила новые кружки пива писателям, почти взвизгнула:

– Девушка! А поставьте-ка нам водочки!

## Глава 17



Мартынов не выдержал, отвернулся. Крачкин щелкнул замочком – расставил треногу. Стараясь не смотреть туда, на то, что должен был фотографировать.

– Значит, так, – начал вслух Самойлов. – Положение первого трупа...

Зайцев понимал: он нарочно старается держаться сухих формул протокола. Описать место преступления простыми человеческими словами казалось невозможным. Поодаль с утробным звуком вырвало агента Сундукова.

Убитых обнаружили рыбаки. Здесь невский берег был пустынным. Только огромные гранитные валуны да деревья. Налетавший ветер морщил реку, несмотря на майское солнце. Город вдали пытел заводским дымом.

Убийца втащил один труп на гранитный, самой природой выточенный и придвинутый пьедестал. Труп лежал на животе. Свисали золотые локоны.

Мартынов осторожно примерился ногой к уступу на гранитном камне. Уцепился, подтянул себя повыше. Дотронулся пальцами до горла женщины. Обернулся и покачал головой.

– Успела окоченеть.

Он спрыгнул, обмахнул ладони о брюки.

– Точнее скажут уже судмедэксперты.

– Ты смотри, падла. Как только он это сделал? – произнес рядом Крачкин. Он по-прежнему отводил глаза. Взглянуть на убитых он смог только через глазок камеры.

И Самойлов, и Крачкин таким способом защищали сознание от увиденного. Защищал себя на свой манер и Зайцев – в голове его звучал голос Татьяны Львовны Лиловой: «образ Вечности представлен старухой», «змея, кусающая свой хвост», «Гений сверху подает гирлянду».

От запаха роз мутило. Возможно, оттого, что к нему примешивался еще какой-то незнакомый химический запах.

«Три путти поддерживают гирлянду снизу». Детям на вид был год? два? три? На голеньких застывших телах еще был младенческий

жир, тугие, словно перетянутые ниточками складки. На душе у Зайцева стало так холодно и тоскливо, будто его мимоходом обняла смерть.

– Расстрелял бы гада на месте, – выругался Самойлов.

Поодаль стоял автомобиль с красным крестом. Но спасти здесь было некого. Старуха, молодая полная женщина с золотистыми косами, трое малышей – все были мертвы.

Самойлов отошел, распорядился. Теперь медики могли унести тела. Хотя повредить улики и следы они уже не могли – не было попросту никаких улик и следов! – ступали они с носилками осторожно.

Положили носилки на траву. Стали передавать друг другу крошечные тельца. «Головку, головку придерживай», – не удержалась женщина в белом халате. И заплакала. Зайцеву от ее слов стало еще тошней и горше. Все три трупика поместились рядом. Накрыты простыней. Но жуть не ушла.

– Ай! – вскрикнул один из агентов и, матерясь, отпрыгнул, отбросив змею, свитую кольцом: ему на миг показалось, что гадина живая.

На Гороховую ехали в полном молчании. Каждый по-своему думал – или старался не думать – об увиденном. Или попросту не хотел ни думать, ни говорить.

Зайцев думал о трех детях. Уж они точно ни в чем не могли быть виноваты. Не покупали в обществе «Антиквариат» безделушек, марок или монет. Кто-то убивал ленинградцев в странной связи с картинами, которые покидали Эрмитаж. И как бы то ни было, эти картины были сейчас его единственным следом.

Его или их? Стоило оно того, чтобы на время забыть о свалывшемся клубке лжи, недомолвок, подозрений, обид?

Зайцев решил.

– Крачкин, – тихо позвал он. – Крачкин, слушай.

Крачкин нехотя отвернулся от окна, за которым тряслись идеально прямые линии ленинградских улиц. Они уже миновали окраины, въехали в центр города.

Крачкин расцепил сжатые губы.

– Слушай, Вася, давай потом как-нибудь. Я как-то не в настроении обсуждать криминальные пережитки прошлого в новом обществе.

И опять уставился в окно.

Отвернулся и Зайцев. «Что ж, зато все ясно», – сказал он себе.

Вся бригада собралась у Коптельцева на совещание. Изощренное убийство, при том что трое убитых – дети, требовало экстренных мер. Начали с того, что надо было установить личности жертв. Сфотографировать, обойти ближайшие улицы.

Зайцев поднялся.

– Извините, на секундочку. В уборную.

– Да, – угрюмо, без тени иронии сказал Самойлов. – Еще как понимаю.

А Сундуков слегка покраснел.

– Да ты что, Сундуков, – искренне произнес Серафимов. – Меня там не вывернуло только потому, что я вовсе пожрать не успел.

– Товарищи, – призвал всех Коптельцев. – Давайте выразим свое отвращение и гнев через выдающуюся следственную работу, а не физиологические процессы. Иди, Зайцев.

Зайцев вышел в коридор. Установить личности убитых. Все логично – в полном соответствии с правилами розыскной работы. Вот только преступление это отрицало правила. Зайцев вспомнил их с Нефедовым таблицу: сколько времени и сил они потратили, чтобы узнать об убитых все. И что?

Сейчас в кабинете у Коптельцева он впервые ясно почувствовал, что эти преступления не имели никакого отношения к тому, кем были убитые. Как звали, где служили, каково их происхождение, семья и членство в партии, кто их сослуживцы, друзья, соседи. К самому понятию личности. Картины и только картины были ключом к происшедшему.

Каким? Неизвестно. Одно Зайцев знал совершенно точно: товарищ Простак действовал не сам по себе, кто-то направлял его из Москвы.

Он заперся у себя в кабинете. Ему уже было не до осторожности. Заказал разговор с Москвой.

«Ждите».

Зайцев сам не знал, в какую сторону роет. Он просто рыл и надеялся, что рано или поздно брызнет свет.

Зыбкий или верный, но это его единственный след: картины. Затрещал телефон.

– Говорите.

Сколько раз уже слышал он это сытое приветливое «говорите»?

– Зайцев, из ленинградского уголовного розыска. С товарищем Кишкиным соедините. Это срочно.

Цоканье в трубке. Очевидно, секретарь переключает соединение. Щелчок. Сытый голос вернулся:

– Товарищ Кишкин на выезде. Что-нибудь передать?

Вдруг Зайцев услышал далекий знакомый баритон: «Отшей его как-нибудь подальше». Очевидно, рычаг не сработал, и невидимый Кишкин давал указания секретарю. У Зайцева забилося сердце.

– Алло? Товарищ Зайцев? Передать что-то?

– Нет, спасибо.

И повесил трубку.

С минуту он сидел, не соображая ничего. Его душил спазм. Он был слишком потрясен, хотя и ждал подобного. Потом охватила

ярость. Ну нет, Кишкин, так не пойдет. Зайцев сорвал телефонную трубку.

– С комендантом Московского вокзала соедините. Срочно.

Несколько секунд.

– Слушаю.

– Уголовный розыск. Следователь Зайцев. Я выезжаю сегодня вечером в Москву, оставьте мне билет.

Комендант залепетал что-то: мол, проверить наличие надо, популярный поезд.

– Нет, товарищ, вы меня не поняли, – рявкнул Зайцев. – Я в бригаде по борьбе с бандитизмом служу, а не Большой театр с Третьяковской галереей посетить собираюсь. И дело мое – особой важности. А если вам словами не понятно, то я вас с соответствующей бумагой навещу.

Несколько секунд то ли огорошенного, то ли сердитого молчания.

– На одного человека билет? – переспросил комендант.

– На одного. Туда и обратно в тот же день.

Зайцев брякнул трубку.



Тот, кто употреблял слово «лакейский» в смысле «угодливый», явно не знал предмет. Метрдотель, дородный и статный, как адмирал, раскинул перед ним руки. В его глазах Зайцев отчетливо видел презрение, и оно было полным: к костюмчику, к парусиновым туфлям, не столичному виду, виду человека не при власти. Богатые бакенбарды топорщились, как львиная грива:

– Мест нет... товарищ! – он почти выплюнул последнее слово. В московском «Метрополе» товарищей не жаловали. Бархатный канат и бархатная портьера на входе надежно отделяли овец от козлиц. Зайцев ткнул ему под нос удостоверение.

– Во-первых, я вам не товарищ, а товарищ следовательно. Это же и во-вторых и в-последних. Там у окна сидит товарищ Кишкин, который меня ждет. Это он вам скажет наверняка.

Адмирал, засомневавшись, чуть сдвинулся. Первая фраза Зайцева не произвела на него впечатления, но упоминание Кишкина заставило на миг дрогнуть. И мига было достаточно. Зайцев шагнул мимо, откинул портьеру. Да, он не ошибся. Кишкин упомянул однажды, что ровно в одиннадцать каждый день пьет кофе в «Метрополе». И сейчас сидел за своим излюбленным столиком у большого вымытого окна, щурясь сквозь кольца дыма на весеннюю, в зеленом дыму Москву.

Зайцев грохнул стулом, плюхнулся напротив. Единственный глаз Кишкина уставился на него. Зайцев видел, что застал врасплох. Под всеми парусами к ним уже спешил адмирал с папочкой в руке, всматривался в лицо Кишкина – равно готовый радушно раскрыть меню перед Зайцевым и выкинуть Зайцева вон. Кишкин кивнул. Перед Зайцевым легла раскрытая папка.

– Кофе, – не глядя, сказал Зайцев, чтобы поскорее отослать метрдотеля прочь.

– На хапок, значит, решил взять, – спокойно заметил Кишкин. Стряхнул пепел, вкрутил окуроч, раздавил в пепельнице и откинулся в кресле. Как будто видел Зайцева впервые. Зайцев молчал. Игра в гляделки длилась, и Кишкин не выдержал:

– Вася, ты воображаешь, что твой провинциальный петроградский форс здесь не пройдет? Что я сейчас пальцем покажу, и от тебя мокрое

место останется.

Глаз недобро прищурился.

Зайцев наклонился к нему через стол.

– Кишкин, – Зайцев смотрел в этот единственный, горящий злостью глаз, стараясь говорить спокойно и как можно более искренне. – Кишкин. Это же я.

Он видел, как злая искра в глазу Кишкина держалась, держалась – и погасла. Скулы смягчились. Кишкин хмыкнул, отодвинулся.

– Этого-то я и опасюсь, – буркнул он.

Подошел метрдотель с серебряным кофейником и тоненькой, полупрозрачной фарфоровой чашечкой, нежно звякнувшей на блюде, когда метрдотель поставил ее перед Зайцевым.

Кишкин подождал, пока метрдотель удалится, величественно неся широкую спину.

– Ты мне только скажи... – начал Зайцев.

– Скажу, – перебил его Кишкин. – Брось это дело. Я навел справки. Ты через голову Коптельцева лезешь. Он вообще в курсе, что ты здесь?

– Никто не в курсе, – солгал Зайцев.

– Ну хоть это слава богу, – кивнул Кишкин. – Вот что, Вася. Пей кофе. Угощайся. Сходи в Третьяковскую галерею. Погуляй по Москве. И поезжай домой. Поезжай, дружок.

– Кишкин, – тем же петроградским, из 1920-х годов тоном заговорил Зайцев. – Ты просто скажи что. И я сам отползу. Что ты нашел?

– И?

Зайцев молчал.

– И что тогда? Зачем тебе?

– Я хочу знать, – твердо сказал Зайцев. – Я не могу иначе. Ты не можешь иначе. Мы такие.

– И это очень скверно. Очень. Поверь. Это сейчас совсем не нужно.

– Сейчас?

– Да, ты разве не слышишь, не видишь? Двадцатые годы, весь этот наскок, нахрап – кончились. Сейчас надо иначе.

– Как?

– Не так, как мы делали. В любом случае.

«Мы», – отметил Зайцев; значит, не все потеряно.

– А ты, Вася, – продолжал Кишкин, – как та охотничья собака, которая даже с простреленной лапой бежит за зайцем.

– Я просто узнаю. И уеду. Слово даю. Не идиот же я.

Кишкин взял свою чашечку. Пригубил. Он долго пил кофе, глядя в окно. Зайцев видел только черную заплату на глазу. «Не вышло», – понял он.

– Наркомторг, значит, – вдруг, словно через силу, выдавил Кишкин. – Имя Ангарский тебе что-то говорит?

– Нет.

– И хрен с ним. Он тоже, в общем, просто винтик. Как и твой Простак. Но он контакт «Антиквариата» здесь, в Москве.

– Ты его колол?

Кишкин то ли не расслышал, то ли сделал вид, что не расслышал.

– Чем, по-твоему, занимается Наркомторг?

– Если честно, мне по хрен. А что?

– Непохвальная политическая близорукость, – проворчал Кишкин. – Ты, Зайцев, в партию вступать собираешься?

– Ну.

– А таких простых вещей о советском государстве не знаешь.

– Пошел ты.

– Возьми вот мармелад. Отличный.

– Ты говори, говори.

Со стороны могло показаться, что двое старых товарищей наслаждаются видом на Большой театр и богатым столом. В вазочке потело желтое финское масло. Булочки были покрыты салфеткой. Здесь, в «Метрополе», и Кишкин прекрасно это понимал, едва ли не вся обслуга знала его как своего шефа – время от времени притворяющегося обычным прохожим. Попросту говоря, очень многие служившие в «Метрополе» были осведомителями. А потому Кишкин сейчас улыбался особенно широко. Изо всех сил изображал радость. И пихал в себя мармелад. И слишком громко и радушно науськивал Зайцева:

– А ты жуй-глотай. В вашей столовке такого, поди, не подают.

Зайцев подыграл:

– Да успею, не сомневайся.

– Так вот, ваше невежество, – понизил голос Кишкин. – У советского государства обширные торговые контакты с иностранными промышленниками. Содействующими, так сказать, подъему советской промышленности.

– Миллионерами? – спросил Зайцев. Он вдруг вспомнил наивный вопрос Нефедова, от которого чуть не поперхнулась товарищ Лиловая. Но вопрос-то не такой уж глупый: а откуда миллионеры в курсе того, что выуживает из Эрмитажа товарищ Простак?

Он слушал Кишкина и не верил своим ушам.

– ...Короче, пока Гюльбекян кочевряжился, этот Маттисон...

– Погоди-погоди. Что за Гюльбекян? Армяш?

– Бывший. Теперь парижанин. Миллионер-нефтяник. Собирает картинку, и все, знаешь, с именем. Так вот, и Маттисон...

– Тоже миллионер?

– Нет, он сошка мелкая, торгош. Но ловкий. И он товарищей из Наркомторга быстро вывел на другую большую рыбу. Акулу капитализма, так сказать. Меллон, его фамилия. Американец Эндрю Меллон.

– Погоди. Ты хочешь сказать, что этот Меллон и тот, второй, армянин...

– Он не армянин, а француз давно.

– Не суть. Ты хочешь сказать, что они Простаку тычут пальчиком: мне подай вот эту картинку, и эту, и вон ту? И товарищ Простак им на блюдечке выносит и в бумажку заворачивает?!

– Товарищ Простак, я бы сказал, только упаковывает покупки. Он вроде приказчика.

– Кишкин, – поразился Зайцев. – Да ведь картины эти цены немалой, народное добро и так далее. Да тут надо...

И тут Кишкин так грохнул ладонью по столу, что в зале на них все обернулись, а Зайцев сразу вспомнил о двух контузиях, после которых Кишкин долго болел нервными болезнями.

– Ничего тут не надо, – проскрипел Кишкин. В углах рта у него показалась слюна.

– Кишкин, – твердо сказал Зайцев, – какие-то неграмотные жулики на поводу у иностранного капитала разворовывают культурные ценности советской страны...

– Молчать! – проскрежетал Кишкин. – Молчать!.. Советская страна, – Кишкин говорил металлическим голосом и сам весь – тощий, одноглазый – словно вдруг сделался старым, сухим и скрипучим, вылитый Кашей из русских сказок, – советская страна зарабатывает валюту. А к слову «неграмотные»... Да будет тебе известно, член советского правительства товарищ Пятаков и университеты кончал, и сам сын сахарозаводчика, и ценность этих картин ему известна. Просто есть сейчас для советской промышленности вещи поценнее рубенсов-рембрандтов всяких.

Половина лица у Кишкина тряслась.

Зайцев попробовал встать.

– Сидеть, – рявкнул Кишкин. Дернул его вниз, уже не особо заботясь, что там подумают стукачи всех мастей, облепившие их сейчас взглядами. – Сидеть, – он почти шипел. – И я тебе это все сейчас только потому понятно изложил, что иначе ты, Зайцев, как та собака, так и будешь скакать на трех лапах за своей дичью. Пока не сдохнешь. Но если тебе сдохнуть хочется, то я тебе это организую по старой дружбе. Гораздо менее хлопотным способом. Пристрелю из сострадания. Понял? Ты меня – понял?

– Хороший какой у них мармелад, – сказал Зайцев. Придвинул вазочку и стал спокойно есть прямо из нее, ложка за ложкой. Ложка за ложкой.

Метрдотель презрительно фыркнул и отвернулся к своей конторке.

Кишкин сумел если и не успокоиться – веко и угол рта у него все еще подрагивали, – то хотя бы взять себя в руки. Он наблюдал за Зайцевым, а сам не прикасался больше ни к кофе, ни к московским разносолам, стоявшим на крахмальной скатерти, усыпанной мелкими бликами, которые майское солнце выбило из хрустальных вазочек.

– Я с самого начала знал, – совершенно обычным своим голосом произнес он. – Никуда ты со своих финских болот не двинешь. Дохлый номер. Никакой Москвой тебя оттуда не выманить. Дурак ты, Вася, – с сожалением добавил он. – Сегодня в Питер?

Зайцев кивнул.

Зайцев слишком хорошо и давно знал Кишкина. Он не испугался ни нервного припадка, ни дергающегося лица. Но простой и с виду невинный вопрос о том, когда он уезжает, насторожил его сразу.

Зайцев стоял в узком, крытом ковровой дорожкой коридоре. Мимо толкались портфелями пассажиры, спешившие найти свое купе. А Зайцев, не обращая внимания на толчки, пристально смотрел на перрон. В Москве, в отличие от Ленинграда, ночь в это время была самая обычная, темная. Но в свете желтоватых фонарей Зайцев увидел, как к проводнику соседнего вагона сунулись двое румяных молодцев в обычной гражданской одежде. Сверкнули удостоверениями. И проводник сделал приглашающий жест рукой. Зайцев отшатнулся от окна. Сел на приготовленную, вкусно пахнущую крахмалом постель. Свет лампы под шелковым абажуром отражался в лакированных панелях. Вагоны были старые, еще дореволюционные – роскошные. Свисток. Перрон медленно двинулся назад. Зайцев выскользнул из купе. В коридоре пусто, все двери закрыты: в эти первые минуты пассажиры обычно смирно сидят и смотрят в окно или раскладывают туалетные принадлежности.

Зайцев быстро прошел по коридору. Прошел лязгающий тамбур. Еще вагон. Еще тамбур. Вагон. Тамбур. Вагон. Тамбур. Пол качало и потряхивало все сильнее – поезд набирал скорость. Наконец на выходе из тамбура на него обрушился запах тел, дегтя, угля – тот ни с чем не сравнимый запах железной дороги для путешественников в жестком вагоне. Зайцев быстро приметил наилучшего кандидата: толстячок в панамке.

– Товарищ, – подсел Зайцев. – Я в мягком еду. А спина у меня дважды в гражданскую простреленная, мне на мягком никак. И так гнезвился, и сяк. Не пойдет. Хоть стоя едь.

Вынул билет:

– Не желаете койкой махнуться?

Толстячок посмотрел с подозрением. Зайцев понял:

– Мне доплаты не надо, – сказал он, вынимая билет. – Меня в мягкий по партийной линии определили. Как имеющего ранения.

Этот бред имел успех. При виде литерного билета у толстячка алчно загорелись глаза – он забыл посмотреть в молодое зайцевское лицо и усомниться в его истории насчет ранений в гражданскую. Толстячок охотно вытянул из-под койки корзину, завязанную сверху полотном. Сунул Зайцеву свой картонный билетик.

– Вот спасибочки, вот спасибочки, – обрадовался Зайцев.

– Спокойной ночи, товарищ. Всего хорошего вашей спине.

Зайцев посидел некоторое время, краем глаза разглядывая соседей по вагону. Здесь, среди людей было безопаснее, чем там, в запирающемся купе. Но все-таки не безопасно. Его могут снять на любой остановке. «Пройдемте, товарищ. Только не брыкаться» – и все дела. Не будет же он рваться, хватать пистолет. А если бы и стал, остальные пассажиры тут же бы навалились, скрутили – помогли правосудию.

Зайцев вскочил. Опять вагон, тамбур, вагон, тамбур. Запертая железная дверь. Почтовый, значит, вагон. Вот где пригодился опыт «дефективного» детства: беспризорники только так кочевали по стране, проникая в поезда, как крысы. Зайцев вернулся в последний пассажирский вагон. Заперся в туалете. Потянул вниз оконную раму. Тело помнило все. Как подтянуться, за что уцепиться, куда подать руку, куда поставить ногу.

Свесившись с крыши, Зайцев высадил стекло. Оббил каблуком острые зубья. И ящерицей проскользнул внутрь. Упал на мешки, в бок садануло углом ящика – пустяки. Он поудобнее устроился на мешках.

Может, ему все померещилось. А может, и нет. Он не любил в таких вопросах убеждаться на сто процентов. Сунул руки себе под мышки – еще один проверенный способ согреться. И вскоре уснул.

Тем временем два румяных молодца завершили обход. Уперлись в дверь почтового вагона. Дернули. Заперто.

– Утек, сука.

– Или поезд не тот.

– Хрен теперь скажешь.

Вдруг одна и та же догадка одновременно поразила обоих. И они бросились обратно. Дернули дверь туалета: заперто.

– Точно. Там, сука, – прошептал один. Они тихо разошлись в стороны. Один мягко и гибко опустился на четвереньки – заглянул в

забранную мелкой сеткой щель у самого пола. Показал второму: там. Второй бесшумно вынул пистолет, изготовился. Оба застыли кариатидами.

Первый постучал.

– Товарищ, тут уже очередь. Уснули там, что ли?

За дверью зашуршало, зашевелилось. Щелкнул замок. Дверь пришла в движение. Цапнули.

– Вы что, граждане, – заверещал какой-то рыжеусый субъект в майке и подштанниках. Один молодец разжал хватку. Темной пастью зияло открытое окно: мимо сыроватая ночь. Молодец бросился к окну. Высунул голову. Покрутил направо, налево.

– Да курнуть я вышел. Курнуть. Вон, окно даже приоткрыл, чтобы людям не мешать. Все культурно! – бубнил пойманный.

– Пшел отсюда. Ну. Быстро.

Оба убедились, что усач испарился.

– Значит, поезд не тот, – ответил первый.

В Бологом они сошли.

Хорошо зная Кишкина, Зайцев так же наверняка знал, что, промахнувшись раз, тот не предпримет второй бросок. Ему достаточно отогнать врага подальше. То есть от Москвы.

На перроне Зайцев быстро затесался среди приезжих, встречающих, провожающих, и толпа вынесла его в город. Зябко. Обычное дело: значит, в Неву вошел лед с Ладоги. Зайцев взглянул на часы на башне вокзала: зайти бы домой и утеплиться, но не успеет. Решил прямо на службу.

От быстрого шага стало теплее. Идя по Лиговке, Зайцев с отвращением подумал о столице – жирной, маслянистой, с ее сложными группировками, правительственными шахматами, партийными интригами. Только дерни за кончик нити – и звон дошел до члена правительства товарища Пятакова. Вон и Кишкин весь опутан.

Даже обшарпанная бандитская Лиговка казалась ему теперь местом свободным и безопасным. Как обращаться с обычными бандитами, было хотя бы понятно.

На набережной Фонтанки, чуть ли не под самыми стенами угрозыска, он увидел телегу. Коняга стояла, распустив длинные



замшевые губы, а седока не видать. «Совсем обнаглели», – подумал Зайцев.

Зайцев перешел дорогу.

– Товарищ Зайцев! – окликнул его приятный голос. Он показался знакомым.

Обернулся. Вернее, не успел. Лицо закрыла влажная пахучая тряпка, которая быстро превратилась в глубокую, лишенную всяких мыслей и чувств темноту.

Человек одернул полог на телеге, прикрывая свой груз. Вскочил, подхватил вожжи, чмокнул, хлопнул вожжами. Лошаденка тряхнула челкой и быстро-быстро зацокала по мостовой.

Тело было словно чужим. То ли от холода, то ли от долгой неподвижности. Какие-то кусты. Деревья, еще только покрытые почками. Голова тяжелая. Пробуждение после эфира – знакомо, один раз ему пришлось отходить после хирургической операции. Ведет, как пьяного, осторожнее. Зайцев вспомнил: набережная Фонтанки. Попробовал осмотреться: нет, это не Фонтанка. В центре Ленинграда поди сыщи клочок голой земли, всюду камень. А он лежал именно на земле. Постепенно ощущение собственного тела вернулось. Зайцев понял: руки связаны за спиной. Ноги свободны. Он перекатился, встал на колени. На нем красные штаны. Белая рубаха. А ноги стиснуты высокими ботфортами. Кто-то его переделал. За деревьями угадывался простор: там, очевидно, Нева или один из ее притоков.

– Доброе утро, товарищ Зайцев. Как спалось? Не замерзли?

Зайцев увидел, что на поваленном дереве сидит и с интересом наблюдает за ним человек. Поодаль бились оранжевые язычки небольшого костра.

Зайцев угрюмо наблюдал. Алексей Александрович поднялся. Он был одет в практичные спортивные брюки, заправленные на английский манер в гольфы. Крепкие ботинки.

– Что вы вытворяете, Алексей Александрович? – попытался сказать Зайцев. Во рту сухость, язык как наждачный. Алексей Александрович подошел, за волосы задрал ему голову, Зайцев ощутил на губах воду, стал жадно пить. Алексей Александрович убрал свою фляжку с бойскаутским значком на боку.

– Как вы себя чувствуете, товарищ Зайцев? – участливо поинтересовался он.

Подождал ответа.

– Ага. Играем в молчанку, – добродушно догадался он. – Ну что ж. Ничего страшного. Я прекрасно понимаю, что за вопросы крутятся у вас сейчас вот тут, – Алексей Александрович больно ткнул ему пальцем в лоб.

– Вопрос первый: где я. Отвечаю: вот здесь.

Алексей Александрович встал, демонстративно поставив ногу на поваленный ствол – прямо чтец-декламатор. Извлек, раскрыл

книжечку и с выражением прочел:

– Паулюс Поттер. «Наказание охотника».

Он захлопнул книжечку и бросил ее в костерок.

– Брошюрка для дикарей вроде вас. Вы у нас дикарь грамотный – читать умеете. В библиотеку даже записались. Похвально.

– Вот и просветите меня тогда, – прохрипел Зайцев. – Что это за картина такая? Не встречал.

За спиной его пальцы жили своей жизнью: ощупывали, ползали, дергали веревку. Надо только выиграть время. Он не ошибся: в Алексея Александровиче победило самодовольство.

– Отчего же нет, коли просите. «Наказание охотника». Перед нами четырнадцать сценок. Маленькие расположены вокруг двух крупных. На этих маленьких мы видим охотника, который упивается собой. Еще бы! Он так умен, молод, физкультурник, комсомолец. Хозяин новой жизни! Только зря он так думает!

Алексей Александрович встретил вытаращенный стеклянный взгляд своей жертвы и удовлетворенно ухмыльнулся.

Но рыбий взгляд пленника понял неверно: Зайцев вовсе не слушал, что он несет, – все его ощущения сосредоточились на кончиках пальцев, теребивших веревку.

– И в двух центральных сценах мы видим итог. Бывшие жертвы – звери устраивают суд над своим охотником. А потом разделяются с ним. Собачек его вздергивают на суку. А самого его поджаривают на вертеле. Среди четырнадцати сценок мы видим и мифологические сюжеты... А впрочем, что вам с того. Я могу говорить час: рассказать вам о Поттере и Голландии золотого века, о докторе Тульпе, который запечатлен на знаменитом «Уроке анатомии». «Наказание охотника»... Я много вам могу рассказать об этой небольшой картине. И о других тоже. Увы, это не сделает вас в меньшей степени дикарем. И остальных тоже. Вы все одинаковы. Я знаю ваш второй вопрос: за что мне это. А за то, товарищ Зайцев. Вы могли остановить этих дикарей. И не остановили. Я так на вас рассчитывал. Но вы слов не понимаете. Прекрасное на вас нисколечки не действует тоже. Проверил! Убедился! С вами, дикарями, невозможно действовать убеждением, разъяснением. Подсказок вы не понимаете. С дикарями нельзя договориться. Дикари понимают только боль!

– Дикарь – это вы, – ответил Зайцев. – Вы людей убиваете, Алексей Александрович.

– Людей? – Алексей Александрович присел перед ним на корточки. – Ась? – он приставил ладонь к уху. – Мне слышалось, что вы сказали «людей». Померещилось, конечно. Мы вроде с вами толковали о кучке убогих грошовых душ, вся жизнь которых состояла только в том, чтобы есть, испражняться, спать и ходить на советскую службу. Да о них забыли уже. Забыли на следующий день. Хорошо, через неделю после того, как я освободил этот прекрасный город от этих жалких, копошащихся, никчемных организмов. А картины... Картины, товарищ Зайцев, живут в веках. Я об этом вам толкую. Я вам кричу! С самого начала кричал. В самые уши!

– Картины важнее живых людей, по-вашему?

– Картины, о которых речь, шедевры. Высший взлет человеческого духа. А люди, о которых вы завели волынку, они, напротив того, падение, низшая ступень развития человека. Обыватели. Мещане. Инфузории. И ради того, чтобы забросить в их поганые ротки такое-то количество пищи, ради этого – губить великие произведения?

– Вы тоже, знаете, не завирайтесь. Никто их не губит, картины эти. Не жжет и не режет. А точно так же они будут висеть на стенке. Только в другой стране.

– Они принадлежат этому городу! – Алексей Александрович со всей силы пнул Зайцева ногой, еще и еще. – Их место здесь!

Алексей Александрович перевел дух, вынул платок, промокнул лысину.

– Да что я перед вами распинаюсь. Ничего больше я вам доказывать не буду. Довольно. Вы безнадежны.

Он покачал головой.

– Да, когда я познакомился с товарищем Простаком, я подумал, что вот кого сюда надо. Но вы еще хуже, товарищ Зайцев. Что ж, одно хорошее дело вы сделаете: ваша никчемная оболочка, может, напомнит другим дуракам о прекрасной картине, которая по вашей вине сейчас отправлена в Берлин, на аукцион, а оттуда – бог знает...

Зайцев чувствовал, что ему нужно еще хотя бы несколько минут. Веревка ослабла, но узел не поддавался. Во что бы то ни стало надо уболтать Алексея Александровича.

– Чему вы смеетесь? – удивился тот.

– Вы сказали четырнадцать? Четырнадцать? – переспросил Зайцев. – Вы собираетесь делить меня на четырнадцать частей?

– Все-таки вы животное, – презрительно проговорил Алексей Александрович. – Вы с жизнью прощаетесь, но даже этот факт недоступен вашему воображению. Вам смешно. Что ж. Вначале я думал выбрать для вас центральную нижнюю сцену. Да и Ленинградский зоосад, – он обвел руками, – подходит идеально. Этот ваш Санчо Панса с тупым лицом вполне годится на роль вздернутой собаки.

«Нефедов где-то здесь?» – заволновался Зайцев.

– Но я подумал: костер заметят. Да и запах вашего жареного тела привлечет внимание. Я выбрал угловую сценку. Ах, жалко, книжечка тю-тю. А то бы я вам показал. Ну да ладно. Опишу своими словами. Нагая Артемида с нимфами. Этого добра как раз навалом. До чего доверчивый народ советские бабы... Ну а вам, товарищ Зайцев... Вы у нас комсомолец Актеон, затравленный собственными собаками. Не волнуйтесь, товарищ Зайцев. Я знаю, что у вас нет четвероногих друзей. Да и двуногих тоже. Я все для вас уладил.

Алексей Александрович наклонился над Зайцевым – заметил веревку:

– Фу, нехороший мальчик.

Он потуже затянул узел. Затем помог Зайцеву, поднял его на ноги. Зайцев попытался ударить его головой, но Алексей Александрович проворно увернулся.

– Ну-ну, не бодайтесь. Я почти закончил. Прогуляйтесь немного со мной под руку.

Он тащил Зайцева за собой.

– Вот, товарищ Зайцев. Я подумал: большой, настоящий костер слишком заметен, нам могли помешать. И я подумал: костер метафорический ничуть не хуже. Я поджарю вас, товарищ Зайцев. На ме-е-е-дленном огне.

Перед ними темнело дерево с длинным толстым суком, похожим на вытянутую в сторону руку. Или на виселицу, с ужасом осознал Зайцев: под суком на шатком брезентовом стульчике, какие обожают рыбаки и художники, на самых носках балансировал Нефедов. Руки связаны за спиной, на шее петля. Казалось, что Нефедов на цыпочках

примеривается к какому-то танцу. Мальчишеское лицо было бледно смертельно.

– Собачка ваша, – ласково произнес Алексей Александрович. Он схватил Зайцева за запястья, завозился с узлом. А ногой небрежно выбил стул. Нефедов задергался в петле.

Зайцев почувствовал, что руки его свободны, Алексей Александрович не держал его. Зайцев бросился, поймал Нефедова за ноги, толкнул вверх. Удержал. Нефедов сипел. Но был жив. Руки Зайцева стали быстро наливать тяжестью. Нефедов закашлялся. Но дышал. Зайцев думал только о том, чтобы не упустить ношу.

Алексей Александрович засмеялся.

– Я в вас не ошибся, товарищ Зайцев. Вы примитивны.

Он поднял, сложил стульчик.

– Вот видите, у вас был простой выбор: бросить вашу собачку или поймать меня. И что выбрали вы? Но я сегодня добрый. Я вам помогу исправиться. И пока вы тут стоите и обнимаетесь, как пасхальные зайчики, я пойду и спущу собак настоящих, мой дорогой Актеон. Немецкие овчарки очень не любят, когда по территории зоосада разгуливают посторонние. Прощайте.

И его шаги захрустели прочь.

- Ты меня подкинь, – прохрипел Нефедов.
- Как? Ты точнее указания свои дать можешь?
- Ну толкни. Нет, не так. За ступни.

Зайцев, пыхтя, перехватил Нефедова за ступни. Рук своих он почти не чувствовал, мышцы свело напряжением.

- Нефедов, я в цирке не служил.
- Раскорячься. Раскорячься. И вытолкни меня вверх.

Зайцев попробовал согнуть колени. Ему казалось, что они сейчас треснут и, как сломанный рычаг, обрушат его вниз. Он набрал воздух в грудь. И с криком послал свое тело вверх. Ему показалось, что тело не послушалось. Но руки разжал. И тотчас рухнул на спину.

От удара животом об сук Нефедов выругался. А потом добавил обычным голосом:

- Молодец.

Зайцев посмотрел: теперь Нефедов висел животом на суке, перегнувшись пополам, как диковинная гусеница.

- Товарищ Зайцев, теперь на дерево полезайте.
- Да не учи ученого.

Зайцев довольно быстро вскарабкался, на животе подполз к Нефедову. Ногами он сжимал сук. А руками и зубами терзал узел. Потом ослабил веревку на горле, откинул прочь. Нефедов тотчас преобразился. Он уперся руками в сук, как в турник. Молодцевато подтянулся, не забыв по всем правилам искусства вытянуть носки. Сложился вдвое. Перевернулся. И, мелькнув клубком в воздухе, звонко приземлился на обе ноги, вытянув вперед руки. После чего распрямился и потер шею.

– Чуть не сдох, – резюмировал он. И опять впал в свое чухонское спокойствие.

– Поздравляю, – отозвался с сука Зайцев. Повис на руках, упал вниз.

И тут уже они оба это услышали: быстрое движение приближалось. Гибкие и сильные, как железные пружины.

- А теперь, Нефедов, бежим!

Обычная собака бежит куда быстрее обычного человека. Вот только собака плохо представляет себе абстрактную карту местности. Зайцев мчался, не разбирая дороги, протягивая руки вперед. И только по звуку понимал, что Нефедов не отстает. Он бежал к Неве. К воде.

Он не рассчитывал сбить собак со следа. Но в воде псы потеряют преимущество скорости – и прицельного прыжка на горло жертве.

Он сразу увидел, где кончался берег и начиналась вода: большие белые ладожские льдины плавно скользили мимо, направляясь к месту своей смерти, в Финский залив.

– Потонем, товарищ Зайцев! – взмолился Нефедов. – Не переплывем. Замерзнем. Не течение утащит, так льдом зашибет.

Собаки их уже не только чуяли – видели. Возбужденный лай рвался из глоток.

Зайцев, не сбавляя скорости, врезался в обжигающую воду.



– Тебя где черти носили? – ахнула Паша. – Колотит всего.

Раньше Зайцеву казалось, что «зуб на зуб не попадает» – это поговорка, метафора. Теперь он знал, что это не так: челюсть его так и прыгала сама по себе, выбивая дробь.

Паша отперла квартиру ключом со своей связки. Коридор оцепенел в сонной тишине: соседи спали.

– Входи скорее. Вон лужа натекла уже целая. В ванную, быстрее! Сымай все. Да тихо ты!

Зайцев сидел на полу с одеялом на плечах, трясаясь всем телом, когда Паша вошла с дымящимся ведром в могучих руках.

– Ну? Да чего я там не видела, – шепотом приказала она.

Зайцев встал босыми ногами в ванную. Ему показалось, что от кипятка с него сейчас слезет кожа. Он чуть не заорал.

Паша подала сперва полотенце. Потом опять одеяло.

Потом он сидел на кровати. Его все еще била крупная дрожь.

Паша вернулась с большой мутной бутылью. В стакане забулькало.

– Пей. Залпом.

Зайцев ахнул стакан, борясь с отвращением. Подождал. Сглотнул позыв к тошноте.

Паша подала второй:

– Пей еще.

Зайцев помотал головой: нет.

– Тебя где это черти носили?

– Я топиться ходил, Паша.

Она так и вскинула руки:

– Из-за Алки, что ли?

– Из-за нее.

Вот все, что Паше можно знать.

– Ну дурак, – потянула Паша. – Нашел тоже из-за кого. Пей.

Зайцев опрокинул второй стакан. Паша мягко ткнула его в плечо, он завалился на бок. Он еще почувствовал, что Паша, совсем как в детстве, тянет его за ноги и подтыкает одеяло. Под веками его вспыхнули картины: он тащит брыкающегося пса с собой под воду,

мощные удары лап, кажется, нет сил сдержать животное, вокруг потоки серебристых пузырей – легкие человека превышают по объему легкие собаки; к тому же зверь не умеет задерживать дыхание...

И умер второй раз за нынешние сутки.

– У тебя, Зайцев, какой-то больной вид, – сочувственно произнес Крачкин справа.

– Да, паскудно выглядишь, – подтвердил Серафимов слева.

Самойлов обернулся:

– Вася, ну и выхлоп у тебя. Я прямо дышу и пьянею. Слушай, я понимаю, ты вчера культурно отдохнул, видать. Но ты бы мяту пожевал, что ли.

– Или кефира выпил, – подсказал Крачкин.

Зал быстро заполнялся. От каждого стука стульев Зайцеву казалось: взрывается его голова. От ропота голосов болели глаза. Он их прикрыл. Тотчас понеслись какие-то огненные шары. Потoki пузырей, мощные конвульсии сильного, обученного убивать животного. Он открыл глаза: как бы тут не сомлеть при всех. Похоже, жар.

Тело казалось легким.

Наконец и президиум за красной скатертью заполнился. Председатель позвонил в колокольчик, отчего Зайцев чуть не взвыл. Его ткнули в плечо, показали жестом дальше. Зайцев посмотрел: в дверях стоял Коптельцев, поманил его ладонью.

– Товарищ, по ногам же топчешь!

– Извините.

Зайцев выбрался из ряда под недовольными взглядами президиума.

– Извините.

Они с Коптельцевым вышли.

– Пойдем, – сказал Коптельцев. – Пошептаться надо.

– Прямо сейчас?

– Это быстро.

Они вышли на черную лестницу.

Коптельцев тотчас закурил. Сделал несколько затяжек.

– Ты зачем в питомник звонил?

Зайцев поразился, как быстро из питомника сообщили.

– Да так. Хотел узнать. Мыслишка одна пришла. Как усовершенствовать использование служебных собак в розыскной

работе.

Он все еще надеялся найти Алексея Александровича. Раз собаки того не тронули, значит, он с ними в ладах. Значит, знает как. Немного в Ленинграде мест, где разводят служебных собак.

– М-м-м, – затаиваясь, посмотрел на него Коптельцев. Выпустил дым и добавил: – А Мартынова вычистили.

– Мартынова?

– А то ты удивился?

– Удивился.

– И не спросишь, почему не тебя?

– А я одним днем живу. Вдаль не заглядываю.

– Это правильно.

– А Мартынова почему?

Коптельцев прищурился, сбил ногтем пепел.

– А чтобы тебя здесь оставить.

– Зачем это я вам сдался?

– Мне ты на хрен не нужен.

– А кому нужен?

– Лучше спроси: в каком качестве.

– Ну?

– А паршивая овца нужна.

– Это я, что ли?

– На случай паршивых разных дел. После Петржака все, знаешь ли, ученые. Товарищ Медведь в этом тоже заинтересован.

Товарищ Медведь был начальником ленинградского ОГПУ. Бывшим шефом Коптельцева. Дружком товарища Кирова. Значит, разговор был серьезнейший.

– Ну спасибо. Паршивая, значит, овца.

– А ты оптимистично взгляни. Дела тебе будут поручать отборные. Работать будешь – сам.

– Ну спасибо.

– Пожалуйста. Работай. Показывай результаты. Все в твоих руках. Распутаеть – молодец. Ошибешься – так ты давно в роли покойника.

– Это не паршивая овца называется. А козел отпущения.

– Тебе видней. Профессор.

Значит, теперь его всегда будут ставить на такие дела, чтобы не подставить под удар больше никого. Отличная идея. Что ж, подумал

Зайцев, одно располагает к оптимизму совершенно точно: ГПУ от него отстало. И похоже, больше не потревожит. Никогда.

– Что же мне делать теперь прикажешь?

– Не ошибаться.

Коптельцев загасил папиросу об подошву и кинул окурок в пролет:

– Идем, собрание там. Просветят тебя, новости расскажут.

– Какие еще новости?

В коридоре их окликнули из кабинета.

– А, Зайцев, как раз тебя. Из Эрмитажа. Срочно.

– Я догоню, – кинул он в спину Коптельцеву.

– Не точи там лясы, – отозвался тот, не обернувшись.

Зайцев взял трубку.

– Зайцев.

– Товарищ Зайцев! – голос Татьяны Львовны звучал как-то девически-звонко. Видно, и на нее действовала весна. У Зайцева сразу заболело за левым глазом. – Товарищ Зайцев! Аукцион Лепке провалился!

– Куда?

– Полный провал! – ликовала Татьяна Львовна. – В связи с напряженной экономической обстановкой в мире, – занудела она своим экскурсоводческим голосом, – особенно осложнившейся в Североамериканских штатах, богатых покупателей осталось немного. Вы понимаете?

– Нет.

– Наши картины не удалось продать. Не все, – поправилась она. – Они вернутся в Ленинград. Конечно, что-то продали. Увы. Но! Многое и вернется. Нам уже передали телеграфом вчера.

Она стала радостно выкрикивать названия.

– Как вы сказали? – переспросил Зайцев. – «Наказание охотника»?

– А вы эту вещь знаете? Паулюс Поттер. Не первой величины, но приятная вещица. Ее продать тоже не удалось. Вы слышите? Товарищ Зайцев?

– Да, – сказал Зайцев, – я ее знаю. Вот видите, Татьяна Львовна, уже и трудности у иностранных миллионеров наступили. Говорили же вам, скоро вообще будет мировая революция и все станет всеобщим.

На том конце воцарилось молчание. И товарищ Лиловая повесила трубку.

...Зайцев, стараясь не скрипнуть, приотворил дверь. Тихо скользнул внутрь. Оратор вещал, чуть ли не закидывая голову назад, как упоенный песней соловей.

Все зааплодировали.

На Зайцева шипели, пока он сквозь море аплодисментов протискивался на свое место.

– А по какому поводу салют? – шепотом спросил он у Крачкина и Серафимова.

– А теперь все по-другому будет. Новые времена, – отозвался Крачкин.

Совсем такими же словами, как только что Коптельцев.

– Чего?

– Не слышал, что ли?

– Вот мы все гадали, с чего это нам Коптельцева из ГПУ назначили, а не мильтона из большого какого-то города перевели в Ленинград, – принялся рассуждать шепотом Самойлов, но Крачкин перебил:

– Я не гадал. И вообще подобных разговоров не припомню – не было таких.

– Ага. Я что-то путаю, – согласился Самойлов.

– Так что я не слышал? – не понимал Зайцев.

– Приказ подписан. Милицию сливают с ОГПУ. Одно ведомство мы теперь.

– Нет больше ни элина, ни иудея, – пояснил Крачкин. – Аминь.

– Ну хлопай. Хлопай. Чего не хлопаешь?

И Зайцев захлопал.

# Table of Contents

Юлия Яковлева Вдруг охотник выбегает

Глава 1

1  
2  
3  
4  
5  
6

Глава 2

1  
2  
3  
4  
5

Глава 3

1  
2

Глава 4

1  
2  
3  
4

Глава 5

1  
2  
3  
4

Глава 6

1  
2  
3

Глава 7

1  
2

3  
4  
5  
6  
7

Глава 8

1  
2  
3  
4

Глава 9

1  
2  
3  
4  
5  
6

Глава 10

1  
2  
3  
4

Глава 11

1  
2  
3

Глава 12

1  
2  
3  
4  
5

Глава 13

1  
2  
3

Глава 14



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7

Глава 15

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7

Глава 16

1  
2  
3  
4  
5

Глава 17

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8

